

Грация Делегга

**СВИРЕЛЬ
В ЛЕСУ**

РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского



Издательство

"Художественная

литература»

Москва

1967

И (Итал)
Д29

Переводы под редакцией
С. Бушуевой

Вступительная статья
И. Володиной

Оформление Л. Калитовской
Рисунки Ю. Игнатъева

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ГРАЦИИ ДЕЛЕДДЫ

В Сардинии, в городе Нуоро, недалеко от древней церкви дель Розарио, стоит скромный трехэтажный дом. Его окружает забор, сложенный из больших камней, возле дома растет несколько падубов, позади был когда-то огород. Этот дом объявлен теперь национальным памятником. Все в нем дышит стариной: массивная деревянная дверь с толстым железным крюком, цепью и молоточком, гранитная лестница, комнаты с низкими деревянными потолками и старинной мебелью.

Здесь 27 сентября 1871 года родилась Грация Деледда¹.

Семья была патриархальная и зажиточная. Отец вел торговлю древесным углем. Помимо Грации, у него было еще шестеро детей. Как почти во всех сардинских семьях того времени, кухня с древним очагом из четырех камней была самым оживленным местом в доме. По вечерам все собиравались у этого очага. Сюда же в долгие зимние вечера прибегала маленькая Деледда послушать старинные легенды и рассказы слуг о бандитах. Эти рассказы и картины домашнего быта были самыми яркими детскими впечатлениями Деледды и нашли отражение в ее книгах.

Из окна третьего этажа открывается великолепный вид: склон горы постепенно спускается в широкую долину, а за ней — гора Ортобене со статуей Христа на вершине и вдали, в дымке, цепочка гор Ольены. Этот пейзаж, особенно живописный ранней весной, был постоянно перед глазами Деледды. Из этих детских впечатлений, очевидно, и родилась горячая любовь писательницы к родной природе. Дикую красоту сардинской весны с ее обилием красок

¹ Многие историки литературы и даже «Итальянская энциклопедия» (т. XII, 1931) ошибочно считают 1875 год годом рождения Деледды. Однако R. Branca «Bibliografia Deleddiana», Milano, 1938, стр. 18, приводит запись о крещении писательницы в Нуоро от 28 сентября 1871 года.

и разнообразием запахов Деледда всегда предпочитала пыльной и скучной городской весне.

Из другого окна дома видна улица, застроенная невысокими старинными домами, почти всегда пустынная. А в двух шагах от нее находится небольшая площадь с церковью дель Розарио, самый старый и оживленный район Нуоро. Здесь, на площади, кипела жизнь: карнавалы и религиозные праздники с древними гимнами в честь святых, горожане и крестьяне в красочных национальных костюмах, народные забавы и сардинские танцы, вереницы богомольцев и нищих в праздничной толпе — эти сцены старинного быта, уходящего своими корнями в далекое прошлое, контрасты богатства и нищеты привлекали внимание будущей писательницы, давали пищу ее мыслям и воображению. И у себя дома Деледда могла наблюдать самых различных людей. Ее отец был уважаемым человеком, к нему постоянно приходил кто-нибудь за советом или за помощью, друзья подолгу гостили в доме. Поблизости находилось помещение с прессом для выжимания олив. По вечерам там горел огонь, вокруг которого собирался самый различный люд: обедневшие горожане, мелкие торговцы и крестьяне, приносившие оливы для выжимки, попрошайки. Они грелись у огня, делили между собой еду и вино, вспоминали старину, рассказывали забавные случаи и пели народные песни. Помогая после смерти отца вести хозяйство, Деледда проверяла счета и наблюдала собравшихся. Это было ее первое знакомство с народом.

Природа и люди родного острова становятся предметом изучения писательницы. «Сардиния — земля молчания и страсти. Нужно узнать ее, чтобы понять и полюбить», — сказала как-то Деледда. Рассказать об этой земле Италии и всему миру стало ее жизненным призванием. В 1893 году, в начале своего творческого пути, Деледда писала одному из журналистов: «Мне нужно быть сильной и твердой, чтобы выполнить долг, который я перед собой поставила... — сделать благо для Сардинии, для моей, для нашей любимой Сардинии»¹.

II

К 1870 году закончились кровопролитные войны за национальное объединение. Италия из множества мелких государств, независимых или угнетаемых иностранцами, превратилась наконец в единое государство. Сардинский король, владевший Пьемонтом и

¹ Автобиографический роман Г. Деледды «Козима», 1947, стр. 183.

Сардинией, распространил свою власть на всю Италию. Однако в рамках нового объединения бывшие итальянские государства продолжали сохранять свои местные традиции, нравы и язык, или, вернее, диалект. Надо было перестроить экономику всей страны на новый, капиталистический лад, сплотить разрозненные области и постараться создать действительное, а не номинальное единство Италии. Нужно было множество ученых, врачей, инженеров, учителей, чтобы выполнить эту задачу и победить темноту, отсталость и предрассудки.

Буржуазия, пришедшая к власти после воссоединения, опиралась в своей промышленной, торговой и сельскохозяйственной деятельности на позитивную философию. «Позитивизм дал итальянской буржуазии, достигшей власти, «научную» систему, которая не только великолепно согласовалась с ее новой производственной и технической деятельностью, но отвечала также и интересам ее классового господства»¹. Место иллюзий и догадок теперь занял опыт. От науки требовались практические результаты, которые могли быть использованы на благо общества.

В шестидесятые — восьмидесятые годы XIX века в Италии происходит бурное развитие естественных и прикладных наук. Их достижения и методы исследования переносятся на историю, философию, право, педагогику и искусство. В каждой из этих областей знания создается своя школа, которая стремится перестроить ее на «научной» основе. В литературе школа, возникшая из позитивистских тенденций, получила название «веристской» (от слова «vero» — истинный, правдивый).

Около 1878 года в Милане образовался веристский кружок. Во главе кружка стояли теоретик веризма, литературный критик и романист Луиджи Капуана, и крупнейший писатель веризма Джованни Верга. При всей ограниченности творческого метода, веризм после долгого господства исторической школы с ее героической тематикой и изображением далекого прошлого явился шагом вперед: веристы поставили задачей создать современное искусство, призванное служить потребностям эпохи. Они использовали опыт французских натуралистов, особенно Флобера и Золя, а также критические статьи И. Тэна, и так же хотели рассматривать художественное творчество как форму научного исследования. Искусство должно быть правдивым, утверждали веристы, оно должно изучать все стороны жизни, в том числе и пороки, чтобы избавить

¹ Э. Серени, Развитие капитализма в итальянской деревне (1860—1900), М. 1951, стр. 113.

общество от социального зла. Реальная жизнь без прикрас и преувеличений оказалась гораздо более интересной, трагичной и поучительной, чем любая вымышленная история с кинжалом, ядом и самоубийством. Настаивая на приближении литературы к жизни, веристы подчеркивали необходимость изучать и описывать малоимущие слои, которым литература предшествующей эпохи уделяла слишком мало внимания. Героя-аристократа с его утонченными переживаниями или благородного, безвинно страдающего и проливающего слезу поселянина теперь сменяют реальные крестьяне, рабочие, нищие, купцы, ростовщики.

Человек, по мнению веристов, полностью определялся окружающей средой, которая понималась очень широко. Сюда входила и природа, и трудовые процессы, и быт. Духовная жизнь рассматривалась как функция организма и определялась в конечном счете также средой. Всякий нравственный изъян или порок веристы стремились объяснить неблагополучием среды, то есть в конечном счете материальными причинами. В этом они видели объективный, «научный» подход к изучению действительности.

В восьмидесятые годы после выхода в свет романа Капуаны «Джачинта» (1879), сборника рассказов Верги «Жизнь полей» (1880) и романа «Семья Малаволья» (1881) веристское движение выходит за пределы Милана и распространяется по всей Италии. Почти каждая итальянская провинция выдвинула своего писателя, рассказчика, поэта, которые в романах, повестях, очерках, набросках с натуры или стихах рассказывали о родной провинции, о ее традициях, быте и жителях. Сицилии посвятил свои лучшие произведения Верга. Сицилийский быт и нравы изображали также Капуана и Федерико де Роберто. Неаполь с его манящими пейзажами и ужасающей нищетой нашел своих художников в лице Матильды Серао и Сальваторе ди Джакомо. Ренато Фучини описывал в своих новеллах Тоскану, Доменико Чамполи и Габриэле д'Аннунцио изображали Аbruццы. Сардиния с ее сказочной природой и древней цивилизацией нашла своих певцов в Сальваторе Фарине и Грации Деледде.

III

В конце XIX века, когда Деледда вступила на литературное поприще, Сардиния оставалась такой же «забытой землей», как и сто лет назад. В стороне от Сардинии прошли все крупные события итальянской истории: Рисорджименто с его героической борьбой, поражениями и походами гарибальдийской тысячи, борьба

за власть между либералами и республиканцами, крестьянские волнения и первые рабочие выступления. Цитадель сардинских королей остров ничего не выиграл от воссоединения. В то время как северные области Италии двигались по пути промышленного и социального прогресса, аграрный Юг оставался отсталым и невежественным. На Севере строились новые заводы и фабрики, улучшалась культура земледелия, развивалось рабочее движение. «...Весь народ работает и борется, чтобы улучшить условия существования, вся Италия кажется охвачена новым стремлением, порывом к прогрессу, благосостоянию, свободе»¹, — писал вождь итальянских трудящихся Антонио Грамши, сам по происхождению сардинец. А в южной Италии, в Сицилии и Сардинии, ничего не изменилось: все те же полуфеодалные способы ведения хозяйства, невежество и беспросветная нужда. «Сардиния оставалась позади, — отмечал Грамши, — не принимая участия в этом порыве, связанная с устаревшими общественными формами и устаревшими социальными условиями, с вечной нищетой и отсталостью всех слоев населения острова»².

В конце XIX века Сардиния жила, как и десятки лет назад: на пастбищах (по-сардински — в «танках») паслись стада, принадлежавшие богатым, а бедняки занимались в пастухи или поденщики и обрабатывали землю орудиями каменного века. Медленный ритм монотонной жизни, в которой чередование трудовых процессов происходит так же неумолимо, как смена времен года, разнообразился лишь религиозными праздниками в честь Мадонны или местных святых, которые в Сардинии почитались особенно ревностно. Века, казалось, прошли незаметно над этим удивительным островом.

Творчество Деледды — эпопея сардинской жизни. Она написала четыреста новелл, тридцать пять романов, пятнадцать пьес, пятьдесят стихотворений и пятьдесят критических статей. В 1926 году, когда уже были созданы лучшие книги Деледды, ей, первой из итальянских писателей, была присуждена Нобелевская премия.

В детстве Деледда ничем не отличалась от своих сверстниц. Ее школьная учительница отдавала предпочтение сестре Грации Винченце, более живой и любознательной. Однако литературные интересы будущей писательницы проявились рано. Отец Деледды писал стихи на сардинском диалекте. «Способный поэт-импровизатор, — вспоминает об отце Деледда, — он собирал иногда вокруг

¹ П. Тольятти, Грамши, Милан, 1949, стр. 76—77.

² Там же, стр. 77.

себя известных в состязаниях поэтов и соперничал с самыми искусными и талантливыми... Он открыл даже небольшую типографию и издавал на собственные средства небольшой журнал, в котором печатал свои стихи и стихи своих друзей»¹.

Деледда также начала свой творческий путь с поэзии. Когда ей было двенадцать лет, она написала первые стихи, за которые получила такую головомойку от учительницы, «как будто совершила преступление». Но это не останавливает Деледду, она продолжает заполнять стихами ученические тетради и много читает.

Во второй половине XIX века в Сардинии процветал «сардинский исторический роман» в духе В. Скотта, Мандзони, д'Адзельо и Гвераци. Писатели А. Боккаредда, Г. и М. Коссу, П. Карбони, М. Оперти, К. Брундо описывали в своих книгах трагические и таинственные события прошлого: правление джудикессы Элеоноры, подвиги Маласпины и Дория, героические дни республики в городе Сассари и безуспешную борьбу населения острова с испанскими завоевателями, почти легендарные приключения Винченцо Сулиса. Самым известным из этих писателей был Энрико Коста, романы которого пользовались наибольшей популярностью в Сардинии. Именно Коста продолжил и развил традиции Скотта и Мандзони в сардинском романе. Грация Деледда высоко ценила Косту и в одном из писем к нему отмечала: «Я горда тем, что могу считать себя Вашей последовательницей, почитательницей и продолжательницей Вашего дела». Но Деледду привлекали также трогательные герои де Амичиса и мятежные герои А. де Мюссе, позднее она знакомится с Байроном, Гюго, Дюма, Сю, Бальзаком, В. Скоттом, Мандзони и С. Пеллико. Романтическая литература особенно по душе юной писательнице, мечтающей о славе.

В это время в Нуоро приходит римский иллюстрированный журнал «Ультима мода». На его последних страницах всегда можно было найти небольшую занимательную новеллу. С тайной надеждой Деледда отправляет в Рим свой первый рассказ «Сардинская кровь». В июльском номере журнала за 1888 год рассказ был напечатан. Деледде было тогда шестнадцать лет. Под видом героини Деледда описывает себя: «Некрасивая, но симпатичная и милая, она (Эля) являла собой пример характера странного, мечтательного и подчас фатального. Она была образованна, и даже слишком, немного испорчена чтением романов, но, в общем, добра. В хрупком теле пятнадцатилетней девочки заключалась боль-

¹ Г. Деледда, Козима, стр. 63.

шая гордая душа, способная любить и ненавидеть, как душа сильного и умудренного жизнью человека».

Уже в двенадцать лет Эля влюбилась, но молодому человеку приглянулась ее сестра, и Эля убивает его кинжалом, а труп стаскивает со скалы в море. Этот наивный рассказ с банальным сюжетом произвел все же впечатление в Нуоро, о Деледда заговорили. В семье это вызвало скорее неудовольствие, чем одобрение. Старший брат Андреа посоветовал Грации не писать больше любовных историй. Романтическая струя в этом и других ранних произведениях Деледды связана в значительной степени и с традициями «сардинского исторического романа» («Воспоминания Фернандь» — 1888, «Замок Святого Лора», «Мартелла» — 1889, «Страшная ночь» — 1890, «Любовная месть» с посвящением Энрико Косте, «Звезда Востока», «Королевская любовь», «Цветок Сардинии» — 1891). Позднее Деледда призналась: «Моею ошибкою было то, что я начала печататься слишком рано. Но тогда я была одинока и у меня не было ни учителей, ни наставников»¹.

Некоторые из этих рассказов и романов появились под псевдонимом Или ди Сант-Измаил. В центре всех этих произведений стоит возвышенная «романтическая» любовь, которая кончается обычно трагически. Это была как раз та традиция, против которой протестовали и с которой боролись веристы.

IV

Веристский рассказ родился из очерка, наброска (*bozzetto*), зарисовки с натуры. В конце XIX века от новеллы требуется горькая правда жизни, документальная точность изображаемого и психология, научно понятая и обоснованная. Дж. Берга, Л. Капуана, М. Серао, С. ди Джакомо, Р. Фучини и многие другие создавали образцы документального рассказа, отвечавшего потребностям времени.

В первых новеллах Деледды сардинский материал подан сквозь призму романтических представлений. «Первые очерки, которые я написала, — вспоминает Деледда, — были сардинскими, чисто сардинскими были персонажи и характеры, которые я списывала с живых людей, руководствуясь слабым воображением шестнадцатилетней девушки»². Вскоре эти рассказы освобождаются от традиционной романтики, и ее место занимает правда жизни, которая

¹ Г. Деледда, Козима, стр. 181.

² Там же, стр. 182.

представляется теперь Деледда гораздо более поучительной, чем несчастная любовь и трагическая смерть. Таковы сборники: «Сардинские рассказы» (1894), «Искушение» (1898), «Игра жизни», (1905), «Дедушка» (1905), «Светотень» (1912), «Спрятанный мальчик» (1916).

В Сардинии существовали свои литературные традиции в изображении местных условий. Два крупных города Кальяри и Сассари в конце XIX века сделались своеобразными литературными центрами; в них съезжались писатели, поэты, критики, здесь велись споры об искусстве и издавались журналы. В Сассари, например, существовало литературное объединение, группировавшееся вокруг журнала «Ла Сарденья», где в девяностые годы Деледда опубликовала свои первые романы и рассказы. Во многих из них уже виден интерес писательницы к народному творчеству, быту и традициям: «В горах Сардинии, рассказы о бандитах», «Рождество, сардинские зарисовки» (1892), «Сардинские легенды», «Народные традиции Нуоро» (1893) и т. д. В предисловии к последней книге (отдельное издание 1894 г., Рим) Деледда приходит к выводу, что «население Нуоро не более дикое, чем любой другой забытый и брошенный на произвол судьбы народ».

Сотрудничество Деледды в популярных журналах того времени, более обстоятельное знакомство с итальянской и европейской литературой (Деледда читает Вергу, Стеккетти, Габриэле д'Аннунцио, Аду Негри, а также Кармен Сильву, Елену Вакареску и русских писателей: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, позже Достоевского и Горького), переезд в 1899 году в Кальяри и знакомство с сардинскими писателями, критиками и издателями — все это расширяет кругозор «скромной провинциалки», как писала Деледда о самой себе, у которой было «большое желание и мужество заняться искусством». В ее творчестве постепенно местные, сардинские традиции сочетаются с итальянскими и обще-европейскими тенденциями эпохи.

Быт и нравы сардинцев, их верования и психология, в беглых зарисовках встречавшиеся уже на страницах первых произведений Деледды, теперь занимают центральное место в ее творчестве. Деледда стремится не списывать героев с себя и не создавать их по книжным образцам, а понять их во взаимосвязи со средой, будь то природа, деревенская жизнь с ее вековыми традициями или труд. Чувства и страсти, какими бы необыкновенными они ни казались, тоже получают свое реальное объяснение — в физиологии и окружающей среде. Как и веристы, Деледда теперь отдает предпочтение жизненному факту, который она наблюдает и описывает. «Деледда вышла из школы Верги и перенесла метод великого

сицилийского писателя на изображение своей Сардинии», — справедливо утверждают биографы Деледды.

Со страниц ее рассказов перед нами теперь встает другая Сардиния: царство гранита и причудливых горных вершин, вековых лесов и бескрайних пастбищ. Сардинские новеллы Деледды очень поэтичны. Лиризм — в песне молодого пастуха, славящего любовь и радость жизни, и в народных легендах и сказках; лиризм — в слиянии человека с окружающим миром и природой. У французских натуралистов и итальянских веристов природа входит в понятие среды. Она живет почти такой же разумной жизнью, как человек. Золя утверждал идею психологического единства органического мира. Дж. Верга показал полное слияние «естественного» человека с природой в своих новеллах. «Жизнь полей» не только «разумна», она чище и выше человеческого общества, потому что свободна от предрассудков и всего того, что мы разумеем под общим понятием цивилизации. Поэтому ее воздействие на человека превращается в разумное поучение. Эта пантеистическая идея близка и Деледде. «С каждым днем я убеждаюсь все больше, что единственная достойная в жизни вещь — жить просто, в полном контакте с природой», — пишет она в одном из писем.

К разумному голосу природы прислушиваются «примитивные» герои и поступают правильно. Природа «говорит» с ними шумом деревьев и журчаньем ручья, пением птиц и запахом цветов. Деревья, травы и камни так же чувствуют, как животные, птицы и человек. Образ дерева, разумного наставника человека, — довольно распространенный образ в натуралистической литературе. Огромное дерево из сада Параду подчиняет своей воле героев и возвращает аббата Муре к здоровой жизни («Проступок аббата Муре» Золя). С кизилевым деревом тесно связана жизнь героев Верги («Семья Малаволья»), «Танка» призывает героев Деледды любить, и вековой дуб покровительствует их любви («Марианна Сирка», 1915). Возле огромного падуба проходит жизнь старого пастуха. Когда в лесу раздаются удары топора, дерево грустно склоняет ветви, и старику кажется, что оно оплакивает свою неминуемую гибель («Удары топора», сб. «Игра жизни»).

Животные наделены разумом, как и человек. В ряде новелл Деледда описывает внешний мир глазами животных: старой зайчихи («Зайчиха», сб. «Дедушка»), молодого кабанчика («Кабаненок», сб. «Светотень») или цветов («Альпийская фиалка», сб. «Дедушка»). Это небольшие, полные лиризма и скрытой грусти рассказы. Мир живой природы чист и благостен, а растения и животные страдают и погибают от руки человека.

Герой бывает счастлив, когда он живет жизнью окружающей его природы. Когда связь между ним и природой порывается, он оказывается во власти враждебных сил, толкающих его на ложный путь и иногда — на преступление.

V

Изображение среды не было самоцелью для веристов. Среда была нужна им для того, чтобы полнее обрисовать героя и его внутренний мир. Отвергнув идеалистические толкования душевной жизни, веристы стремились объяснить психологию «научно», опираясь на физиологию и окружающие героя условия. Проблема психологии является центральной в романах и новеллах Деледды. Психология персонажей полностью определяется средой, бытом, традициями, нравами и физиологией. Плоть оказывается не менее сильной движущей пружиной человеческого поведения, чем, например, долг. Любовь понимается как зов тела, естественная потребность организма, и понятие греха переосмысливается.

В чем же своеобразии сардинского характера? «Естественный» человек, близкий к природе, прислушивается к голосу сердца и поступает по первому побуждению, не рассуждая. Интуиция и инстинкт развиты у него сильнее, чем способность к логическому мышлению. Поэтому и страсти у этих «диких» натур развиваются свободно и проявляются непосредственно. Герои быстро переходят от любви к ненависти и от ревности к мести. И так же непосредственно из этих чувств рождается преступление. Раскаяние приходит позже. Герой не обращается к правосудию, а судит себя сам, прислушиваясь к голосу предков, и сам налагает на себя наказание. За любую обиду и несправедливость герой стремится отплатить сам, творя суд и расправу, так как в себе самом он чувствует нравственный голос, которому он и повинуется. Жадность и недоверчивость, суеверия и предрассудки также находят объяснение в среде. В бедах и злоключениях виноваты, таким образом, не сардинцы, а условия, в которые они поставлены, то есть в конечном счете причины материального характера. В этом и заключается пафос новелл Деледды: она не только рассказывала о своей Сардинии, она выступала в защиту своего забытого острова и его обитателей.

«Мертвый остров», как назвал Сардинию один из героев Деледды, оживает¹. Он живет своей особой жизнью, полной суровой правды и очарования. Деледда рассказывает о тяжелом крестьян-

¹ Г. Деледда, *Игра жизни*, 1905, стр. 288.

ском труде и нищете, о суевериях и темной власти денег, толкающей на преступление, о преданности и высокой поэзии любви. Герои Деледды — это честные крестьяне и жадные старики, любящие матери и бедные девушки, задавленные нуждой бедняки и разоряющиеся аристократы, верные слуги и попрошайки, сельские весельчаки и священники, молодые женщины, жертвы несчастной любви, и бандиты. Все эти люди составляют как бы особый замкнутый мир, живущий по одним нравственным законам, всех их придавила и отбросила на несколько столетий назад вековая отсталость Сардинии. В начале XX века жизнь, в общем, вращается все в том же кругу: сев и сбор урожая чередуются с религиозными праздниками, карнавалы — с долгими зимними вечерами у древнего очага.

Многие из новелл Деледды являются сценами народного быта, который она описывает с большой точностью и любовью. Новеллы документально точны. Деледда описывает не Сардинию вообще, а родной Нуоро и его окрестности, — все веристы в своей погоне за документальной правдой рисовали местность, хорошо им известную, родной город или деревню.

Медленный ритм сардинской жизни находит отражение в замедленном темпе повествования. Для Деледды важна в первую очередь мотивировка действия, подготовка события, процесс зарождения и развития страсти, а не конечный результат. Поэтому даже тогда, когда в рассказах что-либо и случается, развязка обычно лежит за пределами повествования. Это принцип натуралистической школы, — отказ от внешнего драматизма и эффектных ситуаций ради горькой правды жизни.

VI

Особенно пристально Деледда наблюдает окружающих ее людей. Она «наблюдала их, изучала их самих и их язык, их суеверия, слушала их проклятья и молитвы». Из этого непосредственного общения с простым человеком и родился первый веристский роман Деледды «Честные души» (Милан, 1895), «написанный с натуры, почерпнутый из чана давящего пресса, как черная масса олив, которая превращается в масло, в бальзам, в свет», — как говорит писательница.

известной степени это ее программное произведение. «Честные души» — семейный роман, повествующий о большой состоятельной сардинской семье, ведущей свое происхождение от коренного населения острова — свободных крестьян.

Тема семьи была широко распространена среди натуралистов, на этом примере исследовавших наиболее характерные закономерности эпохи. В девяностые годы Золя закончил свою серию «Ругон-Маккаров», рассказывающую о судьбах семьи в эпоху Второй империи. Дж. Верга исследовал эту проблему в романах из цикла «Побежденные». В «Семье Малаволя» (1881) он показал губительное действие капитализма на патриархальное крестьянство; в романе «Мастро дон Джезуальдо» (1889) он описал жажду наживы, разрушающую семью.

Деледде также показалось удобным проследить некоторые закономерности эпохи на примере патриархальной семьи. Вслед за Золя и Вергой она осуждает честолюбие, видя в нем зло, разъедающее семью изнутри и нравственно опустошающее тех ее представителей, которые, отказавшись от здоровых традиций предков, становятся на путь эгоизма и честолюбия. Те из членов семьи Белена, которые стремятся во что бы то ни стало удовлетворить свои честолюбивые претензии, оказываются «побежденными». Им противостоит в романе старший брат, который возвращается к занятиям предков: он пашет землю, сеет хлеб, сажает сад и строит мельницу, — создает как бы земной рай. В труде он находит свое призвание. Рядом с ним и главная героиня романа, обедневшая аристократка, стремящаяся к простой трудовой жизни. Поборов в себе честолюбивую страсть, она выходит замуж и создает свое семейное счастье.

Простая жизнь на лоне природы, здоровый труд на благо семьи и общества — таков идеал Деледды. Дж. Верга, М. Серано, а также и многие другие писатели эпохи противопоставляли разочарованным аристократам и честолюбцам всех мастей людей дела, занятых полезным трудом. Обычно этот идеал воплощался в образе врача-естествоиспытателя, принесившего непосредственную пользу обществу и поэтому привлекавшего к себе внимание писателя.

К теме семьи Деледда вернулась в романе «Анналена Бильсини» (1927), в котором она описывает крестьянскую жизнь в Ломбардии и рассказывает, как дружная семья своим трудом возрождает заброшенное хозяйство и создает свое собственное и общественное благополучие. Единство семьи, авторитет старших — это то естественное и правильное начало, которое противостоит индивидуалистическим стремлениям молодого поколения и побеждает их. Об этом пишет Деледда и в романе «Пожар в оливковой роще» (1917), показывая, как эгоизм и себялюбие едва не разрушают семью.

VII

В начале XX века капитализм все настойчивее проникает в патриархальный быт Сардинии, вызывая тягу к личному преуспеянию, порождая честолюбивые мечты и жажду обогащения. Эти вождедения итальянские веристы наблюдали в разных классах современного общества: Верга и Капуана в Сицилии, Матильда Серрао в Неаполе. Деледда продолжает исследовать эти честолюбивые стремления в романе «Путь зла» (1896).

Герой романа, Пьетро Бену, горд, но беден и поэтому должен наниматься на поденную работу. Он влюбляется в дочь своего хозяина, которая тоже любит его, но стыдится своего чувства и выходит замуж за богача. Что же остается Пьетро? Честным путем он не добьется успеха и не завоюет Марию. И он вступает на «путь зла» — становится вором и убийцей. Разбогатев и убив мужа Марии, женится на ней. Оба они виновны: Пьетро пошел на преступление ради любви, Мария же отвергла любовь ради богатства и ложных представлений своей среды. И даже любовь, которая в конце концов соединяет героев, не дает им счастья. Их ждет тяжелый путь искупления вины.

Глава итальянских веристов Луиджи Капуана высоко оценил этот роман. В своей рецензии он отметил: «Синьорина Деледда поступает наилучшим образом, не выходя за пределы Сардинии и продолжая разрабатывать тот драгоценный материал, который и создал ее оригинальность». Деледда в письме к Капуане от 30 марта 1897 года писала: «У меня не было наставника, когда я делала мои первые шаги в искусстве. Теперь я его чувствую в себе самой — это внутренний голос, который указывает мне на нечто высокое, чистое и сияющее».

В 1900 году, выйдя замуж, Деледда уезжает в Рим. Знакомство с жизнью большого города и европейской цивилизацией не только в ее положительных, но и в отрицательных проявлениях убеждает писательницу в правильности выбранного ею пути. Живя в Риме, Деледда продолжает писать о Сардинии. Издали родной остров, его природа и люди представлялись еще более выпукло.

В романе «Старик с горы» (1900) Деледда описывает с детства знакомый ей пейзаж: гору Ортобене в окрестностях Нуоро. Честолюбивым претензиям героев писательница противопоставляет естественную жизнь на лоне природы седобородого слепого старика, напоминающего своим внешним видом и своей мудростью древнего патриарха. Дядюшка Пьетро обрел душевный покой и

счастье в полном слиянии с природой. И даже смерть не страшит его, а представляется ему благом и естественным концом его жизненного пути.

Проблеме честолюбия посвящен и роман «Пепел» (1903). Анания Атонцу, герой романа, уезжает учиться в Рим. Оторвавшись от родных мест, он усваивает эгоистическую мораль большого города и проникается суетными стремлениями. Детская мечта найти мать превращается в навязчивую идею, и когда Анания случайно находит Оли и узнает, что она стала падшей женщиной, то он не хочет понять ее, а судит с позиции цивилизованного человека и толкает ее тем самым на самоубийство. Мать не захотела подчиниться эгоистической морали общества и умерла свободной, как и жила. У трупа матери Анания открывает старинную ладанку, которую в детстве дала ему Оли, и находит в ней пепел. Так вот что представляли собой все его эгоистические стремления, которые он пытался навязать окружающим! Он понял их тщетность и снова уверовал в жизнь.

Тяга к неизвестному и к лучшей жизни заставляет сардинцев покидать родной остров и уезжать на континент. Счастлив тот, кто возвращается в родные места неиспорченным от соприкосновения с чуждым миром цивилизации, как героиня романа «В пустыне» (1911).

Деледда откликается на одну из злободневных проблем — проблему эмиграции. Эмиграция итальянцев была своего рода протестом против антинародной политики правительства. Особенно широкие размеры она приняла в начале XX века на Юге, который правящие классы превратили в свою полуколонию. Но и на Севере развитие капитализма сопровождалось острой классово-вой борьбой и обнищанием широких масс населения. Голод и нищета, толкающие сардинцев на континент, гонят других бедняков с континента в Сардинию на разработки древесного угля. Изнурительный труд на лесоразработках рабочих — тосканцев и сардинцев — описывает Деледда в романе «Наш хозяин» (1910). Тот, кто хочет преуспеть, должен отказывать себе во всем, идти на сделки с собственной совестью, торговать даже любовью, и все это ради денег и материального достатка. Создав свое благополучие этим путем, герой романа умирает, так и не вкусив радостей жизни. «Наш хозяин», — говорят бедняки, подразумевал под этим свою нищету. Итак, материальные силы, социальные условия определяют человека и его психологию и в условиях капитализма выступают как некая фатальная сила, тяготеющая над человеком и калечащая его физически и нравственно.

VIII

Жизнь бедняков, добывающих свой хлеб в повседневном тяжелом труде, становится постоянным предметом изображения для Деледды.

Итальянские веристы настойчиво рекомендовали изучать жизнь малоимущих слоев и правдиво изображать ее в искусстве. «Я люблю жизнь такую, какая она есть, — писала Деледда, — без прикрас, отталкивающую и прекрасную в своей обнаженности. Я полагаю, что самый глубокий символ жизни заключается в ее неприкрашенной правде».

Жизнь бедных крестьян, пастухов, нищих и поденщиков, всех этих «отверженных» и «побежденных», впервые показала веристская литература и описала их не порочными чудовищами или слезливыми поселянами, а живыми привлекательными людьми, поэтами и философами, наследниками народной мудрости и старинных обычаев. «Сардинский народ по присущему ему внутреннему чувству — народ-поэт, но он очень беден», — писала Деледда. Общество отказало этим людям в человеческих условиях существования, в культуре и в справедливости, они остались в стороне от капиталистического прогресса и его цивилизации, но сохранили связь с землей, их матерью и кормилицей, связь с природой, «разумной» наставницей, связь с древними традициями и законами предков, их нравственными принципами и жизненной моралью. Таков дядюшка Пьетро («Старик с горы»), таков и Эфикс, невестственный слуга из романа «Тростник на ветру» (1913). Эфикс верит в духов и фей, которые живут в лесах и водоемах, хранят клады и могут сыграть с человеком злую шутку. Этот человек обладает огромной внутренней силой. Вся его жизнь становится подвигом самопожертвования. В молодости он случайно убивает своего господина, но не уходит из господского дома и не отдает себя в руки полиции. Эфикс сам творит над собой суд и налагает кару: он остается в доме своих хозяев и тяжелым трудом стремится искупить свою вину. Он умирает незаметно, на своей старой циновке, так же незаметно, как он прожил свою жизнь.

Так поступает не только Эфикс, но и служанка Аннеза в романе «Плющ» (1904), «Хозяин леса» в романе «Элиас Портолу» (1903) и другие, потому что древние законы и традиции являлись нравственной основой поведения человека в Сардинии.

Эфикс в изображении Деледды — праведник и мудрец. Его жизненные представления облекаются в привычные образы природы. Каждый день он видит, как шумит и гнется по ветру тро-

стник, из которого он плетет циновки, и люди с их стремлениями и страстями представляются ему хрупкими соломинками под ударами судьбы, словно это тростник на ветру. Так представления героев вырастают как бы непосредственно из условий их жизни.

IX

Проблему естественной справедливости и христианского смирения ставит Деледда в одном из лучших своих романов «Элиас Портолу». Не всегда человек знает свой путь в жизни. Часто он колеблется, страдает от непонимания окружающих и своего одиночества. Таков Элиас Портолу, вернувшийся после тюремного заключения на континенте в родной Нуоро. Он полюбил невесту брата, Маддалену, которая тоже любит его. Элиас слаб, он боится признаться в своем чувстве, и девушка становится женой брата. Но любовь Элиаса не проходит, она крепнет и растет. Где же выход? В романе сталкиваются две противоположные силы: естественное чувство свободы и справедливости и христианская религия.

Герои Деледды — верующие люди. Однако в Сардинии элементы древних языческих представлений сочетались с христианством. Так дядюшка Пьетро глубоко религиозный человек, но бог для него слился с окружающей природой. На религиозных праздниках, в церквах сардинцы поют старинные языческие гимны, которые оказывают на них гораздо большее действие, чем христианские проповеди.

В своих терзаниях Элиас обращается за советом к двум разным людям. «Хозяин леса», старый пастух огромного роста с седой бородой, — воплощение природной мудрости, советует Элиасу сказать о своей любви и бороться за нее. Священник, по прозвищу Поркедду (поросенок), советует смириться, покаяться и уйти от мирских соблазнов, став священником. Элиас выбирает второй путь. Однако душевный разлад его продолжается. И лишь у гроба умершего сына душевная боль утихает, и Элиас обретает покой.

Итак, сугана не спасает человека от соблазнов. Напротив, чувства еще более обостряются. Потребность любить оказывается сильнее религиозных запретов. Поэтому так властно зовет плоть маленького монаха по имени падре Топес. И он, не в силах противиться ее голосу, кончает с собой, чтобы спастись от греха («Падре Топес», сб. «Игра жизни»).

В Сардинии, как и в остальной Италии, только став священником, бедняк мог «выйти в люди», получить некоторое образование и положение в обществе. Пауло, сын бедной служанки, стал священником, но сан не убил в нем человека («Мать», 1920). Он влюбляется в одинокую богатую женщину, которая отвечает ему взаимностью. Но они не могут быть счастливы. Католический обет безбрачия запрещает Пауло любить Аньезе. В душе Пауло идет борьба естественного человеческого чувства с католическими догматами. Мать Пауло, простая неграмотная крестьянка, наблюдая душевные муки сына, начинает понимать несправедливость и противоестественность католических запретов. В простоте души она обращается к богу: «Почему, господи, Пауло не может любить женщину? Все могут любить, даже слуги и пастухи, даже слепые и преступники, почему же Пауло, моя плоть, один не имеет права любить?»¹

Человеческая природа оказывается сильнее. Неизбежно было грехопадение Элиаса, так же неизбежно и грехопадение Пауло. Но если Маддалена не боролась за свое счастье, то Аньезе заявляет о своем праве на любовь. Она ставит жесткое условие: или Пауло бежит с ней, или он навсегда покинет родные места, иначе она грозит разоблачить его в церкви перед всем народом. После проповеди, видя, что Аньезе приближается к алтарю, Пауло уходит, чувствуя, что сердце его не вынесет признания. В этот момент звучит старинный религиозный гимн, который поет старик сардинец. Эта грустная монотонная мелодия останавливает Аньезе. Ценой огромного усилия воли Пауло побеждает себя; но эта победа стоит жизни его матери, чье сердце не выдержало и разорвалось.

В этом небольшом романе, изображающем два дня из жизни трех персонажей, мастерство психологического анализа Деледды достигает своего совершенства. Она описывает самые тонкие переживания и неуловимые движения человеческой души.

Х

Шла подготовка к Первой мировой войне. Реакционная буржуазия Италии требовала своего места под солнцем. В литературе эти тенденции получили отражение в националистических книгах и выступлениях д'Аннунцио, в империалистической пропаганде футуристов. Веризм уступает место новым направлениям. Верга

¹ Г. Деледда, Мать, 1954, стр. 90.

перестает писать и уезжает в Сицилию. Капуана пишет только критические статьи, пародии и рассказы для детей. М. Серао испытывает прилив религиозных чувств и пишет о святых и их подвигах. Деледда чувствует себя в одиночестве. Угар военной пропаганды не коснулся ее. Она осудила войну как писатель и как человек. «Этот кошмар войны держит душу как бы окутанной тоской и печалью... Находишься словно накануне катаклизма или Страшного суда... Но нужно продолжать работать по-прежнему, как работают в дни горя и войны, присущих нашему времени. Хорошо или плохо, но нужно работать, надеяться и любить среди ненависти и крови». Так писала Деледда в одном из своих писем.

Она не могла работать, как прежде: «И я тоже ничего больше не написала. Мы не можем писать о войне — это очевидно», — говорит Деледда в письме к писателю М. Моретти. Вместе с тем Деледда понимает, что после войны многое нужно будет изменить. «Все нужно будет начинать заново после войны, все переделывать: и жизнь и искусство».

Война закончилась, а политика правящего класса не изменилась, начались призывы к войне в Африке, фашизм медленно прокладывает себе дорогу к власти. Деледда все больше замыкается в себе, в своем доме на тихой римской улице, в семейном кругу. «Мне все больше нравится жизнь в этом уединенном уголке. Я хотела бы оградить ее еще более высокой стеной в моем саду... хотя бы стеной из хризантем!» Но надо писать, так как молчать она не может. Деледда пишет, согласно своим взглядам на искусство, которые к этому времени несколько изменились.

В эпоху развития психологизма в европейской литературе внимание писателей в большей степени направляется на изучение подсознательного и инстинктивного, чем это было в веристской литературе. Деледда продолжает писать о Сардинии, но заставляет сардинцев переживать все сомнения и тревожения современного цивилизованного человека. Теперь уже не жанровые сцены из сардинской жизни и психология героев, исследуемая во взаимосвязи со средой и физиологией, привлекают писательницу, а более общая проблема сознания и инстинкта. К этому времени относятся сборники рассказов: «Свирель в лесу» (1923) и «Залог любви» (1926).

Изменился и герой Деледды. Персонажи новелл — забытые одинокие существа, смешные чудачки, разочарованные мечтатели или бедняки, выброшенные из общества, преступники, совершающие преступления как бы не по своей воле, и дети, с малых лет познавшие страдание и горечь одиночества.

Сардиния присутствует в этих новеллах как воспоминание. Теперь сардинская «среда» приобретает более отвлеченный, всеобъемлющий характер. В центре рассказов — большой город и его обитатели. Былая конкретность повествования уже не нужна Деледде, так как интересующие ее проблемы не связаны с местными традициями и национальными особенностями сардинцев. На первый план выдвигается идея одиночества человека в современном обществе, невозможность установить контакты с другими людьми, нравственные страдания и душевная борьба.

Герои не принадлежат к замкнутому миру как персонажи сардинских новелл. Новые герои Деледды находятся на разных ступенях социальной лестницы и живут, руководствуясь различными нравственными представлениями. Естественно, что они не могут понять друг друга. В суеете большого города они чувствуют себя затерянными и никому не нужными. Если нельзя встретить взаимопонимания у окружающих, герои ищут спасения от «ужаса одиночества» в общении с природой. Старая тема близости человека и природы переосмысливается. Природа уже не разумная наставница человека, — теперь она умеряет боль одиночества как близкий друг. Кипарису поверяет свои секреты будущая писательница, и дерево как бы разделяет с ней ее радости и огорчения («Кипарис», сб. «Свирель в лесу»). Черепаха скрашивает жизнь одинокой женщины в жалкой лачуге в большом городе («Черепаха»).

Изменяется и тема неимущих, так широко представленная в сардинских новеллах. Типичной в этом смысле является новелла «Бедняки» (сб. «Свирель в лесу»). Нищая семья живет в пещере. Отец разбит параличом, ребенок — идиот, мать, неграмотная женщина, собирает травы и продает их в городе. На всех героях лежит печать приниженности и аномальности.

Большое внимание в своих новеллах Деледда уделяет проблеме отношения сознания и подсознательных импульсов, которые иногда оказываются сильнее сознания и, парализуя волю, заставляют человека совершать низкие поступки и даже идти на преступление. В такие моменты сознание как бы спит и человек находится во власти инстинктивных, подсознательных сил. В этот краткий миг и совершается самое страшное и отвратительное. Затем сознание возвращается и снова берет верх, подавляя инстинкты. Наступает отрезвление и раскаяние или душевная борьба, заканчивающаяся победой воли («Черепаха», «Бумажник» и др.).

Иногда иллюзии помогают героям забыть о действительности, но наше сознание всегда начеку, и оно снова возвращает нас к суровой жизни. Настоящее является отрицанием прошлого, и воспоминания о нем почти всегда горьки.

Деледду интересуют теперь не сам факт или событие, а мысли и чувства, какие они за собою влекут.

Новые интересы Деледды получают отражение и в построении новелл. Они совсем лишены движения и сюжета. Маленькие картинки, как кадры в кино, сменяют друг друга, раскрывая с разных сторон внутренний мир человека. Это как бы несколько психологических зарисовок, объединенных общей темой, героем или каким-либо случайным совпадением. В рассказах нет действия, но много рассуждений героев и самой писательницы. Иногда в них сквозит грустный юмор — люди и вещи представляются Деледде со стороны мелкими и достойными насмешки. Участницей или свидетельницей событий часто является сама Деледда. Этот прием позволяет ей вступить как бы в непосредственный контакт с читателем и заставить его смотреть на вещи ее глазами

XI

В романах последнего периода на первый план выдвигаются те же проблемы одиночества, личной свободы и непонимания окружающих. От больших романов со многими действующими лицами и развернутым сюжетом Деледда переходит к небольшим повестям с двумя-тремя персонажами, почти без сюжета и интриги. Все герои — одинокие, страждущие люди, не встречающие понимания и поддержки в окружающем мире; такова героиня романа «Танец ожерелья» (1924), которая отказывается от жемужного ожерелья, привлекавшего к ней мужчин, но сохраняет свою свободу и независимость. Таков и герой романа «Секрет одинокого человека» (1921), который живет в своем особом мире, созданном его большой психикой. Таковы Пауло и его мать с их душевным разладом и муками («Мать»). В этих романах находит полное воплощение то, что в первых книгах Деледды было лишь намечившейся тенденцией. Уже не среда и быт, а психологические драмы, жизнь человеческой души находится в центре этих романов. В них психика героев предстает в своем обнаженном виде.

На склоне лет, получив Нобелевскую премию, больная и одинокая, Деледда решила подвести итог своего жизненного и творческого пути в автобиографическом романе «Козима, почти Грация» (1936), который остался незаконченным и вышел в свет после ее смерти. Он доводил творческую биографию писательницы до ее переезда в Рим. В 1937 году он вышел под названием «Козима» в исправленном виде, чтобы обелить ее братьев и сгладить

описание семейных невзгод. В этом романе Деледда создает образ талантливой, одинокой и непонятой девушки, борющейся за свой путь в жизни и в искусстве.

Однако автобиографический роман показался Деледде, очевидно, не столь подходящим для изложения ее новых взглядов, и она прерывает работу над ним, чтобы написать свой последний роман «Одинокая церковь» (1936). Здесь идея одиночества и невозможности взаимопонимания дана на фоне сардинского быта и пейзажа.

В Сардинии бандиты на склоне лет, скопив деньги, обращались мыслью к богу. Они калялись и строили церкви. Один из них поставил в горах церковь в честь святого Франциска, другой — церковь у подножия горы Ортобене в Нуоро. Эта церковь получила название Одинокой. Она и сейчас еще стоит на том же месте, — в ней покоятся останки Деледды. В притворе церкви когда-то жил бандит, а потом его потомки. Деледда описывает жизнь двух женщин — матери и дочери — возле этой одинокой церкви. Заболев раком и перенеся тяжелую операцию, дочь стала иначе смотреть на жизнь. Претенденты по-прежнему домогаются ее руки, но Мария Кончечционе решила отказаться от мирских радостей. Однако любовь оказывается сильнее ее, и весной с пробуждением природы страсть мучит Кончечционе. Но одиночество и раздумье успокаивают разбушевавшуюся кровь. Страсть ее проходит, и она становится мудрее.

Такова эволюция творчества Деледды — от первых ее книг, где психология выростала как бы непосредственно из среды и быта, традиций и предрассудков, до ее последних романов и новелл, где дан углубленный анализ психики героев, более тесно связанной с физиологией и включающей не только сознание, но и подсознательное, все то, что ощущается и лишь смутно чувствуется, но находится за пределами сознания.

Деледда написала также более десятка пьес. Это или небольшие одноактные сцены из народной жизни, как «Ненависть побеждает» (1904), где рассказывается о старинной родовой вражде, убивающей любовь. Или это переделки романов, как пьеса «Пепел», главную роль в которой играла Элеонора Дузе. Некоторые из своих пьес Деледда написала совместно с критиком и писателем Камилло Антона-Траверси, как, например, драму «Плющ»

Пьесы Деледды, как и пьесы Верги, были гораздо слабее ее романов и не пользовались большой популярностью.

Мировая известность Деледды основывается на ее сардинских романах и новеллах, открывших Италии и всему цивилизованному миру Сардинию — «страну молчания и страсти», которая заговорила в книгах Деледды и рассказала о своей бедноте, о своих горестях и о своей душевной чистоте.

Творчество сардинской писательницы вызывало интерес и в России. Лучшие ее новеллы и романы переводились на русский язык, получая благожелательный отклик. Ее книги и до сих пор не утратили своего художественного значения.

И. Володина

ИГРА
ЖИЗНИ
1905



ПАДРЕ ТОПЕС

В монастыре, который стоит на самой вершине горы, всего лишь несколько лет назад жили монахи, если не ошибаюсь, францисканцы. Каждые три-четыре месяца один из них спускался в долину, брал лошаденку у какого-нибудь крестьянина побогаче и отправлялся за подаением.

Младшему из братии, которого прозвали падре Топес¹ за то, что его бледное робкое личико с блестящими глазками походило на острую мышиную мордочку, было года двадцать два — двадцать три. Правда, выглядел он значительно старше, потому что всегда молчал и был погружен в молитву. Падре Топес слыл святым, и ходили слухи, что он — девственник.

Монашек этот приходился сыном бандиту, много лет назад погибшему от руки убийцы. В монастырь он поступил еще мальчиком, хотя его мать, бедная, но гордая вдова, говорила, что лучше бы уж он по примеру отца стал бандитом, чем пошел в монахи.

Шли годы. Падре Топес, настоящее имя которого было падре Цуанне, целыми днями молился, молчал и работал. Рано утром он доил монастырских коз, потом копался в огороде, стряпал, мыл посуду, приносил из колодца или родника воду. А днем подолгу стоял у окна, разбрасывая хлебные крошки птицам, кружившим над изъеденным временем каменным карнизом.

Маленький монастырь из темного камня, одиноко стоявший на вершине горы, уже в то время начинал

¹ Топо — мышь (*итал.*).

приходить в упадок. Ветхое здание окружали тысяче-летние падубы, причудливые скалы, похожие в сумерках на исполинские головы сфинксов, кусты остролиста и желто-зеленые заросли папоротника.

Из окна кельи падре Топеса открывался чудный вид: лиловые горы четкими силуэтами вырисовывались на фоне неба — молочно-голубого на рассвете, а на закате горевшего золотом с алыми переливами.

Чувствовал ли падре Топес величественную красоту и божественную уединенность этого места? Чувствовал ли он пряный аромат мхов и душистых трав, поднимающийся из рощи с наступлением вечера, когда над горами Барбаджи в фиолетовом небе, отливавшем то розовым, то сиреневым, то зеленым цветом, появлялся, точно кровавая рана, багрово-красный молодой месяц? Видел ли он, что скалы в сумерках начинали излучать белесый свет, а роща наполнялась таинственным мерцанием, трепетом и шепотом и горы вокруг, казалось, погружались в глубокий сон любви?

Кто знает! Но он долгие часы простаивал у своего окна. Уже и птицы улетали в лес или возвращались в свои гнезда на скалах, а он все стоял и стоял в немом восторге перед открывавшимся ему прекрасным видом. И даже зимой, когда горы окутывала плотная пелена облаков и тумана, маленькое, посиневшее и съжившееся от холода личико по-прежнему появлялось у окошка кельи. Устремив взгляд куда-то вдаль, падре Топес бросал хлебные крошки воронам, появлявшимся из облаков и снова нырявшим в густой туман.

— Благодарствуем, благодарствуем, — казалось, кричали они, приветствуя хриплым карканьем странного монашка.

— Это будет святой вроде святого Франциска, — говорил о нем настоятель монастыря падре Кирку, который днем пил горькую, а по ночам, плача, истязал себя за греховную слабость.

Но однажды падре Топес впал в смертный грех. А случилось это вот как.

Раз, в начале апреля, когда монашек стоял у своего окна, любуясь голубым небом, по которому плыли легкие облачка, похожие на розовые лепестки, его позвал падре Кирку и велел завтра же отправиться за подаянием.

Правда, в это время года в домах сардинцев обычно было пусто и голодно, но для монахов они всегда что-нибудь находили.

Брат Топес вышел еще до зари, когда небо едва се-ребрилось, роса была полна ночной влаги, а на сухих бурых листьях, покрывавших землю, сверкали капельки росы.

Сладкий запах фиалок и нарциссов действовал опьяняюще на монаха, и он шел, блаженно улыбаясь. Как он радовался этому путешествию! Сколько дивных церквей встретится ему на пути! А в Нуоро он увидит самого епископа, величественного и прекрасного, словно святой апостол.

Добравшись до подножья горы, где ютилась маленькая деревушка, темная и безмолвная, как покинутые сланцевые копи, он присел отдохнуть у ручья под тенью старого развесистого падуба. Из ближнего дома вышла высокая красивая девушка, темноволосая, с синими глазами. Она подошла к ручью набрать воды и, заметив монаха, приветливо улыбнулась и поздоровалась.

Он посмотрел на нее, ничуть не смутившись ни ее присутствием, ни ее милой улыбкой. Он даже спросил, у кого можно взять лошадь. Девушка назвала ему имя богатого крестьянина. Тот действительно дал ему лошадь, и молодой монах отправился в путь.

Он обошел много деревень, видел много прекрасных церквей, а в Нуоро ему привелось взглянуть на епископа, похожего на ожившего апостола, — такой он был благообразный и величественный.

Погода стояла чудесная — теплая и ясная. Солнце было уже по-летнему жарким, но, смягченное обильными испарениями земли, оно не жгло, а лишь разливало живительное тепло по сверкавшим весенней свежестью лугам, усеянным ромашками, лютиками, мятой и горечавкой.

Монашку нравилось бродить по дорогам, и он радостно, как ребенок, приветствовал всех, кого встречал на своем пути. Иногда, отпустив лошадь пастись, он бросался в высокую теплую траву и долго лежал без движения. Он чувствовал во всем теле сладкую и мучительную истому, похожую на восторженное изнеможение,

которое он испытывал, когда во время молитвы ему являлись видения рая.

Так он шел и шел и забрел в незнакомую деревню. Ночь стояла совсем летняя: теплая, светлая, полная неги и благоуханий. Брат Топес охотно переночевал бы под открытым небом, но переметная сума у него была уже набита доверху и он побаивался воров. Время тогда было беспокойное: много на свете добрых людей, но немало и дурных. К тому же он чувствовал себя таким утомленным и так давно не высыпался, что ему захотелось отдохнуть под крышей.

Он постучался в первую попавшуюся дверь. Ему открыла женщина, высокая и красивая, с темными волосами и голубыми глазами. Чем-то она была похожа на ту, которую брат Топес встретил в самом начале своего пути у ручья под старым падубом.

— Что вам нужно? — резко спросила она, подняв на него изумленный взгляд.

Монах объяснил ей, в чем дело.

Молодая женщина нахмурила густые черные брови и, казалось, о чем-то раздумывала. Потом, решившись, ввела монаха и его нагруженную лошадь в маленький дворик.

— Я женщина одинокая, — сказала она с какой-то странной усмешкой, помогая ему снять с лошади переметную суму, — но думаю, никто ничего не скажет, если вы у меня переночуете.

— Конечно, — улыбнулся брат Топес. — Тем более что уеду я рано, до света. А спать могу хоть здесь, во дворе.

— Боже упаси! Слуге господню всегда принадлежит лучшее место в доме. Однако нелегко этот мешок... Видно, поездка была удачной.

— Да. В каждой овчарне мне давали головку свежего сыра, да умножит господь стада овец! А хозяйки не скупились на оливковое масло. Да будет благословенно их доброе сердце!

— Аминь! — сказала женщина и рассмеялась.

В ее поведении было что-то странное: монаха смущал горящий взгляд и насмешливый тон. Он даже подумал, что она немного не в себе.

Женщина ввела монаха в красивую голубую комнату и стала угощать его печеньем, вином и ликером.

— Нет нет, — отказывался он, но хозяйка так мягко так ласково и в то же время так настойчиво уговаривала его, что монах сдался и съел одно печенье. Потом выпил стакан вина: оно было крепкое, сладкое и пахло как роща, которая окружала его родной монастырь. Затем он выпил еще стакан, а потом рюмку ликера, отливавшего красным огнем, как небо в последних лучах заходящего солнца. Потом он выпил еще одну.

— Ну, расскажите теперь, из какого вы монастыря? Где побывали? — спрашивала женщина, стоя почти вплотную к нему.

Она была очень нарядна. На лифе красивого платья сверкали золотые блески и бисер. Черные волосы, разделенные пробором и уложенные над ушами, блестели от ароматных масел. От ее тела исходил дурманящий запах фиалки.

Брат Топес ощущал беспредельное блаженство, какую-то странную, неведомую ему до сих пор сладость. Он сидел на стуле возле постели и чувствовал себя совсем разбитым. Ему казалось, что он не может шевельнуть пальцем, и эта расслабленность, эта неспособность двигаться доставляла ему неизъяснимое наслаждение. Он рассказывал женщине о своей жизни, а та внимательно его слушала.

— Как? — сказала она вдруг с изумлением. — Вы сын того самого бандита? А почему вы пошли в монахи?

— Чтобы искупить грехи отца, — ответил брат Топес и сразу же почувствовал невыносимую боль — еще никому, никогда не делал он этого признания. Женщина расхохоталась.

— Почему ты смеешься? — оторопел он.

— Потому, что ты глупый, — ответила она, наклонившись к нему и нежно его лаская. — Ты невинное дитя; ты невинен, так ведь?

— Да, — произнес он, бледный и жалкий, и сделал слабую попытку оттолкнуть ее.

В это время в дверь постучали, но женщина притворилась будто не слышит. Она опять склонилась над ним, обвила его руками свою шею и поцеловала в губы, бледного и растерянного.

Он закрыл глаза, и по щекам его покатились крупные слезы.

— Поцелуй меня, — говорила она в упоении и восторге. — Ну, не плачь, не бойся, греха нет. Что такое грех? Ну, поцелуй меня.

И он поцеловал ее.

Он оставался в этом роковом доме две ночи и два дня. В дверь часто стучали, и он каждый раз вздрагивал, но женщина успокаивала его:

— Если я не отпираю, все понимают, что у меня гость, и уходят, — объяснила она без тени стыда.

На третью ночь она отправила его домой.

— Иди, — сказала она. — Вернешься в другой раз. А теперь иди.

Он оставил ей все, что было у него в суме.

По правде сказать, сначала она отказывалась, но уговорить ее оказалось легко, и она взяла все.

Брат Топес вернулся в монастырь к вечеру следующего дня.

Увидев его, падре Кирку перекрестился.

— Во имя отца и сына и святого духа, что с вами, брат Цуанне? Вы состарились на сто лет, можно подумать, что вы в аду побывали.

— Да, в аду, — ответил несчастный едва слышным голосом. На меня напали разбойники, обобрали и избили.

Падре Кирку, по обыкновению полупьяный, упал на колени и стал громко проклинать людскую испорченность. Потом поднялся, цепляясь за стенку, и спросил:

— А лошадь? Ее тоже отняли?

— Нет, лошадь цела. Я вернул ее хозяину.

— Ну что же, несчастный, придется вам поехать еще раз. Поезжайте. Когда люди узнают, что в вашем лице разбойники ограбили самого Иисуса Христа, они подадут вам вдвое больше.

Падре Топес, у которого и так кровинки в лице не было, побледнел еще больше и задрожал.

— Отец настоятель, — молил он, сложив руки, — не надо, не посылайте меня! На меня опять нападут. Я боюсь. Сжальтесь надо мной, пошлите кого-нибудь другого.

— Другому не поверят, скажут еще, что мы на этом деле нажить хотим. Идите вы, брат Цуанне. Ваше постаревшее лицо, ваши испуганные глаза заставят людей расщедриться.

Напрасно просил и умолял бедный монах не посылать его снова. Падре Кирку знал, что говорил, и не собирался отказываться от удачной мысли. Брат Топес только выговорил себе неделю отдыха.

Это была неделя страшных мучений.

Вокруг позеленевших от сырости и поросших мхом стен монастыря сияла и благоухала горная весна. В роще цвели душистые фиалки и весело стрекотали сойки. Под теплым весенним ветром трепетала яркая зеленая травка.

Брат Топес жил как в бреду. Его жгли раскаяние и желание. Воспоминание о той женщине не давало ему покоя. А они еще хотят, чтобы он поехал туда снова. Нет, лучше умереть. Ведь, согласившись, он неизбежно вернется на путь греха. А он не хотел больше грешить. Он хотел запереться в этом монастыре на сто, на двести лет, или укрыться в пещере, или стоять на утесе или на столпе, как святой Симон, — в общем, где угодно, как угодно, но искупить свои грехи и грехи отца.

Однако к концу недели он почувствовал себя спокойнее и собрался в дорогу. Его поддерживала смутная надежда на то, что всеблагой бог не оставит его своей милостью.

Как и в тот раз, над густыми кронами деревьев простирался серебристый утренний небосвод, а в свежем воздухе стоял пряный запах фиалок и ландышей.

Но как только падре Топес вдохнул аромат цветов, его сразу же охватило волнение: такой же запах исходил от тела той женщины! И сердце его начало понемногу сжиматься, сжиматься и сделалось наконец крошечным, как ягодка остролиста. Смертельная тоска овладела им.

Спустившись с горы, он, как и в тот раз, остановился у ручья под тем же развесистым падубом. В деревушке было тихо. Слабый отсвет занимавшейся зари чуть окрасил крыши.

Из ближайшего дома, как и тогда, вышла та же девушка с синими глазами и ярким ртом и подошла к

ручью набрать воды. Увидев монашка, она приветливо улыбнулась ему и сказала ласково, как ребенку:

— Так на вас напали разбойники? Ах, какие нехорошие они люди! Они непременно попадут в ад.

Монашек ничего не ответил. Он только смотрел на нее безумными глазами. Ах, боже, боже, всекарающий и всемилостивый боже, как она была похожа на *ту!* И, глядя на девушку, отец Цуанне испытал такое неукротимое желание, что у него закружилась голова и потемнело в глазах. Да, он погиб, погиб навеки. Он понял, что отныне каждый шаг будет приближать его к *тому* дому. И он не сдвинулся с места. Когда девушка, поставив на голову кувшин с водой, пошла к своему дому, прекрасная, как самаритянка, падре Топес проводил ее пылающим взглядом. Затем он снял веревку, которой был подпоясан, и забросил ее на самый высокий сук. Встав на камень, служивший крестьянам скамейкой, он сделал петлю из веревки и, накинув ее себе на шею, бросился в пустоту.

СТУДЕНТ И СБОРЩИК ВЕРЕСКА

Стоял октябрь.

Облокотившись о каменную ограду виноградника, или, вернее, полулежа на ней, студент и журналист Ликсия смотрел на суровый безрадостный пейзаж, воспоминание о котором столько раз вызывало у него приступы мучительной ностальгии.

Перед его глазами лежала поросшая вереском равнина. Среди темной зелени желтела широкая, изрытая ухабами дорога, там и сям возвышались красноватые скалы, покрытые ржавыми пятнами мха. Над темно-зеленым полем вереска, уходящим вдаль до самого горизонта, светлое пепельно-голубое небо казалось еще бледнее.

Мертвую тишину, нависшую над равниной, нарушал лишь растворявшийся в высоте голос жаворонка, а в бездонной глубине неба стыло одинокое облако — белое и легкое, как перышко. Казалось, к нему была обращена тоскующая песня жаворонка и облако прервало свой одинокий полет, чтобы выслушать эту тихую жалобу.

Ликсия смотрел на все это, и его тоже забирала тоска. Он чувствовал, как туманит голову неодолимая сонливость. Ему чудилось, что тень смоковницы, тяжело упавшая на раскаленную каменную стену, надвинулась на него и накрыла его мысли.

«Что за тоскливый и несчастный край Сардиния! — думал он. — Здесь скучно даже облакам и птицам. Все в мире пребывает в непрерывном беспокойном движении, и только на этом мертвом острове царят тишина и оцепенение. То, что еще не умерло, доживает свои последние дни. Отцовский виноградник — единственный

виноградник среди этой дикой равнины — гибнет от филлоксеры. Через год здесь останется только каменная ограда и смоковница — да и то неизвестно, уцелеют ли они? А я уже не смогу вырастить новый виноградник. Где мне! Ведь я в этом деле ничего не смыслю! Что это там за человек бредет? А, дядюшка Паскаль! Только этой суровой и печальной фигуры и не хватало для полноты картины. Старик точно выкован из ржавого железа. Будь я художником-символистом, я бы нарисовал старика так, как он теперь стоит, — между двумя кустами вереска у кроваво-красной скалы на фоне бледного неба — и назвал бы картину «Сардиния».

Сборщик вереска медленно продвигался вперед, то и дело останавливаясь, чтобы срезать лучшие пучки. По мере того как он приближался, до студента все явственнее доносились не то стоны, не то приглушенный кашель, который клокотал в груди старика.

Должно быть, у дядюшки Паскаля был жар, и он бредил, потому что, когда он поравнялся со студентом и остановился возле ограды виноградника, Ликсия услышал сбивчивую, бессвязную речь.

— Мария Анника, — говорил старик тоном легкого упрека, — зачем ты это сделала? Разве ты не знала, что он богат? Постой-ка вот тут, стой. А где мешок? Ох, что же мне делать? Святой Франциск милосердный! Паскаледду, заступник, не мучь меня так!

— Дядюшка Паскаль! — окликнул его студент.

Старик, который нагнулся, чтобы срезать пучок вереска, резко выпрямился, будто пробудившись ото сна, и поднес руку к ввалившимся глазам.

— Кто ты, душа из чистилища?..

— А вы разве не видите? Я не из чистилища, я из ада.

— А-а, ты сын Баторе Ликсия! Да благословит тебя бог, сынок! Знаешь, я почти ничего не вижу. Ты вот мне, например, кажешься облаком.

— Что вы тут делаете, дядюшка Паскаль?

— Вереск собираю. А ты уж теперь, наверно, кончил учение, да? — почтительно спросил старик.

— Да нет еще. А на что вам вереск?

Старик застонал и судорожно закашлялся. Отвечал он с трудом, но в его голосе звучали смирение и страх.

— Вереск я отношу в Нуоро на продажу.

— Каждый день?

— Нет, что ты. Прежде, когда мне было лет двадцать — тридцать и когда сил у меня было много, тогда я ходил в город каждый день, а теперь...

И он махнул рукой куда-то вдаль, как будто именно там и остались те давно ушедшие годы.

— Сколько вам лет, дядюшка Паскаль?

— Восемьдесят... нет, шестьдесят девять... погоди... больше...

— Семьдесят девять?

— Вот-вот. Через год будет девяносто.

— Ну, неважно, — одним словом, к сотне вы ближе, чем к двадцати. Правда? И вы всегда были сборщиком вереска?

— Да. А скажи, это правда, что ты служил при дворе короля?

— Нет еще, дядя Паска, может, потом... А вы с кем живете? Вам, кажется, нездоровится?

— Да, я болен, очень болен, сынок. Проклятый кашель... Кажется, будто в груди и горле у меня ходит пила и все пилит, пилит... А ведь я знал твоего отца... Добрый был человек... Ох, опять этот кашель!

— Но почему вы не лечитесь, дядюшка Паскаль? — спросил Ликсия со смешанным чувством жалости и отвращения.

— Чем лечиться-то? Пробовал я носить образок святого Паскаля, пил отвар царской свечи и прикладывал припарки из льняного семени... Чего я только не пробовал! А правду сказать, знаешь, в чем моя болезнь? Это просто смерть моя подходит, вот что!

— Так с кем вы живете? — переспросил студент и, подпрыгнув, уселся на каменную ограду.

Старый сборщик вереска начинал серьезно интересоваться его. Ему казалось, что он говорит с мудрым и почтенным представителем какого-то незнакомого племени. А ведь сколько раз, еще до того как он уехал учиться, и позже, приезжая на каникулы, видел он этого старика и сотни и тысячи других представителей этого племени, к которому принадлежал и он сам.

— Сколько лет вы занимаетесь этим делом?

— Давно, очень давно, я же тебе говорил, — сказал старик, повторив тот же неопределенный жест, который выражал далекое прошлое. — Мне было десять лет,

когда я впервые пошел в Нуоро продавать вереск; и отец мой был сборщиком вереска, и сын тоже... С сыном моим случилось вот что: как-то пришлось ему проделывать далекий путь; шел он, шел и так устал, что еле передвигал ноги. И тут на каком-то пастбище, видит, пасется лошадь. Он накинул на нее аркан и продолжал свой путь верхом. Ну вот. А в дороге возьми и попадись ему два карабинера: они разыскивали какого-то бандита. «Ты украл эту лошадь?» — спросили они сына. Он сказал: «Нет». Но карабинерам, видать, не хотелось иметь дело с настоящим бандитом, и они вместо него схватили моего сына, связали и отвели в тюрьму.

— Лукавите вы что-то, дядюшка Паскаль! — заметил Ликсия. Но старик не слышал замечания студента, он закашлялся; глаза вылезли у него из орбит, борода покрылась красными нитями кровавой слюны. Когда приступ кашля прошел, он вернулся к прерванному рассказу. Высокий, прямой, с серпом в руке, старик казался символом смерти.

— Святой Франциск милосердный! Что за дьявольский кашель! Ну так вот... Сын мой умер в тюрьме, когда срок наказания уже подходил к концу. Вот и все. Он оставил мне двоих детей.

— Он был женат?

— Да. Но овдовел. Так вот, остался я с двумя детьми на руках — мальчиком и девочкой. Мальчик ушел с захожим слесарем, и я его больше не видал. А девочка, Мария Анника, нанялась служанкой в дом богача. Да ты его знаешь, это Марк Вирдис. Знаешь такого?

— Черт побери, да это мой дядя! Ну и что?

— Погоди, все расскажу. Так вот, девочка была настоящее золото. Моя единственная утеха, свет очей моих. Только очень легкомысленная. Родила она ребенка от хозяина. Ну, разве она не знала, что Марк Вирдис богач и не может на ней жениться? Помилуй нас, святой Франциск! Господь бог, наверно, простил ее, как и я.

— Где же она теперь? А-а, я, кажется, уже слышал эту историю. Она умерла, да?

— Да, умерла.

— А ребенок? С ним что случилось?

— Он со мной. Но такой непослушный! Сущий бесенок! Не хочет работать, не хочет мне помогать, ну,

ни о чем слышать не хочет! Что поделаешь! Самое большое мученье для меня — это думать, что станет с беднягой после моей смерти. Куда он денется, сирота?

— Дядюшка Паскаль, — сказал вдруг Ликсия, осененный внезапным вдохновением. — Не беспокойтесь, жизнь идет вперед. За морем, на материке, люди хотят, чтобы все были равными. Через двадцать, самое большее тридцать лет, а может, и раньше, не станет ни богачей, ни бедняков: все будут работать и жить, не зная нужды. Эти порядки дойдут и к нам в Сардинию. Не беспокойтесь о внуке: когда он состарится, ему не придется, как вам, таскаться по вересковым полям, рискуя тут умереть и сделаться добычей ворон.

Слушая эту речь, старик грустно качал головой и стонал, стараясь сдерживать новый приступ кашля, kloчущий в глубине груди.

— Потерпите, — продолжал Ликсия, все больше входя в роль пророка. — Времена изменятся. Во всем мире, и в Сардинии тоже, не будет больше бедняков, не будет преступников, завистников, мошенников, вроде моего родственника Вирдуса. И карабинеров тоже не будет, и старики, умирая, не будут тревожиться за судьбу своих внуков. Здесь, где сейчас растет вереск, на этих безрадостных полях, будут зеленеть виноградники, огороды, тучные пастбища...

— Погоди, — перебил его старик, — виноградники, сады, огороды будут принадлежать богачам, а у бедняков, выходит, ничего не останется, даже вереска. Ох, святой Франциск милосердный...

И он опять закашлялся.

Студент, сидевший на стене над его головой, развел руками и в отчаянии обратил глаза к небу.

— Они ничего не способны понять: нет, это просто не люди! — с пафосом воскликнул он.

— Ты мне дашь чего-нибудь? — спросил наконец старик.

Но Ликсия, верный своим принципам, отказал ему в милостыне.

А старик, чтобы утешиться, подумал: «Парень-то, видно, тронулся».

МОРОЗ

— Сейчас пойдет снег, — говорит молоденькая служанка, взглянув на помрачневшее небо. — Возьми хотя бы зонтик, Мауредду...

Зонтик? Молодой хозяин смеется. Таскать с собой зонтик ему кажется слабостью, даже трусостью.

— Вот увидишь, пойдет снег... И зачем ехать в такую непогоду? — твердит она, и голос ее звучит умоляюще и пылко. — Я сегодня не засну...

Мауредду опять смеется. Он готов смеяться по любому поводу беззаботным, детским смехом.

— Не заснешь? Сойдешь вниз, на кухню, — говорит он, кончая седлать коня.

Улыбается и она, чуть-чуть, и в улыбке столько грусти и неги.

— Но ведь тебя не будет рядом... — шепчет она.

— Что ж, заснешь в обнимку с циновкой. Поди скажи бабке, что я уезжаю... Нет, погоди минутку!

Он увлекает ее под навес и крепко обнимает. Она — высокая, выше него, красивая, румяная, у нее нос с горбинкой и круглые сияющие глаза. Она порывисто прижимается к юноше.

— Обещай, что не поедешь через мою деревню, — шепчет она. — Ты же знаешь, что брат мой хочет тебя убить.

— Он никогда меня и в глаза не видел... А впрочем... что он может мне сделать? — роняет юноша, и в голосе его слышится презрение, с которым обычно говорят о бедняках богатые сардинские крестьяне. — Подумаешь, какая-то козявка!

— Козьявка! Вот увидишь, как она тебя ужалит, эта козьявка! — вскрикивает девушка, отталкивая его. — Подойди только, и увидишь!

— Ну ладно, хватит! — резко прерывает ее юноша. Но тут же смягчается и, стараясь загладить неприятное впечатление, говорит деланно-простодушным тоном:

— Да разве я не женюсь на тебе?

— Когда? Когда паук соткет мне свадебную фату? Он смеется.

Мауро пришпоривает коня, круто поднимаясь вверх по обледенелой горной тропе. Небо низко нависает над головой. Мутно-белые тучи, тяжелые и холодные, как глыбы снега, проносятся на белом горизонте. Горы обдают друг друга бурными порывами ледяного ветра. Черные дубы вдоль дороги трясутся лихорадочной дрожью, и хлещут верхушками бегущие над ними низкие тучи, словно пытаясь отомстить непогоде.

А Мауро все думает о словах, которые сказала ему на прощание его безропотная юная подружка.

«Что и говорить, девушка она рассудительная; недаром она мне так по сердцу. Но мыслимо ли это дело? Богатый хозяин, единственный сын, единственный внук, владелец целой сотни овец и двух сотен свиней — и вдруг женится на служанке, на девчонке из чужой деревни... Парень из такой семьи...»

Хоть и был он влюблен, хоть и нравилась ему девушка, а все-таки не то что жениться, но даже думать об этом ему было смешно.

Вдруг ветер как-то сразу стихает и белые тучи исчезают, сливаясь с белым небом. Черные искривленные стволы дубов, как мрачные призраки, стоят по обеим сторонам дороги. Все вокруг оцепенело в напряженном молчании, в неподвижности ожидания. Ни птица не вскрикнет; ни листок не шелохнется.

«Вот здорово, кажется, я попался», — думает Мауро, нюхая воздух, и надевает капюшон. Хлопья снега, как крылья большой бабочки, задевают уши коня. Конь

встряхивает головой: мириады белоснежных крылышек вспорхнули в воздухе.

Вперед, вперед... На капюшоне у «богатого владельца целой сотни овец» вырастает маленький снежный холмик. Исчезла дорога, занесенная снегом. Дубы, черные и белые, окутанные облаком снежной пыли, кажутся переодетыми великанами, укрывшимися в засаде за скалами.

Вечереет, все кругом становится серо-лиловым, мороз крепчает; но молодой хозяин смеется.

— Мы с тобой еще и не то видали! — подбадривает он коня, который прыдет ушами и все медленнее поднимает копыта, оставляя на белом снегу черные следы подков. — Помнишь, Кумпанцедду, дружок, как мы в горах Ольены провалились в нурру?¹ А там, говорят, черти водятся... Черти черные, снег белый... Ну, шагай же, шагай, Кумпанцедду!

Кумпанцедду послушно трусит по дороге, но снег валит все гуще и гуще, и не видно уже просвета. На мгновение Мауро, несмотря на все свое молодечество, словно подпадает под власть злых чар: ему чудится, будто он обречен всю жизнь скакать на коне в чужом, неведомом краю, под нескончаемым снегопадом, среди жуткого безмолвия ледяной пустыни.

— Да ты, дьявол, никак, заснул? — спрашивает он сам себя, зевая. — Стыдись! Такой молодец, как ты? Ну, Кумпанцедду, вперед!

Но попытка приободриться ни к чему не приводит: мороз одолевает Мауро, навевает какую-то странную, пагубную дремоту. И тут ему приходит на ум: а что, если глотнуть разок из заветной фляжки? Он, хоть и непьющий, однако ж, никогда не позабудет, отправляясь в дорогу, захватить с собой эту фляжку, на случай если вдруг придется угостить попутчика или приятеля.

Морщась, он делает несколько глотков и, повеселев и приободрившись, с вызовом сплевывает в снег.

— Такой парень, как я, да чтоб спасовал перед морозом! Тьфу! Шагай, Кумпанцедду!

¹ Нурра — трещина, ущелье (*итал.*).

И Кумпанцедду, бедняга, все идет и идет, но только теперь его копыта оставляют на белом снегу уже не черные, а белые ямки. Исчезли горы, исчезли деревья, исчезла тропинка. Мауро как будто парит между белым небом и белой землей, в плотном, бесшумно мчащемся снежном облаке. Временами ему кажется, что перед ним вдали маячит беломраморная стена; смутное головокружение овладевает им, тошнота подступает к горлу.

— Неужто заблудился, дурак? А ведь такой молодец, такой кавалер, настоящий лев. Тьфу!

Но сон уже одолевает его, нахлынули смутные грезы, сладостные и в то же время жуткие. Ему снится, что он лежит в своей просторной кухне, на толстой тростниковой циновке. Однако он не в силах сдвинуться с места: ноги словно свинцом налиты. Молоденькая служанка ласкает его, но руки у нее холодны и ледяют ему лицо... В глубине кухни вырастает снежная стена.

«Видно, надо еще выпить!..»

Нагибаясь, чтоб достать из дорожной сумки фляжку, он замечает, что ноги у него совсем замело снегом.

«Так вот почему у меня такие тяжелые ноги. Как странно: кажется, я замерзаю. Это я-то? Стыдись, Мауреду Корриас! И тебе не совестно?»

Он пьет, отряхивает снег с ног и оглядывается. Уже наступила ночь: ночь белая, без света, без воздуха, без горизонта, одно сплошное снежное облако. Но стена, которую он все время видел перед собой, стала серой, а в центре ее засветился красный огонек. И на этот огонек прямехонько устремляется его конь, увязая по самые бабки в мягком, как пена, снегу.

Оказывается, это домик дорожного сторожа. Кумпанцедду останавливается перед светящимся окошком, и у Мауро не хватает духу пришпорить его.

«По мне, так ехать бы дальше, — заносчиво думает он. — Мне пришлось повидать на своем веку кое-что пострашнее, чем этот легкий снежок... Да вот горе, — бедняга Кумпанцедду выбился из сил».

Не слезая с коня, он колотит в дверь каблуком.

— Кто там? — пищит детский голосок.

Мауро ломится в дверь: такому молодцу, как он, должно открывать тотчас же, без всяких расспросов.

— Кто такой? — раздается женский голос.

Мауро стучит сильней.

— Кто же там, наконец? — гремит голос мужчины.

— Добрый человек! — отвечает путник.

Тотчас же дверь распахивается настежь, и он презрительно роняет:

— Вы что, боитесь — украдут ваше фамильное серебро?

— Эх, голубчик мой! — говорит сторожиха, красивая женщина с ребенком на руках, — нет у нас серебра, но когда мы спрашиваем: «Кто там?» — нам всегда отвечают учтиво. Что тебе нужно?

— Хочу переночевать. Сторожки принадлежат проедем!

Сторожиха, должно быть, понимает, что перед ней сынок богатого крестьянина, из тех, кто сам себя уважает и других заставляет относиться к себе с почтением. Поэтому она ему не перечит, а только спокойно замечает:

— Сторожки принадлежат королю и сторожам. Но если ты сойдешь с коня и не побрегаешь нашим скромным кровом, милости просим!

Мауро спешивается, привязывает коня и идет в кухню, притопывая ногами и стряхивая с плаща снег. Чуть тлеющий очаг слабо освещает холодную убогую сторожку. В углу сидит высокий широкоплечий мужчина, одетый по-городскому, в изрядно поношенный костюм, и Мауро сначала принимает его за хозяина.

— Здравствуйте, — говорит юноша, снова став приветливым и благожелательным. — Что за чертова погода на дворе! Кто знает, который час?

— Часов семь, — отвечает сторожиха, стоя у очага с ребенком на руках. — Муж уехал в Нуоро, а часы у него.

Мауро смотрит на мужчину, и его охватывает странное чувство: ему кажется, что он уже видел этого человека, но, где и когда, вспомнить не может.

— Это тоже проезжий, — растолковывает женщина, — да только не повезло ему, пожалуй, еще больше, чем тебе. Конь пал посреди дороги!

Мауро смеется, вынимает фляжку и протягивает ее мужчине.

Незнакомец пьет и, утерев рот рукой, возвращает фляжку Мауро.

— Да. Кто бы мог подумать? Конь у меня издох тут неподалеку.

— Что ж, по крайней мере, у воронов будет чем разговестись в эти снежные дни! — замечает Мауро, не веря ни на грош выдумке незнакомца. — Пей, хозяйшка! Не хочешь? Ну, тогда дай глотнуть малышу, ему это будет полезно, ей-богу, полезно. Пить надо приучаться с малых лет, а то, глядишь, вырастет из него такой же трезвенник, как я! Ну а ты, проезжий, выпьешь еще?

Тот не заставляет себя упрашивать.

Сторожиха уходит, и мужчины остаются на кухне одни.

Время от времени Мауро вынимает фляжку и предлагает незнакомцу выпить. Тот пьет, и глаза его, черные и круглые, посаженные совсем близко, почти рядом, у самого носа с горбинкой, разгораются все ярче. В очаге жарко пылает большое полено, которое Мауро, выйдя, подобрал на снегу.

Происходит что-то странное. По мере того как Мауро, который не пьет совсем, все больше расходится, болтает, хвастается, хохочет, словно заправский пьяница, его собеседник становится все молчаливей и угрюмей. По приглашению Мауро он подходит к очагу и усаживается прямо на полу, поджав ноги. И все-таки голова его в рваной мокрой шапке оказывается на уровне головы Мауро, сидящего на стуле, — такого он гигантского роста!

— Я еду в Боно, — говорит Мауро. — Хочу взять в аренду дубовый лесок, где было бы вдосталь желудей. Не пожалею и трехсот скудо, лишь бы хорошенько откормить своих свинок. В этом году у нас в Нуоро желуды совсем не уродились.

— Ты нуорезец? — спрашивает незнакомец. — Не знаешь ли ты, случаем, некоего Мауро Корриаса?

Какой-то внутренний голос подсказывает юноше скрыть истину, но он слишком тщеславен, чтобы послушаться его.

— Некогого?. Что значит «некогого»? Мауро Корриас — один-единственный, он — кавалер, он — лев, он —

это я! — гордо заявляет юноша. — А что, собственно, ты имеешь сказать Мауро Корриасу?

— Да нет, ничего особенного, просто так. Я слышал о тебе. Ты очень богат?

— Еще как! Сотни две свинок, сотня овец. Все меня уважают. Пей, добрый человек. А ты чем занимаешься?

— Я крестьянин, — отвечает тот и снова смотрит на огонь своими круглыми блестящими глазами.

А Мауро все больше расходится, хвастаясь богатством:

— А мои свинки? Это же загляденье, таких красавиц не найдешь во всем Нуоро! Весь остров обрышу, хоть из-под земли, а раздобуду хороший лесок. Есть у меня и своя роща в горах, которой еще не касался топор. Но сейчас там не найдешь ни одного желудя. Вот в прошлом году, ничего не скажешь, урожай был замечательный. Но зима выдалась теплая, и потому нынче ничего не уродилось. На будущий год, даст бог, дела пойдут лучше. Как ты думаешь?

— Бог даст! — равнодушно откликается тот.

Мауро смеется, видимо вспомнив что-то приятное.

— Однажды так же точно шел снег, и было еще очень холодно... Я хорошо помню тот день... Послушай, а у тебя в деревне есть девушки-красотки?

— Есть, черт бы побрал их самих и тех, кто произвел их на свет! — отвечает незнакомец.

— Чего ты ругаешься? Ты-то как раз уж должен приударять за девушками... Еще бы, такой здоровяк вымахал! Рассказал бы что-нибудь забавное... На-ка выпей!

Тот пьет и делает знак рукой: погоди, сейчас услышишь.

Маленькие хищные глазки деревенского богача загораются. Видно, он охотник до девушек и нет для него большего удовольствия, чем поболтать с приятелями о любовных похождениях.

— Так вот, — начинает наконец проезжий, — должен тебе сказать, что я состою на службе в одной очень богатой и очень большой семье, в которой почти сплошь одни женщины. Кроме, самой хозяйки, там есть три дочери и две служанки. А хозяин — паралитик...

— Ух ты! — восклицает Мауро. — Ну, теперь пойдет самое интересное...

И действительно, незнакомец начинает расписывать свои любовные приключения, рассказывая всякие небывалые: о том, как в доме, где он служит, все женщины вешаются ему на шею; вот в прошлую ночь сама старая госпожа, дама пышная и очень еще соблазнительная, бросилась ему в объятия, как пятнадцатилетняя девчонка...

Мауро слушает и хохочет. Он ни на грош не верит рассказам незнакомца, но слушать их доставляет ему истинное удовольствие. И, как бывает с молодыми людьми, он и сам принимается перебирать свои похождения, чуточку приукрашивая их, побуждаемый мальчишеским желанием представить свои любовные утехы еще более пылкими.

— В прошлом году попалась мне одна девчоночка, прехорошенькая, ну, настоящая красотка, высокая, полная, румяная, что твое яблочко! И, знаешь, уж очень как-то все странно получилось. Виной всему — мороз! Да, да, не смейся! Разве ты не замечал, что зимой нам девушки нравятся куда больше, чем летом? Конечно, я и летом не прочь... Но не в том дело... Ну вот, жил я тогда в горах; погода стояла теплая, свинки мои жирели не по дням, а по часам, и я не покидал их ни на минуту. Уж две недели я не был в деревне. И вот в одно прекрасное утро вижу: идут ко мне две женщины, одна — моя кормилица, а другая — какая-то незнакомая красотка, чужачка.

— Это новая служанка твоей бабки, — говорит кормилица. — Мы пришли собирать желуди. Помоги нам!

И я принялся помогать. Тем временем погода переменялась, небо сделалось белое как снег, подул ледяной ветер. Женщины стали жаловаться, что им холодно, и кормилица тотчас же забралась в шалаш погреться.

— Не смей трогать девушку! — наказала она мне.

— Да вздумай я ее хоть пальцем тронуть, она завизжит благим матом! — со смехом отвечал я.

Но как только мы остались одни, я подошел к ней и спрашиваю:

— А что, в самом деле закричишь?

А она как припустится от меня, я — вдогонку.

Ветер треплет нас, как два сорванных листка. Я смеюсь и кричу:

— Не бойся, чертенок, хочу всего-навсего поцеловать тебя разок!

Но, вместо того чтобы завернуть в шалаш, девушка мчится все дальше, а я — следом.

— Дурочка, ты же заблудишься! И не беги так. Быстро, ведь сорвешься вниз. Стой, погоди, чертовка! Поцелуй, один-единственный!

Она остановилась; подхожу я и вижу: она вся трясется — не то от холода, не то от страха.

— Оставь, — умоляет, — я только бедная служанка, не трогай меня!

— Не бойся, — говорю я и беру ее окоченевшие руки в свои. — Сейчас я тебя отогрею. Я ведь не злодей какой-нибудь, а благородный человек. Если поцелуешь — каяться не будешь. А сейчас зайдём в шалаш, согреешься.

Обнимаю ее за талию, но не в шалаш веду, а увлекаю все дальше и дальше в сторонку, куда-нибудь в такое место, где кормилице нас не найти. Дует бешеный ветер; снег валит хлопьями. Девчонка трясется от холода; пытается ускользнуть, но я держу ее крепко и нашептываю на ушко всякие нежности:

— Почему это хозяин не может жениться на своей служанке? Вздор! Женюсь на тебе. Я — единственный сын и делаю то, что хочу.

И подталкиваю ее все дальше и дальше, к старому нашему шалашу, приютившемуся подле самой пещеры.

— Холодно, холодно, — твердит она. — Это не твой шалаш! Здесь нет огня.

— Огонь здесь, на моих губах. На вот, чувствуешь?

Я поцеловал ее, и она не закричала. Так она стала моей.

— А кормилица? — спрашивает незнакомец.

— Кормилица? Я подарил ей молочного поросеночка, и... все шито-крыто! Да что она, собственно, могла рассказать? — отвечает Мауро и смеется.

Незнакомец все не сводит с огня своих круглых, широко раскрытых глаз; несколько минут он хранит молчание, и, когда Мауро перестает смеяться, в кухне воцаряется глубокая тишина.

На дворе все еще идет снег. Ни малейший шорох не нарушает бархатную тишь снежной ночи.

Внезапно Мауро слышит не то стон, не то приглушенный вопль, похожий на дикий рев раненого кабана. Он оборачивается к двери, и вдруг в глазах его темнеет, на него обрушивается какая-то страшная тяжесть. Только спустя мгновение он понимает, что происходит. Незнакомец вскочил на ноги и держит его сзади, сдавив ему плечи, словно клещами.

— Ах, вот как, значит, молочный поросенок! — рычит он, задыхаясь от бешенства. — Ну, подожди, сводня проклятая, придет и твой черед, ты поплатишься и за то молоко, которым вскормила своего хозяина. Вот как! Ты приводишь в горы бедных девушек... и оставляешь их одних... чтобы он мог всласть потешиться...

— Да что с тобой, проклятый? — кричит Мауро, изо всех сил ударяя противника головой в живот.

— Знаком тебе Себастьяно Лой? — спрашивает дедина, чуть отодвигаясь, но не выпуская несчастного из своих железных объятий.

Мауро поднимает на него растерянный взгляд. Ну да, конечно, теперь он понял! Те же круглые глаза, тот же нос с горбинкой... Его противник — брат молодой служанки!



ДЕДУШКА
1905



АЛЬПИЙСКАЯ ФИАЛКА

Как только фиалка раскрыла свои лепестки, она увидела картину, какую удастся увидеть не всякому, даже знаменитому поэту. Она увидела лунную ночь в горах. Тишина была настолько глубокой, что фиалка слышала, как с листьев дуба, укрывавшего ее своей тенью, падают на землю, словно просачиваясь сквозь чьи-то крохотные пальцы, капли воды.

Ночь выдалась ясная и холодная. Черно-белые горы напоминали огромного спящего горностаю. Их бледно-лиловый контур искрился и переливался на фоне синего неба. Горы были не очень высокие: лес покрывал их до самой вершины, а скалы, занесенные снегом, казались глыбами мрамора, из которых какой-то скульптор-великан пытался изваять причудливые фигуры.

Среди них возвышалась скала, похожая на огромного волка с задранной кверху мордой, а дымок, выходящий из расщелины, казался его дыханием, а это еще больше подчеркивало странное сходство.

Из своего укромного влажного уголка фиалка видела скалы, деревья, луну, синюю даль и силуэты других, еще более далеких гор. Луна спускалась прямо на эти горы. Вокруг стояла тишина, воздух был чист и свеж.

Необычайно ярко светили и переливались звезды: казалось, они глядят друг на друга, делясь радостью, недоступной обитателям земли. Фиалка ощущала в себе частицу этой радости: она трепетала на своем стебельке и не знала, отчего ей так хорошо. Она не знала, что это была радость, которая заставляет сверкать алмаз и блеснуть воду в роднике: радость чистоты.

И счастье ее длилось долго, гораздо дольше, чем радость многих счастливых людей: оно длилось целый час.

Но внезапно фиалка увидела странную вещь, еще более удивительную, чем белые скалы, черные деревья и мерцающие звезды. Она увидела движущуюся тень. Фиалка думала, что в мире все недвижно или едва колыхнется, а эта тень двигалась. И вслед за изумлением фиалка почувствовала страх. Тень приближалась. Вырастая все больше и больше, она громоздилась на фоне синего неба между черными стволами деревьев и наконец стала такой большой, что заслонила собою горы и достала до самой луны.

Это был человек.

Время от времени человек останавливался и наклонялся, будто что-то разыскивал под деревьями. Подойдя к дубу, он нагнулся и начал рыться в куче прелых листьев, покрывавших землю. И только теперь маленький цветок понял: человек искал фиалку и нашел ее.

Прожив на свете всего один час, фиалка была уверена, что она уже видела все самое прекрасное и самое ужасное на свете... и потому смирилась с мыслью о смерти.

Человек вырвал цветок из земли, оставив на клубнях немного питавшей их почвы. И тут фиалка поняла, что черная тень это еще не смерть. Ей даже показалось, что жизнь ее сделалась ярче и светлее, хотя и перестала быть такой счастливой, как раньше.

Со всем своим семейством — листьями и еще не распустившимися сестричками — фиалка очутилась наверху, откуда лучше были видны небо и звезды. Покинув родной дуб, она отправилась в путь по горным тропинкам. Ей казалось, что она обладает могучей силой, позволяющей ей двигаться наравне с человеком, который нес ее в своей теплой ладони. И она ощутила живую признательность к тому, кто доставил ей такую радость.

Они подошли к подножью скалы, похожей на волка, и человек, согнувшись, проник в пещеру, которая и

впрямь напоминала волчье чрево. Мрачная, грязная, темная, она была полна дыма. Положив фиалку на выступ скалы, человек нагнулся, чтобы разжечь огонь. И тут цветок, уже совсем было отчаявшийся, увидел еще одну удивительную вещь. Он увидел, как черный ствол дуба обернулся огнем и из его веток стали вырываться языки пламени, похожие на большие золотые листья, трепетавшие от горячего ветра.

Человек растянулся у огня, и цветок увидел, как он уснул, а затем услышал, как он разговаривает во сне. Голос человека был для цветка новым откровением. Вдруг снаружи раздался свист, залаяла собака, и спящий поднял голову.

В пещеру вошел еще один человек: это был стройный юноша в одежде из красного сукна и черной кожи: в его загорелом лице с голубыми глазами и рыжеватой бородкой сквозило что-то кроткое и в то же время дикое.

— Слушай, приятель, — сразу заговорил он. — Думаю, что сегодня ночью мы сцапаем этого лиса.

Старик вопросительно посмотрел на него.

— Я видел следы, — объяснил юноша.

Потом они замолчали, старик поднялся. Оба долго прислушивались. Время шло, а тишина снаружи оставалась все такой же напряженной и глубокой. На минуту в отверстие пещеры заглянула луна, похожая на бледное лицо с любопытными серыми глазами. Потом луна исчезла, и снаружи снова воцарились белые сумерки снежной ночи.

— Нет, сегодня он уже не явится, — сказал старик. — Мне надо идти! Как здоровье маленькой хозяйки?

— Плохо! Верно, умрет этой ночью.

— Что ж ты мне сразу не сказал? Надо идти! Я должен отнести ей цветок.

— Какой цветок?

— Альпийскую фиалку. Вчера в бреду она только о ней и говорила. Ей казалось, что она вышивает облачение и для узора ей нужен этот цветок. Вот я и хочу ее порадовать. Пойду.

— Ах, так, значит, облачение! — криво усмехнулся юноша. — Слышите? — прошептал он вдруг, поднимая голову.

Где-то залаяла собака, издалека ей вторила другая. Пастухи выскочили из пещеры: послышался свист, брань, крики еще более хриплые и яростные, чем собачий лай. Пламя костра перестало дрожать, словно прислушиваясь к шуму, фиалка боязливо жалась к своим уснувшим сестричкам.

Наконец оба пастуха снова появились у входа в пещеру, они тащили волоком упирившегося паренька с бледным лицом и густой гривой черных взъерошенных волос. Он отчаянно сопротивлялся, стараясь разорвать опутавшие его кожаные ремни. Все трое молчали, и только тяжелое свистящее дыхание выдавало их ярость. Это была прекрасная и в то же время страшная картина, воскресившая жизнь пещерных людей и их борьбу за существование.

Пленника перенесли в глубь пещеры и крепко связали волосяными веревками и ремнем, концы которого придавили тяжелым камнем. Паренек перестал сопротивляться: склонив взлохмаченную голову на каменный пол пещеры, он закрыл глаза. Казалось, он умер.

— Не раз тебе это сходило с рук, — дрожа от ярости, сказал старик. — Но теперь тебе больше не удастся таскать овец из моего стада! А сейчас я пойду за полицией.

Быстро надев на плечи кожаную сумку, которая торчала на его спине словно горб, он вышел, кипя от возмущения.

Как только он исчез из виду, пленник открыл глаза и, прислушиваясь, поднял голову. Шаги старика уже затихли. Юноша с рыжеватой бородкой сидел у огня. Он был чем-то очень расстроен.

Пленник посмотрел на него и сказал всего одно слово:

— Помнишь?

Тот молчал, не двигаясь с места. Вор снова повторил:

— Помнишь? Помнишь, как-то в лунную Иванову ночь двое мальчишек из разных деревень пасли стадо. Они любили друг друга, как братья. Старший сказал: «Давай станем побратимами?» И они поклялись, что всю жизнь, до самой смерти, будут друг другу братьями, и особенно в беде. Потом они выросли, и их

пути разошлись. Однажды старший пошел воровать, его поймали и отдали под надзор младшему, который как раз оказался в овчарне. И стоило пойманному сказать: «Помнишь?» — как другой, не задумываясь о грозивших ему бедах, развязал путы и выпустил его на свободу. Помнишь?

— Это другое дело, брат! — ответил пастух, избегая взгляда пленника. — Ведь ты никогда не был слугой, как я! А с хозяином приходится считаться больше, чем с побратимом.

— Брат важнее хозяина, а побратим — тот же брат.

Второй не ответил. Казалось, что он дремлет, сидя возле огня.

— Каждый из нас может сбиться с пути, — сказал вор. — Один поступает так, другой этак... У каждого своя судьба. И твой хозяин не без греха. Другого такого гордеца нет на свете! Это он вгоняет в гроб свою дочь, вашу маленькую хозяйку. Впрочем, а сама она разве не виновата? Ведь недаром все говорят, что она умирает от любви к священнику! Нет? Вы говорите, нет? Вы говорите, что парень подался в священники с горя, оттого что ему не отдали девушку в жены? Пусть будет так, но тогда ей надо разлюбить его, а она теперь умирает...

— Так вот при чем тут облачение... цветок! — промолвил вдруг пастух. Он встал, развязал пленника, тот, даже не поблагодарив, вскочил и бросился наутек.

Оставшись один, пастух схватил кустик фиалки и выбежал из пещеры. Перепрыгивая со скалы на скалу, он спускался по тропинке, призывая старика по имени, пока не услышал вдали его голос. Голоса все сближались и сближались, перекликаясь в ночной тишине.

— Вы забыли цветок!

— Как! Ты оставил этого дьявола одного? Давай цветок и быстрее беги обратно...

— Я думал, что маленькая хозяйка...

— Сейчас же ступай обратно!

Фиалка перешла в ладонь старика и почувствовала себя так хорошо, будто очутилась в большом и теплом горшке. Старик быстро и уверенно спускался по тропинке, освещенной сумеречным отблеском снега.

Наконец он добрался до подножья горы, и фиалка увидела место еще более унылое и темное, чем пещера. Это была деревня, здесь жили люди.

Старик постучал в какую-то дверь, и ему открыла бледная женщина в черно-желтом платье.

— Как себя чувствует маленькая хозяйка? Я принес ей цветок: она хотела срисовать его для вышивания.

Женщина пронзительно вскрикнула и стала рвать на себе волосы.

— Маленькая хозяйка умерла!

Не сказав ни слова, мужчина вошел в просторную кухню и положил цветок на скамью, где обычно сидела маленькая хозяйка, занятая шитьем или вышиванием. Из соседней комнаты доносился женский плач, напоминавший старинные причитания плакальщиц.

Старик ушел. Потянулись долгие часы. Огонь в очаге уже погас, когда на скамью присел человек в бархатной одежде. Он долго сидел неподвижно, молча, без слез.

Затем пришел работник с рыжеватой бородой и стал вполголоса рассказывать ему историю с вором и фиалкой.

— Пока я догонял старика, вор ухитрился развязать веревки и сбежал. Целую ночь я бегал по горам, искал его — и все напрасно. А теперь старик говорит, что во всем виноват я и что вы, хозяин, меня прогоните.

Человек в бархате никак не мог понять, при чем тут фиалка.

— Вышивка? Облачение? Для кого?

Лицо работника из бледного стало красным. Он еще больше понизил голос.

— Говорят... что облачение было для первой мессы отца Паулу...

Легкий румянец окрасил мертвенное лицо хозяина. Он посмотрел на цветок, потом сурово сказал работнику:

— Ступай в овчарню!

Тот вышел, пробормотав:

— Да пошлет вам бог счастья...

Но человек в бархате, казалось, не слышал этого пожелания. Оставшись один, он схватил цветок и яростно сжал зубы. И фиалка поняла, что настал ее

последний час. Но человек вдруг раскрыл ладонь, взглянул на смятые листья, на поникшие лепестки и заплакал. Вот так, уже перед самой смертью, фиалка, видевшая столько прекрасного и ужасного, снова испытала такое же живое изумление, трепет и волнение, как и тогда, когда она только что распустилась. Ей казалось, что она снова видит звезды, что она снова в горах и что в руках этого человека она вновь чиста и счастлива, как на лоне матери-природы.

И все это потому, что на ее лепестки упала слеза гордого человека.

ЗАЙЧИХА

Посреди островка, выступавшего в русле широкой реки, сверкало маленькое серебряное озеро, вернее пруд, окруженный зелеными тополями, ивами, кустами дикой акации и бархатистой сочной травой, усыпанной какими-то странными, лиловыми, похожими на подсолнухи цветами. Волшебный пейзаж, отраженный в зеркале пруда, казался еще прекраснее, словно картина кисти талантливого художника.

Днем в переменчивом осеннем небе плыли над островом причудливые облака, ночью над ним вставала огромная розовая луна, зажигались яркие звезды, и по зеркальной глади бездонного озера струились зыбкие отражения тополей. Все это придавало острову сказочный вид.

Однажды вечером на острове появился охотник. Вытащив лодку на илистый берег, он прошел в глубь острова, оставляя на его девственном песке следы ног первобытного человека. Между тополями охотник увидел большую розовую луну, а потом, увидав ее в воде — еще более прекрасную, — он замер, устремив взгляд на блестящую водную гладь, зачарованный этим неведомым миром и далеким таинственным небом, опрокинутым в озеро. Темный силуэт человека увидела зайчиха, жившая в прибрежных зарослях акации. Легко и бесшумно понеслась она прочь, расплываясь во всю длину и прижимая уши, жесткие и прямые, как клинки, готовые к бою.

Задумавшись, охотник ничего не заметил, и это спасло зайчиху. Пробравшись в самую чащу леса, она забилась в густой темный кустарник и долго прислушивалась, вытягивая и пряча дрожащую мордочку. У нее

сильно стучало сердце, так сильно оно не билось уже давно.

После недавних паводков, когда с острова исчезли последние зайцы, перебитые охотниками, рыбаками и унесенные разлившейся рекой, зайчиха стала считать себя единственной хозяйкой острова и надеялась провести здесь в тишине и покое остаток своих дней. Она была старой, усталой и одинокой. Дети покинули ее, а зайцев она уже больше не привлекала. И тем дороже был ей этот укромный уголок, где можно было жить, не ведая ни страха, ни опасностей.

Весной, во время разлива, зайчиха жила среди стволов, нагроможденных потоком на высоком берегу пруда. В это время остров превращался в трясину, бродить по которой не решался ни один охотник. Но паводок кончился, песок снова высох и затвердел, берег пруда опять зарос травой, а охотники и рыболовы почему-то не появлялись на острове.

Там было тихо и пустынно. Только соловьи с вершин тополей вторили своим пением шелесту листьев, славших привет речному потоку. Купаясь в лунном свете, листья шептали:

— Прощай, вода, лучше бежать, чем стоять на месте.

А вода, стремившаяся к морю, отвечала:

— Прощайте, листья, лучше стоять на месте, чем все время бежать и бежать.

Старая зайчиха слушала их и чувствовала себя счастливой: она была сильнее тополей и проворней воды, потому что могла и бегать и стоять, сколько ей заблагорассудится.

Время шло, смолкли соловьи, и с тополей начали падать листья. Старая зайчиха не чувствовала себя еще никогда так спокойно и уверенно. И вдруг снова появился этот черный ужасный призрак. Что ему здесь надо?

Зайчиха затаилась в кустах, и из-под красноватых век стеклянно поблескивали ее широко раскрытые глаза. Она смотрела на небольшую песчаную прогалину, освещенную луной. Это была та самая полянка, где в счастливые дни юности она прыгала и гонялась за своей тенью, поджидая лунными ночами своего возлюбленного.

Вдруг на поляне мелькнула тень, за ней — другая. Зайчихе показалось, что она грезит наяву. Но тени по-

явились снова, на мгновение замерли и потом опять начали свой фантастический бег. Сомнений не оставалось: это была пара зайцев. И тогда старая отшельница поняла, почему черный враг — ночной охотник — снова появился на острове.

И вдруг дикая ярость, насколько может быть дикой ярость зайчихи, всколыхнула ее сердце. Значит, она ошиблась, считая себя единственной хозяйкой острова. Но вместо того чтобы примириться с этой ошибкой, зайчиха рассвирепела, негодуя на сородичей за то, что они захватили ее владения. Что же вы хотите? Ведь она была зайчихой, которая, как почти всякое разумное существо, могла и ошибаться и злиться.

Старость и одиночество сделали ее дикой и себялюбивой. Появление зайцев огорчило ее больше, чем приход черного человека, а когда она, выйдя из своего укрытия и приблизившись к песчаной прогалине, увидела, что это была пара влюбленных, боль стала еще острее, а злоба неистовее.

Это не помешало зайцам по-прежнему бегать, скакать и резвиться. Жирная самочка с полупрозрачными ушами, розовыми внутри и белыми снаружи, кокетливо играла со своим возлюбленным: делая вид, что не замечает его, она бегала, растягивалась на песке, а когда он к ней приближался, вскакивала и удирала. Заяц был худ и изнурен страстью и желанием, он не замечал ничего, кроме зайчихи, неотступно преследовал и наступал на нее. Они были веселы и беззаботны, как все счастливые влюбленные на свете.

Старая зайчиха смотрела на них не отрываясь, и даже когда прелестная парочка, вдоволь напрыгавшись и наигравшись, исчезла с полянки, она осталась на своем наблюдательном посту. Сжавшись в комок, она насторожила длинные уши, дрожавшие под ветром, как сухие листья.

Прошло несколько дней. Луна теперь поднималась не очень высоко над горизонтом, и вечера стали совсем темными.

Старая зайчиха не вернулась на берег пруда, потому что боялась охотника. Она затаилась в густых зарослях

и лишь изредка, по ночам, приходила к полянке, на которой весело резвились влюбленные.

Но однажды она услышала выстрел, за ним второй, вслед за ними прозвучали вдали другие — неясные, смутные, как бы повторенные эхом.

И в ту ночь, хотя это была тихая теплая ночь, словно созданная для влюбленных, и молодой месяц сиял сквозь голые ветви тополей, влюбленная пара так и не появилась.

Их, должно быть, убил черный человек. Старая зайчиха ощутила такую жестокую радость, что принялась скакать по песку, еще хранившему следы бедных влюбленных.

Но шум шагов человека заставил ее удрать. Ничего не видя перед собой, задыхаясь, она бежала и бежала по лесу, пока не пересекла весь остров и не добралась до противоположного берега, где прежде никогда не бывала. До самой зари она просидела в укрытии.

На заре она снова двинулась в путь. Туман окутывал землю, и с кустов падали крупные капли ледяной воды. Обследовав лес, зайчиха спустилась на дно небольшой ложбинки и тут обнаружила нечто такое, что растрогало даже ее черствую душу: она нашла заячий выводок. В нем было два толстеньких зайчонка с прозрачными ушами и блестящими, неподвижными глазками. Видно, их оставила супружеская пара, убитая охотником.

Один из зайчат лизал уши и голову своего братца. Увидев зайчиху, он вытянул мордочку, но тут же испуганно отпрянул назад.

Зайчиха прошла мимо, потом вернулась и снова взглянула на игравших и лизавших друг друга бедных зайчат.

День выдался холодный, печальный, к вечеру пошел дождь, и зайчиха вернулась в свое старое логово между стволами деревьев на высоком берегу пруда. А дождь все лил и лил. Но старую зайчиху это не огорчало: ведь дождь означал конец хорошей погоды и нес с собой одиночество и безопасность. Песок на острове скоро размокнет, и ни один охотник не осмелится больше бродить по голому затопленному лесу.

А что станет с бедными зайчатами, забившимися на дно маленькой ложбинки? Вспомнила ли старая отшель-

ница о своих детях, о теплом гнездышке, о радостях материнства? Трудно сказать. Но под утро она вышла из своего убежища и отправилась взглянуть на зайчат. Бедняжки спали, тесно прижавшись друг к другу, но и во сне они, должно быть, ждали мать, потому что при приближении старой зайчихи вытянули мордочки и зашевелили ушами.

А она смотрела на них большими влажными глазами и тоже вытягивала морду, словно принюхивалась к запаху теплого гнезда.

Снова пошли дожди. Восемь дней и восемь ночей остров окутывало серое покрывало дождя и тумана. Пруд, казалось, наполнился серебристо-черными чернилами, а вода все поднималась, поднималась и добралась наконец почти до самого убежища зайчихи. Она попыталась было снова вернуться к гнездышку зайчат, но песок вокруг ее логова раскис, и до маленькой ложбинки невозможно было добраться. А дождь все лил и лил, и издали доносился ужасный гул: казалось, что надвигается вражеское войско, все громя и круша на своем пути.

Старая зайчиха хорошо знала этот шум: то был злобный рев победившей реки. Поэтому она мерзла и голодала, питаясь одними сухими листьями, но не смела высунуть носа из своего укрытия: вода поднялась уже до самых стволов, и всякое движение грозило ей гибелью.

Река наступала мутным, тяжелым, бесшумным потоком. Все вокруг стало водой: и небо, и земля, и воздух.

На восьмой день к вечеру дождь перестал, и облака поредели. Кое-где сквозь пепельный туман проглянуло зеленоватое небо, а в просвете между туч, как со дна шахты, блеснуло позолоченное серебро лунного диска.

Вода спала. Казалось, она устала от разбоя и теперь отступала, увлекая за собой богатые трофеи: листья, ветви, песок и тела мертвых зверьков.

На другой день опустошенный остров осветило солнце, и зайчиха, промокшая и голодная, вышла из

убежища, чтобы отогреться и взглянуть на свои владения.

Пруд исчез: медленный грязный поток омывал высокий берег, стоявший как плотина, а мимо него воды реки несли свою добычу.

И вот среди голых ветвей и сухих листьев, среди множества водяных пузырьков, сверкавших, как жемчужины рассыпавшегося ожерелья, зайчиха увидела двух мертвых зайчат. Длинные, худые, с выпученными глазами и вытянутыми ушами, они плыли и плыли по течению, не отставая один от другого, как и положено любящим братьям, не захотевшим расстаться даже после смерти.

Вот теперь-то старая зайчиха действительно осталась одна на всем острове.

УДАРЫ ТОПОРА

Ветер раскачивает ружья и пороховницы старого пастуха, свисающие с огромного каменного дуба. Можно подумать, что это не Монте Альбу, а леса древней Галлии, а дуб — священное дерево друидов, украшенное магическим оружием. Да и старик, который, прильнув к корням дуба, вырезает на роговой табакерке причудливый узор, выглядит как настоящий жрец: у него раскосые глаза, широкий лоб, изборожденный темными морщинами, большой орлиный нос и рыжая с проседью борода, концы которой у самого пояса закручиваются в два больших завитка.

Стада отдыхают в тени утесов, на которых высятся могучие дубы, сотрясающиеся от порывов ветра. Из чащи то и дело доносятся удары топоров, их подхватывает эхо, и кажется, что от них гудит и содрогается весь лес.

Артели дровосеков валят там тысячетлетние деревья, с каждым днем все дальше продвигаясь в глубь леса, все ближе подбираясь к увешанному оружием дубу, под которым устроил свое жилище старый пастух. И древний могучий дуб, устоявший под ударами молний и не раз укрывавший разбойников от яростной бури, и старый пастух, над которым годы пронесли, не вырвав ни единого волоска из седеющей бороды, ни одного зуба из сильных волчьих челюстей, — оба они ждут теперь нашествия захватчиков и разрушителей, чьи топоры оказались сильнее молний и времени. Они ждут их с тем же стоическим равнодушием, с каким ждут смерть. С каждым днем, с каждым часом удары топоров раздаются все громче, все ближе, а между тем весен-

няя земля, как всегда, одевается в золотистый цветной наряд, а июньский ветер становится все теплее и ароматнее. Никогда еще лес не был так красив, никогда еще он не цвел так пышно. Может, он чувствует, что настала его последняя весна, и хочет забыться в опьяняющем аромате и не думать о надвигающейся смерти.

Кажется, что молодые дубы забрались на скалы, надеясь укрыться от гибели. Когда над их вершинами пронесется ветер, деревья тревожно вздрагивают, а когда на землю опускается синий вечер и луна жемчужиной скатывается на пурпурный бархат горизонта, дубы роняют сухие листья, и кажется, что они плачут.

Дядюшка Косма вырезает на табакерке рисунок, изображающий два героических эпизода своей юности. Оба события для него одинаково значительны, воспоминание о них он пронес через всю жизнь; даже сейчас они продолжают волновать его, как смутный напев военного марша. На одной стороне табакерки изображен человек, повергающий наземь другого, а на оборотной — тот же человек поражает кинжалом свирепого вепря. Для дядюшки Косма оба эти события, героем которых был он сам, одинаково важны, и старый дуб взирает на работу художника с тем же торжественным равнодушием, с каким он присутствовал при свершении подвигов, запечатленных на роговой табакерке.

Но трагическое одиночество старого пастуха вдруг нарушается, из чащи на поляну выходит молодой швейцарец-углежог. Он высок и строен, на его лице, перемазанном сажей, играет наивная детская улыбка. Он насвистывает арию из «Травиаты» и еще издали показывает старику черную бутылку.

Дядюшка Косма поднимает голову, окидывает юношу презрительным взглядом и, погрозив ему пальцем, говорит: «Нет!»

Но юноша продолжает идти.

— Я же сказал, не-е-т! — кричит старик. — Молока ты у меня не получишь, ей-богу, не получишь. Хочешь пить, попей керосину с порохом! И убирайся к дьяволу вместе с теми, кто тебя привел сюда!

Юноша не понимает ни слова: пастух объясняется на грубом диалекте. Улыбаясь и продолжая показывать бутылку, он усаживается рядом со стариком.

— Молока бы? — произносит он гортанным голосом.

— А пулю не хочешь? Эх ты, падаль! Разве ты мужчина? — говорит дядюшка Косма с царственным презрением. — У тебя голубые глаза, а руки и ноги маленькие, как у бабы. Взгляни-ка на эту табакерку: она из рога. Знаешь, что такое рог? Рога! Ты женат?

— Что?

— Как тебя зовут?

— Что?

— Ничего не понимает! — смеясь, восклицает дядюшка Косма. — Разве это люди? Жена, жена, говорю, у тебя есть?

— Нет, — отвечает юноша, улыбаясь ясными блестящими глазами. — А дочери у вас есть?

— Есть, да не про твою честь. Если хочешь, они сплетут тебе веревку для удавки.

— Что? Папаша Косма, а я знаю ваших дочек! Я их видел, когда они танцевали на площади возле церкви. В воскресенье.

Теперь закричал старик:

— Что? Что? Что ты знаешь, подонок, подлые твои глаза, роконосец несчастный! Если ты еще хоть раз посмеешь назвать меня папашей Косма, я тебя изобью, ей-богу, изобью!

Но юноша продолжает улыбаться, постукивая пальцами по бутылке. Слышно, как в чаще леса печально стонет ветер, удары топоров раздаются все ближе.

— Тьфу! Эти дьяволы все ближе и ближе! — говорит дядюшка Косма. — Послушай, вы что, все тут порубите?

— Что?

— Вы все здесь порубите? Вот так. — И он жестом показывает, как рубят деревья.

— Все.

— И дуб этот тоже? — спрашивает старик, дотрагиваясь до ствола.

— Да!

— Убирайся вон! — взрывается вдруг дядюшка Косма. — Проваливай отсюда, подлая твоя душа! Убирайся, не то я тебя убью, раздавлю, как мокрицу!

— Что? — Юноша больше не смеется, он вскакивает на ноги, не на шутку напуганный дикими воплями старика.

— Боишься? — кричит дядюшка Косма. — Боишься взглянуть мне в глаза? Ах ты, сопляк, ах ты, дрянь паршивая, меня, старого ястреба, ты хочешь согнать с насиженного гнезда! Да я тебе глаза вырву! Убирайся! Чего стоишь? Видишь, что вырезано на этой табакерке?

— Что?

— Я вот тебе покажу «что»!

Дядюшка Косма встает, подходит к юноше и сует ему под нос табакерку.

— Видишь? — говорит он. — Этого человека я убил. Понимаешь?

— Да, — кивает юноша, не сводя с табакерки добрых испуганных глаз.

— Так вот, я загубил эту христианскую душу, загублю и тебя, и твоих друзей, как только вы сунетесь сюда рубить лес. Понял? Так им и передай. И убирайся отсюда немедленно, сию же минуту, иначе плохо будет!

Юноша все прекрасно понял. Опустив голову и улыбаясь, он медленно идет к лесу. Он думает о хорошеньких дочках старика, одна из которых, белая и тонкая, как лилия, улыбнулась ему вчера большими черными глазами.

«Я бы на ней женился, — думает он, — да старик смотрит волком. А все-таки он славный! Кто его знает, чем еще все кончится».

— Папаша Косма! — кричит он, обернувшись. — Привет вашей дочке!

— Ну погоди, козел рогатый, погоди! — Старик, словно кошка, вскакивает на ноги и срывает с дерева ружье. Юноша, смеясь, как ребенок, удирает в лес.

— И пороку тратить не стоит! — говорит дядюшка Косма, презрительно покачивая головой. — Разве это люди! Теперь небось побоятся ко мне лезть!

И он снова принимается за табакерку. А в ударах топоров, эхо которых разносится по всему лесу, слышится:

— А мы все рубим, рубим и рубим!

СВЕТОТЕНЬ

1912



ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

Уже три дня шквальный юго-западный ветер гнал разъяренное море на оголенную землю. Небольшая бухта, на берегу которой теснилось несколько хижин, была, как всегда, пустынна. Лишь рев ветра и грохот прибоя сотрясали воздух. И все-таки любовники продолжали встречаться на скалистом морском берегу.

Первым появился мужчина. Вытянув вперед руки, осторожно нащупывая дорогу, он спустился вниз и бросился на темный песок, где сгущались ночные тени.

Справа от него горизонт замыкали свинцовые громады гор. Тяжелые темные тучи быстро неслись над ними. Молодой месяц золотил своими лучами этот лиловатый каменный хаос, который крутой грядой спускался к морю, переходя слева в длинную цепочку скал. Скалы пожирала вздыбившиеся волны и изрыгали их, как насытившиеся чудовища.

Мужчина взглянул в сторону безмолвных хижин, и сквозь шум ветра и моря ему послышался чей-то стон. Может, это стонал какой-нибудь больной? Ведь в этих хижинах жили больные крестьяне, которые на повозках или верхом на неприхотливых лошаденках приезжали сюда из дальних мест, надеясь обрести исцеление, купаясь в море. А может, это стонал, страдая от непогоды, ее муж, чье немощное тело покрыто отвратительными ранами, похожими на язвы прокаженного? Потому, наверно, она и запаздывала.

Но мужчину тревожило не это: рано или поздно она все равно придет. Он думал не о ней, а о другой, о той, которую он не ждал, о той, которая не придет никогда,

хотя она рядом, всего в двух шагах, ближе, чем его любовница.

Он лег ничком, закрыв лицо руками, и соленый песок заскрипел у него на зубах. И снова, когда рокот моря и тревожное биение его сердца слились воедино, в гуле, сотрясающем все вокруг, ему опять почудился чей-то стон, будто идущий из самых недр земли.

Мужчина вскочил, прислушался. Но лишь вой ветра да грохот моря донеслись до него.

В пепельно-черных облаках медленно плыла луна — то красная, как открытая рана, то голубая, как глаза ребенка. Порой она совсем исчезала за тяжелыми тучами, а потом снова вспыхивала ярким светом. Казалось, что она старается ускользнуть от бушующей бездны, а волны набрасывались на нее со страстью и гневом и в бессилии откатывались назад, исходя слезами, истекая кровью.

Мужчина снова опустился на песок и опять услышал стон. Тогда он вскочил и пошел на звук. В нескольких шагах от него на песке сидела женщина, ветер безжалостно трепал шарф на ее голове. Обхватив руками колени, она неотрывно смотрела на море. Мужчина узнал ее и внезапно почувствовал, что эта ночь решит его судьбу.

Он прилег на песок рядом с женщиной, и ему почудилось, что все вокруг — и море и небо — несется на черных крыльях шарфа, развевающегося вокруг ее головы. Ее резко очерченный нос, пухлые губы четко вырисовывались на фоне иссиня-черной ночи, напоминая чеканный профиль на бронзовой медали.

— Как поживает твой зять? — спросил мужчина.

— Ты, вероятно, знаешь это лучше меня.

— Лучше тебя? Почему?

— Да потому, что ты с моей сестрой ладишь куда лучше, чем я.

Ветер срывал с ее губ горькие, полные упрека слова. Мужчина придвинулся к ней еще ближе, почти касаясь головой ног женщины, и взглянул на нее снизу вверх.

— Что случилось, Агата? Почему ты сегодня такая странная? И что ты делаешь здесь одна? Ведь ты не

раз говорила мне, что боишься мужа. Так в чем же дело? Где он сейчас?

— Какой ты любопытный, Диего! Он здесь, и сегодня вечером опять грозился меня убить, если снова застанет нас вместе. Только ты не бойся: он убьет меня, а не тебя.

Диего бросился перед ней на колени, задрожав от ярости. Ему казалось, что он погружается в соленый песок, а она топчет его ногами, чтобы закопать еще глубже.

— Агата! Что случилось? Я хочу знать. Я ведь слышал, ты плакала, а сейчас ты холодна, словно мраморная статуя. Но мое сердце угадывает все, понимаешь, все! Говори же, говори, Агата! Расскажи мне обо всем, иначе этой ночью произойдет что-то страшное.

— Но я же сказала, что ничего не случилось: так, пустяки. Просто мы с мужем чуточку повздорили: он собрался к моей сестре под предлогом, что зятю стало хуже, а я была против. Ты же знаешь, мы с сестрой в ссоре. Она ведь тебе обо всем рассказывает. Так вот, я и сказала мужу: «Ну что ж, ступай, ухаживай за больными, а меня оставь одну. Я попрошу Диего составить мне компанию». Видел бы ты, что с ним сталось, когда он это услышал! Почернел весь, как туча, и говорит: «Попробуй только! Увижу тебя с ним, убью на месте. А его не трону, пусть продолжает волочиться за замужними бабами».

Мужчина молча брал горстями песок и ссыпал его перед собой. Нет, тут дело не только в этом. Он чувствовал, что женщина лжет, и хотел знать правду. И он снова растянулся на песке, пытаясь успокоиться.

— Но почему ты ушла из дому и уселась здесь, на ветру? Да еще ночью, а ведь ты даже в погожие вечера не показываешься.

— Думала, что мне здесь полегчает. Разве не ясно?

— А если вернется муж и увидит нас вместе?

— Он убьет меня.

— И ты этого хочешь?

— Да, Диего, хочу. Для чего мне жить, когда меня никто не любит? Мы ведь с тобой были соседями, ты знаешь всю мою жизнь, с самого детства. Я была помолвлена с богатым человеком, но сестра отбила его

у меня. Ну, что же, счастья ей это не принесло. Он сгнил в ее руках, как перезрелый плод. А я вышла за мужчину, который меня не любил: он только помыкал мною, а любить не любил. Да ты, конечно, обо всем этом слышал от сестры. Ведь все вы здесь к ней шляетесь. Вы, мужчины, как пьяницы, которые не могут жить без вина.

— Замолчи, Агата. Да, мы ходим к твоей сестре, ведь она на тебя похожа. Знаешь, часто пьют плохое вино, когда под рукой нет хорошего.

— Уж лучше помолчи! Я ведь знаю, так говорят все мужчины, да только не все женщины им верят.

Диего тяжело вздохнул, зарывшись снова в песок возле нее.

— Агата, если б ты только захотела. Если б ты не была такой каменной! Я для тебя... не знаю, что сделал бы! Такого еще свет не видывал!

Агата поднялась с земли и прислушалась. Платье ее вздулось от ветра, как парус, и Диего казалось, что она вот-вот оторвется от земли и полетит, подхваченная бурным вихрем. Он понимал, что если не возьмет ее сейчас, он уже никогда не будет обладать ею, и все-таки не посмел прикоснуться к ней. Женщина снова присела на песок.

— Я думала, это он.

— Так ты все-таки боишься?

— Говорят тебе, нет. Боялась — не пришла бы сюда. Я буду сидеть здесь, откуда он не придет. Хочу умереть... хочу умереть...

— Агата! Ты плачешь? Агата, моя Агата!

И они упали вдвоем на песок. Две боли, две муки слились в одну под покровом этой бурной, грозной ночи. Они были вместе среди ночного мрака, как двойное семя внутри зернышка плода. Агата плакала у него на плече и рассказывала о своих страданиях:

— Мне так не хотелось сюда приезжать! Ты же знаешь, как все было, — мы ведь соседи. Но врач сказал: он очень слаб, его надо везти к морю. Ну, и мой муж захотел приехать в эти края: еще бы, ведь сюда собиралась сестра! Я говорила ему: не надо, поедем в какое-нибудь другое место, но что я могла сделать! Пришлось покориться. Сначала он решил даже нашу хижину поставить рядом с ними, но потом раздумал: видно,

понял, что подальше от моих глаз будет лучше. А потом и ты, Диего, появился здесь, и тоже не ради меня.

Она попыталась оттолкнуть его, упираясь ладонями ему в грудь, но Диего молча обнял ее и прижал к себе. Он лежал с закрытыми глазами, и его била дрожь. Мир казался ему залитым слезами и кровью, как море в эту бурную ночь.

— Знаешь, я буду счастлива, если он убьет меня. Скоро умрет муж сестры, и они смогут пожениться. И ты будешь радоваться вместе с ними.

Она опять отстранилась от него и, запрокинув голову, смеялась, глядя в небо, словно захмелев от своих мук. Диего заставил Агату положить голову к нему на плечо. Он молчал, дрожа и кусая губы, все еще соленые от морского песка.

Вокруг них, словно разъяренный зверь, бушевал ветер. Он рвал их платья и волосы, но души их оставались недоступными для его ярости. Они замкнулись в своем отчаянии, неуязвимые, как скалы, что высились рядом.

Наконец мужчина как будто успокоился. Он открыл глаза и поправил шарф на голове Агаты.

— Послушай, вот увидишь, все это скоро кончится. Поверь мне. И мы снова будем счастливы, как в дни нашего детства. Помнишь, как я прибежал к стене, разделявшей наши сады? Ты растирала в руках подсолнечник, стараясь выкрошить семечки. Помнишь, Агата? Но ведь вы были богачи, а мы бедные, и ты отвергла меня. Ты предпочла выйти за богатого старика. Бог наказал тебя за твои грехи! Но ты их уже искупила. Сейчас ты пойдешь ко мне и останешься со мной навсегда. Поняла? Тебе придется подчиниться мне, но только один раз. Всего один раз, Агата!

К своему удивлению, он увидел, что она повиновалась. Диего привел ее в свою хижину и запер там. Потом вернулся назад и снова растянулся на песке. И опять рев ветра и рокот моря слились с биением его смятенного сердца.

Возлюбленная Диего в эту ночь опоздала. Она была очень похожа на сестру: та же фигура, тот же шарф на голове. Только он плотнее окутывал ее голову, остав-

ля открытыми лишь глаза, сверкавшие в складках шарфа, как в прорезях черной полумаски.

Заметив, что Диего дрожит, она порывисто поцеловала его руку.

— Сердишься, что я опоздала? Но ему плохо... Я должна тотчас же вернуться. Боюсь...

— Кого? Его? Или еще кого-нибудь?

— Диего, почему ты так говоришь? Что тебе еще наплели про меня?

— Идем ко мне. Там я тебе все расскажу. Ну, идем же...

И она тоже повиновалась. Они шли по берегу, подгоняемые яростным ветром.

Тем временем муж Агаты вернулся домой и, не найдя там жены, пошел разыскивать ее с ружьем в руках. Завидев вдали силуэты двух людей, он остановился. Когда они подошли ближе, он прицелился в женщину, И красная вспышка выстрела, звук которого поглотил вой ветра, осветила его высокую темную фигуру, бронзовое лицо с бешеными глазами и белое нежное личико, золотисто-карие испуганные глаза его жертвы, которая упала ничком, раскинув руки. Любовник приподнял тело с земли, потом уронил его, и женщина осталась лежать на белом песке с раскинутыми руками, похожая издали на большой черный крест.

КАБАНОНОК

Когда кабаненок впервые открыл глаза, он увидел на фоне голубого неба, моря и далеких гор три самых красивых в мире цвета: зеленый, белый и красный.

Рядом с густой зеленью дубов вершины соседних гор казались белыми, как облачка при луне, а вся земля вокруг была усеяна красными ягодами толокнянки. Ею заросли все утесы, все склоны, все извилистые каменистые тропки, как будто проходившие по этим горам пастухи и разбойники оставили здесь свои алые куртки и капельки своей крови. И всякий, кто родился здесь, разве может оставаться трусливым и нерешительным?

Как только молодая кабаниха кончила вылизывать своих семерых детенышей, прильнувших к ее твердым, словно желуди, сосцам, наш отважный кабаненок, появившийся на свет последним, сытый и счастливый, устремился в широкий мир, за пределы той тени, что отбрасывал дуб, под которым он родился. Мать звала его обратно пронзительным хрюканьем, но кабаненок повернул назад лишь тогда, когда увидел на солнечной полянке силуэт другого кабаненка с закрученным колючком хвостом — свою тень.

Прошел день, а за ним ночь. Братишки кабаненка тоже стали выбегать на солнце, но тут же возвращались обратно, испугавшись собственной тени. Собрав среди мха последние желуди, кабаниха хрюканьем стала сзывать детенышей. Шестеро из них, все очень похожие друг на друга, с одинаковыми золотистыми полосками на блестящей шелковой шерстке, сразу же прибежали к матери беспорядочной гурьбой. Седьмой же, тот самый, что первым отважился выйти в широкий мир, не

вернулся. Кабаниха оглядывала лес кроткими испуганными глазами с красными веками и хрюкала, обнажая клыки, белые и острые, как вершины гор. Но кабаненок не откликнулся. Он так и не вернулся.

В это время он, дрожа и хрюкая, ворочался в просторной теплой суме маленького пастушонка, безуспешно пытаясь выбраться наружу. Прощайте, родные горы, прощай, запах мха, прощай, свобода, сладкая, как материнское молоко. В похрюкивании маленького пленника звучали возмущение и тоска по родному дому.

Даже злейшему врагу не пожелаешь перенести те страдания, которые выпали на долю кабаненка, томившегося под перевернутой корзиной в хижине пастуха. Шли часы и дни; маленькая рука, словно обтянутая темной перчаткой — такая она была грязная и шершавая, — просовывала кабаненку под корзину миску с молоком, и два огромных черных глаза смотрели на него сквозь прутья его хрупкой тюрьмы. Однажды он услышал ласковый голосок:

— Будешь кусаться? Если нет — выпущу, а то, дружок, спокойной ночи и будь здоров!

В ответ узник захрюкал, запыхтел в своей ивовой тюрьме, но хрюканье было дружелюбным, даже умоляющим, и черная рука приподняла корзину. Кабаненок нерешительно вылез из своей темницы и принялся обнюхивать пол. Как непохож был ослепительно прекрасный мир лесов и гор на мрачный маленький мирок этой убогой нищенской кухни, дверь которой была предусмотрительно прикрыта братом пастушонка! Очаг уже потух. В печке, к которой кабаненок пробрался в поисках новых открытий, сушилось немного ячменя. Из него хозяйка пекла хлеб для семьи.

— Стоп, приятель! Дальше нельзя. Ты запачкаешь ячмень, и нам есть будет нечего. Мать ходит стирать заключенным белье, чтобы хоть немного заработать. Отец сидит в тюрьме, — сказал мальчик, наклонясь над устьем печи.

Словно пораженный этим сообщением, кабаненок выпрыгнул из печки, и его маленькие коричневые глазки с красноватыми веками уставились в большие чер-

ные глаза мальчика. Они поняли друг друга и с той поры стали неразлучны, как братья.

Их всегда видели вместе: кабаненок обнюхивал грязные пятки своего друга, а мальчик гладил его по мягкой золотистой шерстке и накручивал на палец колечко смешного хвостика.

Счастливые денечки наступили для обоих друзей! Кабаненок целыми днями рыл носом каменистый двор, напоминавший ему родные горы, а мальчик, растянувшись на солнышке, подражал его хрюканью.

Однажды по узенькой улице мимо их дома проходила высокая статная крестьянка: красивая, здоровая, кровь с молоком. За ней шел мальчик с розовым личиком и копной белокурых волос, окружавших его голову золотистым ореолом.

Увидев кабаненка, золотоволосый мальчуган сразу закричал:

— О, какой хорошенький! Хочу кабаненка! Хочу!

Кабаненок бросился в кухню и юркнул в печку, а его хозяин поднялся с земли с потемневшим от гнева лицом и приблизился к мальчику.

— Он твой? — спросила крестьянка.

— Мой.

— Отдай его мне. Я тебе подарю лиру, — сказал белокурый барчук.

— Не отдам, хоть лопни.

— Грубиян, как ты смеешь так разговаривать!

— Если не уберешься отсюда, возьму и камнем тебе голову прошибу.

— Поганый пастух! Вот скажу папе!

— Идем, идем, — позвала крестьянка. — Я все расскажу его матери.

И в самом деле, спустя несколько дней, как-то вечером, крестьянка снова появилась в их доме. Она вошла в кухню как раз в тот момент, когда прачка делилась с мальчиком, как со взрослым, всеми своими бедами.

— Да, дорогой Паскаледду, — сокрушалась она, тяжело дыша и выкручивая мокрый передник, — если отца не освободят, не знаю, как жить будем. Сил моих

больше нет, удушье замучило. А заработка твоего брата едва хватает ему самому. Что же нам делать, Паскаледду? Чем платить адвокату? Я заложила брошь и серебряные пуговицы, чтобы купить немного ячменя. Куда я денусь, если хворь моя не пройдет?

Статная румяная крестьянка присела у потухшего очага.

— А где же кабаненок, Паскаледду? — спросила она, оглядываясь по сторонам. Но мальчик встал, загораживая собой печь, и смерил ее злобным презрительным взглядом.

— Убирайся!

— Мария Камбедда, — сказала тогда женщина, обращаясь к матери, которая, выкрутив фартук, встряхивала его, чтобы просушить. — Послушай, ты ведь знаешь, я служу у судьи. В суде он самый главный. И хозяйка моя — богачка. А сын у них один-единственный, и этот чертенок делает все, что ему вздумается. У отца только и свет в окошке, что сыночек. Сейчас мальчишка болен: объелся. Отец и мать просто извелись от горя. Позавчера мальчик видел в вашем дворе кабаненка и теперь никому не дает покоя. Отдай-ка его мне или, еще лучше, пришли завтра с Паскаледду. Если надо заплатить, они за деньгами не постоят.

— Так твой хозяин — судья? — переспросила женщина, задыхаясь от кашля. — Значит, ты можешь замолвить словечко за моего мужа? Через несколько дней будут разбирать его дело. Если его не помилуют, мне конец...

— По правде говоря, о таких вещах я не могу просить хозяина.

— Ладно. Завтра Паскаледду принесет кабаненка. Скажи хоть судье, что мальчик — сын несчастного Франчиско Камбедды... Скажи ему, что удушье у меня, что мы умираем с голоду...

Но крестьянка ничего не обещала: все знали, что Франчиско Камбедда виновен.

И снова мальчик нес на руках своего кабаненка, только на этот раз не через лес, а через весь город. Два маленьких сердца бились рядом, трепеща от тревоги и любопытства. Но если мальчик знал, что должен предать

своего приятеля, то кабаненок — увы! — не мог себе этого представить. Вытягивая рыльце из-под рук Паскаледду, он с любопытством оглядывал дома, людей, улицу, мальчишек, которые ватагой бежали следом за ними до самого дома судьи. Один из них даже решился постучать в дверь и, когда на пороге появилась красивая молодая служанка, сказал:

— Паскаледду ревет, не хочет отдавать своего кабаненка. Если сразу его не заберете, Паскаледду убежит вместе со своим кабаненком, и тогда ищи свищи...

— Неправда, я не плачу, убирайтесь вы все к черту! — закричал Паскаледду, протягивая кабаненка служанке. Но та не взяла и заставила мальчика войти в дом. Как раз в это время на пороге появился судья с папкой под мышкой. Он спешил в суд. Судья был невысокого роста, толстый, очень бледный, с большими черными усами и грустными глазами.

— Что случилось? — спросил он служанку, осторожно снимавшую белую ворсинку с рукава его пиджака.

— Да вот тут мальчуган принес кабаненка маленькому барину. Это сын несчастного Франчиско Камбедды, который в тюрьме сидит. Бедные они очень... С голоду помирают... У матери удушье.

Судья махнул рукой, словно желая сказать: «Хватит, и этого довольно», и, глядя на Паскаледду, пробормотал:

— Дай ему чего-нибудь.

Служанка провела мальчика в светлую комнату с белыми стенами, где на кровати сидел барчук, закутанный в одеяло, и рассматривал книгу с забавными картинками, на которых были изображены мужчины и женщины в роскошных мехах, украшенных куньими хвостами, лисьими головами. Вокруг были разбросаны шкуры медведей, кабанов, леопардов. Видно, мальчик с золотыми локонами очень любил хищных зверей. Увидев кабаненка, он отшвырнул книгу и протянул к нему руки:

— Дай, дай мне его сюда!

Мать мальчика, высокая, красивая, белокурая синьора в голубом платье, в испуге наклонилась к сыну.

— Радость моя, ты хочешь взять кабаненка в кроватку? Но ведь он бяка! Грязный! Мы отнесем его на кухню, а когда ты поправишься, ты будешь с ним играть.

— А я хочу сейчас! Дай кабаненка, а то я сброшу одеяло и встану!

Ему дали кабаненка, и копоть очага, где нашли мясо овцы, украденной Франчиско Камбеддой, запятнала постель сына судьи.

Паскаледду тем временем подобрал книгу с картинками и стал внимательно ее рассматривать.

— Тебе нравится книга? — спросила синьора. — Можешь взять ее себе.

Паскаледду взял книгу и вышел из дому. На улице его поджидала ватага мальчишек. Они тотчас набросились на него с расспросами, что ему дали за кабаненка, а узнав, стали дразнить и отняли у него книгу.

Но Паскаледду вырвал ее у своих мучителей и, крепко зажав под мышкой, пустился наутек. Только эта книга и осталась ему на память о несчастном кабаненке.

А его бедный друг познал все муки золотой клетки. Однажды барчук чуть его не задушил. А сколько раз он получал пинки от прекрасных ног, вокруг которых струились оборки голубого платья! Сколько раз служанка говорила:

— Мы зажарим его в день рождения молодого барина.

Только хозяин был добрым в этом доме. Когда он, глядя в окно, улыбался сыну, уже выздоровевшему и гулявшему по саду, в его глазах было столько доброты и тревоги, что кабаненку они напоминали глаза его матери, оставшейся там наверху, в горах.

Когда кабаненка не трогали, он пытался развлечься, обнюхивая ноги служанки, бегая за ней следом, тыча рыльце в кастрюли на кухне. Иногда ему разрешали покопаться в старом запущенном саду, где росли оливковое дерево и дуб. И когда он лежал брюшком вверх среди кустарников и видел над собой лазурное небо, алые облачка, белый дом в гуще деревьев, он был счастлив и ему казалось, что он снова в горах. Но молодой хозяин быстро выводил его из этой блаженной дремоты. Вооружившись ружьем, пистолетом и шпагой, он начинал играть «в охоту»: спрятавшись за кустами,

он брал кабаненка на прицел, а потом подбегал и осыпал безжалостными ударами.

Как-то раз на кухне зашипели сковородки, запрыгали крышки на кастрюлях. Красивая служанка сияла в клубах пара, словно багровая луна в вечернем тумане. Был день рождения барчука, и в ожидании ужина несколько гостей из ближайших друзей хозяина зашли на кухню, чтобы разузнать, что вкусного предстоит им сегодня отведать. Откровенно говоря, им просто хотелось взглянуть на девушку, которая казалась им самым лакомым кусочком. Вслед за ними крадущейся походкой в кухню вошел начальник полиции. Полюбезничав с девушкой, он подошел к окну и спрятал свой пистолет в нише возле окна.

— Этот чертенок вечно шарит у меня по карманам и требует пистолет, — объяснил он служанке. — Не трогай его, он заряжен.

Из комнат доносился веселый шум. Гости смеялись, болтали, а хозяин обсуждал с каким-то чиновником «закон о помиловании», который недавно был пущен в ход во Франции каким-то сердобольным судьей.

— Ну, возьмите хоть этого несчастного, которого мы сегодня оправдали, — сказал хозяин. — Ведь Камбедда совершил кражу из нужды. Он отец семейства, у него растут два сына, хорошие ребяташки. Закон должен быть гибким!

— Выходит, закон будет неумолим только к богатым! — с ухмылкой сказал начальник полиции, и все засмеялись.

А тем временем кабаненок в обществе черного котенка вылизывал на кухне тарелки. Хотя еды хватало для обоих, котенок поминутно выпускал когти и сердито топорщил усы над белыми, как зернышки риса, зубами.

Когда служанка отлучилась за чем-то в столовую, в кухню неожиданно влетел молодой хозяин. В новом голубом костюме, с блестящими приглаженными волосами, облежавшими его голову, как золотая атласная шапочка, он выглядел настоящим ангелочком. Он как на крыльях порхал от стула к стулу, от печи к столу, от стола к окну. И вдруг заметил пистолет. Мальчик осторожно вынул его, потом положил обратно. Он не

закричал от восторга, но в глазах его появился стальной блеск, и они стали злыми, как у кошки.

Подхватив кабаненка на руки — более прыткий котенок спасся бегством, — он вынес его в сад и поставил напротив кухонного окна.

— Ну, на этот раз все будет взаправду! — кричал он и запрыгал от радости. — Стой смирно!

Кабаненок принялся обнюхивать кусты. Он был доволен, сыт и счастлив. Потом он увидел в кухонном окне барчука с пистолетом в руке и удивился, почему котенок с вершины дуба скалит на него зубы и тарашит большие зеленые глаза.

И вдруг его окутал лиловый туман. Он вздрогнул, закрыл глаза, но через минуту поднял тяжелые красноватые веки и в последний раз увидел самые прекрасные цвета в мире: зеленый — цвет дуба, белый — дома и красный — своей крови.

БАШМАКИ

Даже в те дни, когда не было судебных заседаний, что теперь случалось частенько, ибо в нынешние тяжелые времена люди опасались затевать тяжбы и оставшимся без работы известным адвокатам, бывшим профессорам и чиновникам в отставке приходилось заниматься обязанностями стряпчих, Элиа Карай аккуратно являлся в здание суда. Усевшись в приемной, он извлекал из кармана записную книжку и, положив ее на колени или прислонив к стенке, принимался сочинять стихи на диалекте, посвященные жене. Вокруг него стоял невообразимый шум: взад и вперед сновали толпы людей, осыпали бранью друг друга женщины, пришедшие сюда по грошовым делам с таким торжественным и трагическим видом, словно речь шла, по крайней мере, о перделе мира. Высоко подняв голову и выпятив грудь, проходили мимо мошенники, в любой момент готовые побожиться, что ни копейки не должны своим кредиторам. Ходатаи и стряпчие, еще более голодные, чем их клиенты, бродили по комнатам, мучительно раздумывая, где бы раздобыть лист гербовой бумаги.

Элиа не удивлялся решительно ничему.

Я знаю жизнь, людей я тоже знаю,
И — чему быть, того не миновать, —

писал он в своих старомодных виршах, обращаясь к жене. «Я поэт и философ, и меня ничто не поражает. Жизнь — это качели: сегодня ты наверху, завтра внизу, а послезавтра снова взлетаешь вверх. Не отчаивайся, моя золотая лилия. Может быть, о нас вспомнит дядюшка Агостино, выгнавший из дому свою жену и лишивший ее наследства. Тогда мы поедем с тобой на берег моря, будем любоваться лодками, проплывающими вдаль, и держать друг друга за руки, как жених и невеста. Впрочем, мы и теперь счастливы. Мир и лю-

бовь царят в нашем доме, и ты мой кедр ливанский, ты моя Venus formosa¹, ты мое сокровище и моя королева...»

Однажды зимним утром тяжелая, словно камень, рука знакомого возчика ударила Элиа по плечу.

— Скорее снаряжайся, любезный, в путь! — сказал он. — Я только что из Террануово, возил туда кору и видел там твоего дядюшку, комиссионера Агостино. Он тяжело болен.

Элиа спокойно встал и в знак скорби провел рукой по своим уже седеющим волосам.

— Пойду сообщу жене эту грустную весть.

Жена как будто не слишком опечалилась. Она даже не поднялась со ступенек, где сидела, греясь на солнце. Одетая она была «по-городскому», причесана по моде, но ее ситцевое поношенное платье, рваные башмаки, жидкие черные волосы, темным ореолом окружавшие бледное бескровное лицо, еще резче подчеркивали вопиющую бедность. Глаза ее, некогда черные, с годами выцвели и приняли золотисто-ореховый оттенок, а взгляд стал безучастным и немигающим, как у зайца.

В доме, где Элиа с женой снимали в нижнем этаже комнатку окнами во двор, стоял такой же гам, как в коридорах суда. Шумно ссорились у себя хозяева, а в харчевне на дворе посетители играли в морру и громко смеялись. Но казалось, жена Элиа не замечает этого шума: она была так же равнодушна к житейской суете, как и Элиа, когда он сочинял стихи в коридорах суда. Но именно такой любил и желал ее Элиа.

— А знаешь, что я сделаю? — сказал он, поглаживая ее по голове и глядя в небо. — Я, пожалуй, пойду...

— Куда?

— То есть как куда? К дядюшке Агостино, разумеется. И погода, кстати, стоит прекрасная, — добавил он, не договаривая до конца своей затаенной мысли, но жена, должно быть, сразу угадала ее, поглядев на его легкие стоптанные башмаки. Она спросила:

— А где возьмешь денег на дорогу?

— Есть у меня деньги, есть. Пожалуйста, не беспокойся, ни о чем не думай. Мир прекрасен: надо только уметь смотреть на жизнь философски, надо всех любить и относиться к людям дружелюбно. Как раз се-

¹ Прекрасная Венера (лат).

годня утром я высказал эту мысль вот здесь. Хочешь прочитать?

Элиа вырвал из записной книжки несколько листов и, покраснев, робко положил жене на колени. То была единственная пища, которую он оставлял ей на эти дни.

Элиа пошел пешком. Дело в том, что у него было всего-навсего три лиры и он слишком хорошо знал людей, чтобы попусту терять время, пытаюсь одолжить у кого-нибудь на дорогу.

Впрочем, к такому положению он уже привык. Ждать помощи он мог только от своей немудреной философии да от дядюшки Агостино. К тому же ходокон он считался отличным, и, пожалуй, ноги его были более надежны, чем башмаки. Он готов был мириться с любыми трудностями, лишь бы дело кончилось хорошо.

И все шло хорошо до самого Оросеи: прямая и гладкая дорога все время спускалась под гору, а по сторонам ее расстилались сказочные пейзажи, при виде которых забывались все земные заботы и огорчения. Элиа казалось, что его путь пролегал через обетованную землю. Сверкающее, как алмаз, солнце щедро лило свой чистый холодный свет, и все вокруг — трава, скалы — сияло и искрилось. По мере того как Элиа спускался вниз, солнце все больше отливало золотом и становилось все горячее, и наконец на фоне убегающих к морю мраморных холмов он увидел миндальные деревья, усыпанные, как весной, розовыми цветами.

Но солнце вскоре скрылось, и вслед за короткими сумерками на землю упала черная сырая ночь. Элиа почувствовал, что у него промокли ноги, — башмаки окончательно развалились. Этого следовало ожидать, однако Элиа не смог отнестись к этому событию с обычным философским спокойствием. Ведь починить он их не мог, и одолжить пару башмаков было не у кого. Продолжать путь в худой обуви было трудно, а посягаться в таких опорках в доме дядюшки попросту неприлично. Значит, во имя будущего, а также ради здоровья и счастья жены Элиа любой ценой должен был раздобыть себе башмаки. Но как? На этот вопрос он не находил ответа. Размышляя об этом, Элиа добрался до какого-то селения.

На темных улицах, где уже не было ни души, разгуливал только морской ветер. Лишь из окон постоянного двора лился на площадь приветливый свет. Элиа вошел и попросил приютить его на ночь, предложив плату вперед. Ему предоставили кровать в большой комнате, где спали уже два постояльца, причем один из них чудовищно храпел. Не раздеваясь, Элиа лег на свою постель, но уснуть никак не мог. Перед его глазами со странной настойчивостью появлялась одна и та же картина: он видел бесконечные вереницы башмаков, разбросанные по всему белому свету: по домам, по полям, по дорогам. Всюду, где появлялся человек, появлялись и башмаки. Они лежали в ящиках и комодах, прятались в самых неожиданных уголках, чинно стояли около постелей, охраняя сон своих хозяев, или терпеливо поджидали их на пороге. Наконец были среди них башмаки и вроде его собственных — то есть такие, которые преданно разделяли горести и нищету с теми, кто их носил.

Шум ветра за окном и храп соседа служили аккомпанементом его видениям. Шли часы, на небе загорелась звезда: чистая, голубоватая, словно омытая морской водой, она застыла за дрожащими стеклами окон в высоком ночном небе. Элиа подумал о жене, о посвященных ей стихах, о безбедной жизни, ожидающей их, если дядюшка Агостино оставит ему наследство.

Элиа встал, наклонился и ощупью нашел башмаки храпящего соседа. Башмаки были тяжелые, старые, разношенные; стертые гвозди холодили его горячие пальцы. Элиа поставил их на место и, шаря по полу, принялся искать башмаки другого постояльца, но не нашел их.

В этот момент в коридоре послышался легкий шорох, как будто кто-то шел босиком. Элиа замер на четвереньках, дрожа, как загнанный зверь. Он сознавал всю глубину своего падения, и его охватил инстинктивный ужас зверя, почуявшего смертельную опасность. Когда шорох прекратился, он вышел за дверь, чтобы убедиться, что там никого нет. И увидел при свете лампы, горевшей в глубине коридора, кошку, которая пробиралась вдоль стены, касаясь ее кончиком поднятого вверх хвоста, да у соседней двери пару новых башмаков с огромными пряжками, отбрасывающими на пол две длинные уродливые тени.

Элиа взял башмаки, спрятал их под плащом и спустился вниз. У самых дверей, на циновке, спал слуга, стороживший лошадей постояльцев. Дверь была заперта только на щеколду. Элиа беспрепятственно вышел наружу и очутился на улице, тянувшейся вдоль серого моря. Звезды мигали и дрожали так сильно, что казалось — вот-вот оторвутся и упадут на землю.

«Любопытно, как все в природе, да и сам человек, стремится к падению», — подумал Элиа, быстро шагая по темной ночной равнине, замкнутой черными горами и серым морем.

Спустя полчаса он решил, что теперь уже можно надеть украденные башмаки. Сев на придорожный столбик, он пощупал хорошенько новые башмаки, довольный, что они такие мягкие и просторные, переобулся, но в эту минуту Элиа пронзила мысль: неужели он так низко пал? Стыд охватил его.

«А что, если меня уже ищут? Нечего сказать, хорошо буду! Что скажет жена? Ну, похитить несколько миллионов — это еще куда ни шло, но пару стоптанных башмаков! Стыдись, Элиа Карай!»

«Да найди я миллион, я живо бы его прикарманил!» — продолжал он подтрунивать над собой, вытянув ноги, шевеля пальцами внутри башмаков. Но странное дело: ноги его дрожали, горели, как будто в этих башмаках им было не по себе!

Когда Элиа снова пустился в путь, держа собственные башмаки под мышкой, чтобы в случае опасности снять чужие, он шел уже не так быстро, как раньше. У него подгибались колени, и он то и дело останавливался: все время ему чудились сзади чьи-то шаги.

Бледный рассвет, встававший над морем из-за завесы тумана, испугал его, будто зловещий призрак. Ведь теперь его смогут увидеть путники, направлявшиеся в Оросеи. Придя туда, они, конечно, узнают о краже и смогут сказать: «Да-да, мы действительно видели какого-то подозрительного человека со свертком под плащом!»

Элиа вскоре в самом деле столкнулся на дороге с крестьянином. Его темный силуэт пятном выделялся в бледных рассветных сумерках. С мешком и палкой в руке, он спокойно шагал по дороге в Оросеи, но Элиа показалось, что он взглянул в его сторону и понимающе усмехнулся.

Наступил день — тусклый, печальный. Черные тучи, гонимые ветром, металась между горами и морем, словно огромные спутанные клубки, цепляясь за скалы и утесы, которые как бы постепенно разматывали их. Вороны с карканьем носились над исхлестанными ветром вересковыми пустошами.

Ясные, пронизанные светом пейзажи, которыми Элиа любовался вчера, остались позади. Теперь все вокруг окрасилось в мрачные, зловещие тона, и ему чудилось, что он слышит за собой злобные насмешливые крики преследующей его толпы.

Кончилось тем, что Элиа снова надел свои башмаки. а краденые оставил на дороге. Но это не принесло ему желанного успокоения. Его воображению рисовались картины одна страшнее другой. Вот один из бедных постояльцев, его сосед по комнате, пошел по той же дороге и подобрал злосчастные башмаки. За вором пустились в погоню, поймали, уличили, ему грозят страшные кары. А может, башмаки найдут те люди, которые, как казалось бедняге Элиа, все время шли следом за ним, они догонят его, заставят признаться. Что тогда скажет жена?

В детски наивном мозгу Элиа, страдающего к тому же еще от голода, усталости и холода, тревожные мысли чудовищно разрастались, путались, мчались, напоминая те беспорядочные тучи, что неслись по темному зимнему небу. Теперь он раскаивался, что отправился в путь, расстался с привычной спокойной жизнью ради пустой мечты. Кто знает, сколько еще треволнений принесет ему погоня за дядюшкиным наследством; он уже и так пал слишком низко.

И Элиа повернул назад. Башмаки лежали на том же месте, где он их оставил. Он долго стоял, бессмысленно глядя на них. Что делать? Даже если он спрячет их, схоронит — этим он ничего не поправит. Ведь он украл, и воспоминание о той минуте, когда он, дрожа, как загнанный зверь, стоял на четвереньках посреди комнаты, навсегда останется темным пятном в его жизни.

Элиа взял башмаки, спрятал их под плащом и пошел обратно в селение, где провел предыдущую ночь. Он старался идти медленнее, чтобы попасть туда только к вечеру. Уже сутки он ничего не ел и был так слаб, что ветер клонил его к земле, как былинку. Словно во сне, подошел он к постоялому двору, готовый при-

знать в своей вине. Но там все было спокойно, никто не говорил о краже, никто не обращал на него внимания и не интересовался, что он прячет под своим плащом. Он поел и попросился переночевать. Ему предложили ту же самую кровать, на которой он спал прошлой ночью. Элиа поставил башмаки туда, где он их взял, и уснул. Он спал мертвым сном и встал только тогда, когда его разбудили и сказали, что уже полдень. Купив хлеба на оставшиеся два сольдо, он снова двинулся в путь.

И снова погода была чудесная. Пустошь, раскинувшаяся между черными горами и синим морем, дышала грустным очарованием перевозданного пейзажа, все вокруг зеленело и набиралось сил, но как порой бывает бесплодной человеческая жизнь, так, казалось, и на этой земле уже никогда не распустится ни один цветок.

Элиа шел бодрым шагом и быстро приближался к цели: рваные башмаки даже сослужили ему некоторую службу. Благодаря им его всюду принимали за бродягу-нищего, и крестьяне давали ему приют, угощали хлебом и молоком на скотных дворах.

Когда он наконец добрался до места, оказалось, что дядюшка скончался несколько часов тому назад. Служанка подозрительно оглядела Элиа и сказала:

— Так это ты будешь его племянник? Чего же ты не удосужился прийти пораньше?

Элиа промолчал.

— А покойный хозяин все тебя поджидал. Третьего дня послал тебе телеграмму. Все говорил, что единственный у него родственник — ты, да и тот его позабыл. Ну, и сегодня утром, так тебя и не дождавшись, он все завещал сиротам моряков...

Вернувшись домой, Элиа нашел свою жену там же, где оставил: как всегда бледная и безучастная, она сидела на крыльце и грелась на солнышке.

— Святая мадонна, почему же, получив телеграмму, ты не сообщила ему, что я уже в пути?

— А зачем? Ты ведь и так должен был прийти. Почему же ты опоздал?

Элиа ничего не ответил.

ТРИ БРАТА

Не было дня, чтобы тетюшка Карула не заходила к своей подруге Пауледде с твердым намерением убедить ее выйти замуж. Женщины были ровесницы, и возраст их скорее приближался к сорока, чем к тридцати годам; но в то время как Пауледда, несмотря на это, так и осталась для всех просто Пауледдой и все, даже дети, говорили ей «ты», Карула, выйдя замуж за пожилого вдовца с тремя взрослыми сыновьями, сразу же превратилась в «тетюшку Карулу».

В качестве почтенной пожилой женщины ей теперь частенько приходилось брать на себя обязанности свахи. В новом платье с парчовым корсажем, стянутом серебряным поясом, в белоснежном крахмальном чепце, она степенно шествовала по улицам, и все знали, что тетюшка Карула идет сватать девушку из уважаемой семьи за юношу, у которого не менее уважаемые родители.

Почти всегда дело, за которое она бралась, кончалось удачей. Она умела уговорить самых строптивых девиц, даже если партия была не очень заманчивой. Отказ она воспринимала как личную обиду и с новой энергией устремлялась в атаку, пока не достигала желанной цели, угождая тем самым претенденту и удовлетворяя собственное самолюбие.

Многие выказывали желание посвататься к Пауледде, но Карула не решалась ей об этом сказать, так как заранее была уверена в отказе. Однако при каждой встрече она заговаривала с ней на эту тему.

— Что поделаешь, дорогая Карула, — говорила Пауледда, склоняясь над шитьем, сидя во дворике, увитом

виноградными лозами. — Такова, видно, моя судьба. Все молодые годы мне пришлось работать и заботиться о других: ты сама помнишь, какая у нас была большая семья! Зато теперь я привыкла к одиночеству, и мне никого не надо. Я сама себе госпожа, дома у меня тишь да гладь, и мне кажется, будто после бури я добралась наконец до тихой пристани. Так подумай сама: чего ради я буду снова пускаться в открытое море?

Лучи солнца, пробиваясь сквозь узорчатое кружево виноградной листвы, веселыми солнечными зайчиками падали на маленькую фигурку тетушки Карулы. Наливая кофе в блюдечко, она дула на него и поддакивала Пауледде:

— Что правда, то правда: ты сама себе госпожа, в доме у тебя тишь да гладь. Но все-таки муж есть муж.

— Знала я мужей, чтоб им пусто было...

— Не спорю, попадаютя среди них и повесы и распутники, но для тебя есть у меня один на примете... Да дай же мне сказать! Что тебя от этого, убудет? Так вот...

Но Пауледда так негодующе качала своей хошенькой небольшой головкой, обвитой черными, толстыми, как канат, косами, что подруга невольно умолкала.

— Ты ведь меня знаешь, Карула. Не трать слов понапрасну. Ты помнишь, нас десятеро было в семье: семь мальчишек-богатырей и три девочки, три ясные звездочки. У отца было неплохое хозяйство, но юноши из богатых семей презрительно говорили: «Когда все имущество поделят, каждому достанется не больше «меры зерна». И никто ко мне не сватался — ведь я была бедная. А время шло. Целыми днями я работала, а сама все мечтала, как мечтают маленькие девочки. «Ну ладно, — думала я, — пускай я не нужна ни одному юноше из нашей деревни, но пройдет время, и в один прекрасный день появится таинственный незнакомец, заморский гость — он будет богат, хорош собой и полюбит меня». Но появлялись незнакомцы, приезжали к нам гости — мне приходилось им прислуживать, но ни один из них даже не взглянул на меня. Тогда я стала мечтать о другом; теперь, когда крылатые птицы моих девичьих грез разлетелись, я уже могу сказать тебе об этом, я думала: «Может быть, как-нибудь

ночью попросит у нас пристанища юноша, преследуемый врагом или правосудием. Я спрячу его, стану за ним ухаживать, а когда все успокоится, мы поженимся». Как просто, правда? А годы шли, ты ведь знаешь, они мчатся, как ветер. Умер отец, умерли сестры. Потом настал год черной оспы, и смерть унесла всех моих братьев, как голодный коршун уносит ягнят из овчарни. Я осталась одна-одинешенька, как былинка в поле, но... наследство досталось мне целиком. И вот тогда-то со всех сторон стали ко мне свататься, ты не первая приходишь в мой дом в чепце свахи. Но я снова повторяю тебе: теперь мужчины вызывают во мне только презрение, и я даже не очень пеняю на свою горькую судьбу, — ведь она дала мне возможность узнать, чего они стоят. Они, конечно, льнут ко мне, потому что я богата. Но пусть они все пропадут пропадом!

Однако сваха только улыбнулась при виде негодования Пауледды. Поднявшись, она поставила чашку на место и поправила передник и пояс.

— Пожалуй, ты права, Пауледда. Ну, а если жених богат? Ну, скажем, к примеру, Андрия Маронцу? Это-то, уж конечно, не погонится за приданым.

Лишь это имя могло несколько смягчить гнев и презрение Пауледды к мужчинам. И как-то раз она пошла в своих признаниях дальше, чем обычно, сказав Каруле:

— Да, когда я была молода, я мечтала о нем как о принце. Но сейчас он для меня такой же, как и все остальные. Я его не люблю, да и он меня тоже.

Уходя от Пауледды, сваха на этот раз недоверчиво поджимала губы. Ей пришла на память одна басня Эзопа, та самая, которую так часто повторял садовник, дядюшка Феликс: басня о лисе, которая не хотела попробовать виноград, потому что не могла до него дотянуться.

Даже у себя дома Карула не переставала говорить о Пауледде, о ее приданом, домовитости, презрении к мужчинам. Пасынки Карулы с интересом слушали эти рассказы, а когда она, привыкшая быть с ними откровенной, выболтала им все признания подруги, они начали смеяться над наивными бреднями Пауледды.

— Смех, да и только! Заморского гостя ей подавай, да еще богатого! Небось продавец лопат и совков из Тонары ей не по вкусу! — сказал старший пасынок

Мерциоро, небольшого роста, румяный, добродушный крестьянин с черной взъерошенной бородой.

Его младший брат Танедду, безусый белолицый юнец, вырезал в это время на роговой табакерке, предназначенной в подарок отцу, голубку и вазу с цветами. Услышав рассказ Карулы, он лукаво заметил:

— А знаете, я как-нибудь возьму да с божьей помощью постучусь ночью в ворота Пауледды. Скажу, что за мной гонятся соперники. Ей-богу, так и сделаю.

— Ты, сынок, для нее, пожалуй, слишком молод, — серьезно возразила Карула, в то время как Мерциоро хохотал, колотя себя кулаками по коленям.

— Ну, знаешь, такой богачке, как Пауледда, всегда будет пятнадцать лет!

Средний из братьев, Преду Паулу, промолчал. Упершись локтями в колени, обхватив голову руками и широко расставив ноги, он задумчиво сплевывал на пол. Преду Паулу был человек угрюмый и неразговорчивый. Своей черной бородой и смекалкой он походил на старшего брата, а ловкостью и бледным цветом лица на младшего. Болтовня мачехи навела его на мысль о Пауледде. Он вспомнил, что однажды в чужой деревне какая-то женщина приютила его, раненного, у себя в доме, и подумал: «Знай я об этом раньше, я пошел бы к Пауледде. У нее такие нежные ручки, а та была стара и страшна, как смертный грех».

Целыми днями Пауледда шила у себя во дворике, затененном виноградными лозами. Когда запирались ворота и она оказывалась отрезанной от всего остального мира высокой каменной оградой и стенами дома, обращенного окнами на горы, Пауледда чувствовала себя монахиней, укрывшейся в тихой обители. Шум жизни, кипевшей где-то вдаль от дома, доносился сюда, как смутный рокот морского прибоя или посвист ветра в далеком лесу. Хорошо было за надежными стенами баюкать себя грезами и мечтами.

Свежий ветер, гулявший по деревенским улицам в эти теплые весенние дни, не нарушал дремотного покоя этого дворика. Ветер проносился над высокой оградой, теребя зеленватые виноградные листья, и они

бились друг о друга, никли, трепетали, съеживались. Ярко-желтые на солнце, блеклые в тени, эти листья, полные жизни и страсти, были крепко-накрепко связаны с родной лозой, как люди со своей судьбой. Золотистые облачка, словно язычки пламени, появлялись из-за гор, и ветер гнал их по небу, унося вместе с ними запахи горелого жнивья и щебет ласточек. Так же быстро летели дни и часы, унося с собой людские надежды и горести.

Время от времени Пауледда вставала и шла в свою маленькую чистенькую кухню выпить чашку кофе. Потом она возвращалась и снова принималась за шитье, поджидая кого-нибудь из гостей. Все это делало ее счастливой.

А в гостях недостатка не было. Прямо из церкви, после проповеди, не переставая оплакивать смерть и страсти господни, заходили в маленький домик старые тетушки Пауледды. Появлялся иногда и дядюшка Феликс, тот, что даром подстригал деревья в садах своих друзей и их виноградники. Приходили крестные умерших братьев Пауледды — все ее ровесницы, — самые строгие ревнительницы религиозных праздников во всей округе. Разговоры велись веселые и самые невинные. Но если тетушки начинали о ком-нибудь злословить, то уж пощады ждать не приходилось: они перемывали своей жертве все косточки. Однажды гости стали судачить о пасынках Карулы.

— По виду они что твои студенты. Разоденутся в пух и прах, волосы напитают, талии затянут! И всегда они где-то пропадают, вечно что-то вынюхивают. Преду Паулу, тот, что корчит из себя Андриа Маронцу, — ведь он похож на него, — уж так кичится своей красотой, что просто противно смотреть. Говорят, он завел себе подружку в соседней деревне. Она приютила его, когда он не то с лошади упал, не то ранен был, — уж я не помню. Она богатая вдова, но замуж за него идти не хочет.

Пауледда подавала как раз гостям кофе, и поднос задрожал в ее руках, когда старая тетка сказала в заключение:

— Хотя это и смертный грех, но вдова, пожалуй, правильно делает, что живет себе тихо-мирно в своем

доме, вместо того чтобы связать себя на всю жизнь с первым встречным.

— Скорее идите к исповеди, — воскликнула какая-то благочестивая старушка. — Как вы можете такое говорить: «Она правильно делает, хоть это и смертный грех»?

Обычно Пауледда оставалась равнодушной к подобным разговорам, но на этот раз, когда все разошлись и наступил вечер, она вышла во дворик подышать свежим воздухом, воспоминания, разбуженные словами тетки, роем обступили ее. Она никогда и не думала завести себе любовника, даже если бы для этого ей не пришлось поступиться столь любимой свободой.

Просто она была слишком благочестива и боялась людских пересудов. Но пример богатой вдовы заставил ее в этот вечер почувствовать смутное сожаление о годах, прошедших без любви. Она вновь видит себя юной девушкой в этом увитом виноградом дворике, когда над деревней встает луна и все в доме уже спят. Она слышит чьи-то быстрые шаги и замирает. Вот вдали раздается песня:

Вы, птички, порхающие в небе,
Принесите мне весточку...

И она плачет так, словно это весточка о смерти...

И теперь, как тогда, стояла теплая июньская ночь, полная поэзии и тайны. Над головой в темном кружева листвы, как золотые виноградины, сверкали яркие звезды, где-то вдали пели влюбленные пары, поверяя птицам свои заветные думы.

Внезапно Пауледде послышался вдали какой-то шум. Голос певца словно растворился в воздухе, а вместо сопровождающего его хора вдруг раздалась хриплые крики. Что это, драка? Ссора соперников? Мало-помалу шум прекратился, снова зазвучала песня, но уже где-то далеко. Внимание женщины вдруг привлекли чьи-то шаги. Они приближались, становились все яснее, все четче. Шаги замерли у ее ворот, и вслед за этим послышался негромкий, но настойчивый стук. Пауледде казалось, что все это ей снится. Взволнованная, она поднялась со скамьи и спросила:

— Кто там?

— Я погиб! Ради бога, открой!

— Кто там?

— Мерциоро. Открой мне, Пауле, спаси христианскую душу. Смерть моя пришла. Скорей же, скорей, за мной гонятся!

Пауледда открыла, и во двор ворвался Мерциоро, он тут же упал и, цепляясь за стену, попытался подняться. Пауледда тем временем прикрыла ворота, держа руку на крюке, чтобы в случае надобности сразу же откинуть его.

Ей казалось, что произошло что-то необыкновенное. И все-таки это не было тем романтическим приключением, о котором она мечтала в юности.

— Что случилось? Ты ранен?

— Нет, нет. Но за мной гонятся... Я... я ранил одного человека, и теперь меня преследуют.

— Почему ты его ранил?

— Почему? Сейчас я тебе все расскажу... Только дай мне, ради бога, воды, дай напиться...

— Кувшин вон там, на скамье... Пей...

Он поднялся как ни в чем не бывало, взял кувшин и стал пить. В ночной тишине слышалось его тяжелое дыхание. Снаружи все уже было тихо и спокойно. Пауледда чувствовала, что волнение ее улеглось. Мерциоро сел на скамью под виноградной лозой.

— Послушай, — сказал он. — Бог воздаст тебе за гостеприимство. Но чего ты боишься, почему держишь руку на крюке? Поди сюда. Опасность миновала. Видно, мои враги сбились со следа. Да садись же, что ты стоишь? Можно подумать, что ты в первый раз меня видишь. Так вот послушай, как было дело...

И он начал рассказывать странную, немного путанную историю о том, как за ним гнался какой-то его недруг, который убил у него лошадь и украл несколько овец. Пауледда сидела рядом с ним и молча слушала.

— Теперь мне надо на некоторое время скрыться. Правосудие, конечно, вещь хорошая, но от него, как от морских волн, все-таки надо держаться подальше. Если б ты позволила мне остаться...

— Да ты что! Ведь я одинокая женщина!

— Я буду тебе братом!

— Замолчи!

И тут вдруг на улице снова послышались шаги. Но уже проворные, легкие, словно человек шел босиком.

Кто-то остановился у ворот, на несколько минут все за-
тихло, и потом раздался умоляющий шепот:

— Пауледда! Пауле!

Вздрогнув, она вскочила на ноги. Кто бы это мог
быть? Враги Мерциоро? А она-то ему не верила!

— Бога ради, не открывай! — прошептал Мерциоро,
потянув Пауледду за юбку. Пауледда вырвалась и бро-
силась к воротам. Между тем человек, стоящий снару-
жи, настойчиво, все громче и громче повторял:

— Пауледда! Ты здесь, Пауледда? Открой мне, ради
всего святого, спаси меня от опасности! Пауле!

— Черт тебя принес, Тане, что тебе здесь нужно? —
воскликнул вдруг Мерциоро, узнав голос младшего
брата.

Пораженный Тане замолчал от неожиданности и
вдруг разразился хохотом. Пауледда рассердилась:

— Входи, Тане, ворота открыты.

Тане толкнул ворота, на которые не был накинута
крюк, и вошел.

Они долго шутили и смеялись над забавным совпа-
дением — и в самом деле, не удивительно ли, что оба
брата, не сговариваясь, решили в один и тот же вечер
прибегнуть к одинаковой уловке!

Чтобы как-то утешить их, Пауледда вынесла во двор
кувшин вина и налила им по стаканчику.

— Ну, уж сегодня ладно, — сказала она, — а завтра
вы меня не проведете. Вам, милые мои, не хватает хит-
рости для таких дел. Вот будь на вашем месте ваш браг
Преду Паулу, он, пожалуй, сделал бы это половчее!

Узнав об этих словах Пауледды, Преду Паулу, ни-
кому ничего не говоря, зашел к ней как-то днем, потом
ночью, и кончилось все это свадьбой.

НА КОРОЛЕВСКИХ ХАРЧАХ

Мрачная камера с низким потолком в конце концов стала навевать на заключенных тоску. Их было десять мужчин — старых и молодых, все из лучших семей Нуоро. Арестованные в одну ночь вместе со многими помещиками, крестьянами, пастухами, все они были обвинены в оказании помощи нуорезским бандитам, которые к тому времени были разгромлены войсками. Первые дни эти десять человек не унывали, смеялись, шутили, с минуты на минуту ожидая приказа об освобождении. Только два еще совсем крепких старика — один известный своим богатством и высокомерием, другой прославившийся как упрямый самодур — не переставали протестовать и возмущаться, но остальные над ними только смеялись.

— Дядюшка Сербадо, — говорили они богачу, — пошли в кабачок. Давайте сегодня немного покутим. Ну-ка, вытаскивайте ваш пухлый бумажник!

Сербадо был больше всего раздражен личным обыском, произведенным после ареста. Поэтому в ответ на подобные шутки он только злобно косился на товарищей бешеными, налитыми кровью глазами и, поглаживая мощную грудь и мускулистые ноги, с ненавистью цедил сквозь зубы какие-то ругательства.

Его товарищ — высокий, худой, меднолицый старик, с черной порыжелой бородой и зубами, такими еще крепкими и блестящими, что они выглядели как искусственные, — даже не удостоивал шутников ответом.

— Представим себе, что на улице дождь, а мы укрылись здесь и играем в карты, — предложил какой-то паренек.

Но проходили дни, проходили ночи, и арестованными постепенно овладевали беспокойство и уныние. Одни из них вообще и в глаза не видели бандитов, другие сами от них пострадали, третьи мирволили им из страха. Лишь мысль, что не только они, но и сотни других людей сидят сейчас в тюрьме по тому же обвинению, несколько утешала их. Однако им начинало казаться, что шутка слишком уж затянулась.

— Каково сейчас моей жене? Бедняжка! Ведь схватили не только меня, но и ее отца, и братьев, и слугу, словом, всех. Осталась она в доме одна-одинешенька, как дикий зверек в клетке!

— А у меня как раз накануне заболели три коровы. Теперь они, уж наверно, пали. Я разорен...

— Мать уж плакала, плакала, — вспоминал какой-то паренек невеселый час своего ареста.

— Подумаешь, поплачет, поплачет и перестанет, — презрительно заметил дядюшка Сальваторе, богач.

Когда другие жаловались на свои несчастья, он кашлял, плевался и всех подряд осыпал бранью. «Босьяки», «голодранцы», «шваль» — это были еще не самые скверные прозвища, какими он награждал своих соседей.

Настал день, когда, рассказав друг другу о всех своих несчастьях и невероятных приключениях, испробовав все способы рассеять скуку; заключенные начали ссориться. Люди они были здоровые, крепкие, привыкшие к беспредельным просторам пастбищ, к тенистым лесам, к слепящему солнцу на скошенных полях, их раздражали усыпляющий полумрак, всегда царивший в длинной, низкой, похожей на коридор камере, духота и зловоние, стены, покрытые грубыми надписями и кишашие насекомыми. Особенно тягостно бывало по вечерам. Когда сквозь решетку в камеру просачивался розоватый отсвет летних сумерек, заключенные приходили в неистовое возбуждение и начинали яростно браниться. Но вот как-то раз одного из них вызвали в кабинет начальника, и надежда смутная, как сумеречный свет, слабо забрезжила в их душах.

— На свидание с родными его вызвать не могли, — сказал старик самодур, который не в первый раз сидел на «королевских харчах». — Пока не закончено следствие, свидания не разрешаются.

Что же будет дальше? Наконец вызванный вернулся. Он посмеивался, но было видно, что он чем-то смущен.

— Меня встретили два синьора, — сказал он. — Один — такой маленький, рыжий, совсем как лиса, все что-то писал, а другой, высокий и худой, как скелет, задал мне тысячу вопросов, а потом заставил раздеться и измерил лоб, щеки, нос...

— А что он спрашивал?

— Здоровы ли мои родители, с детства я работаю или нет...

Тут дядюшка Сальваторе вскочил, побагровев от гнева и возмущения.

— И ты, ты позволил им прикасаться к себе? — загремел он, ткнув рассказчика пальцем в грудь. — Позволил измерять свой нос? Что ты за человек? У меня просто руки чешутся накостылять тебе шею и вышвырнуть за дверь!

— Ну-ка попробуйте, дядюшка Сербадо!

Второй старик не проронил ни слова. Засунув большие пальцы за пояс, он молча выслушал весь рассказ, и только ноздри у него раздувались, а маленькие смуглые кисти рук непрерывно сжимались и разжимались, как когти хищной птицы.

Этот осмотр один за другим прошли все заключенные: их разглядывали, измеряли, фотографировали. Когда вызвали старого богача, он важно, с достоинством поднялся с места, поглаживая левой рукой окладистую бороду. Смерив презрительным взглядом тюремщика, он ткнул себя пальцем в грудь и гневно сказал:

— Это меня-то вызывают? Чтобы я позволил к себе прикоснуться? Чтобы меня осматривали и щупали? Вот я сам тебя сейчас хорошенько пощупаю!

Тюремщик отступил:

— Эй, эй! Что вы делаете?

— Что хочу, то и делаю! Понятно тебе, голодранец паршивый? Убирайся отсюда, продажная душа! Я приказывать, а не подчиняться, и никому, даже самому дьяволу, не позволю к себе притронуться!

Тюремный смотритель вышел, потом вернулся и вызвал другого старика.

Но этот не пожелал даже подняться с места. Вскинув на тюремщика черные, молодо сверкавшие глаза,

он только оскалится, как собака, которая собирается укусить, и жестом приказал ему отойти.

Так и не удалось их сфотографировать и измерить: строптивные старики не поддавались никаким уговорам. Кроме них, «необследованным» остался еще один заключенный — молодой вдовец, смешливый парень, большой шутник. Поначалу, не желая показаться трусливее стариков, он тоже отказался следовать за тюремщиком. Но потом вдруг закатился каким-то странным кудахтающим смехом и вышел из камеры.

Вернувшись, он весело сообщил своим товарищам:

— Ну, скажу вам, чего я только не наплел этому идиоту, который носы меряет. Сказал ему, что родители мои страдали падучей, а дед с ума спятил. Он был так доволен, словно я ему двух коров подарил!

Дни шли за днями. Стояла удушливая жара. Горячий ветер, проникавший в камеру сквозь решетку, приносил с собой запах горелого жнивья и леса, вызывая у этих людей, привыкших к борьбе с частыми летними пожарами, острые приступы тоски. Особенно волновался дядюшка Сальваторе.

— Пожар в Серра, — говорил он, нюхая воздух. — Горят, видно, мои дубовые рощи! О, чтобы вы все там сторели! — взрывался он в бессильной ярости, грозя кулаками в сторону решетки.

Когда возня с измерениями и фотографированием кончилась и заключенных оставили в покое, они снова затосковали. К счастью, в это время в камере появился еще один арестованный — стройный молодой священник, обвиняемый в потворстве бандитам. Принесенные им новости вселили бодрость в приунывших узников.

Новости эти звучали неправдоподобно, но было в них что-то эпическое, как в вестях с поля брани. По всей округе Нуоро было объявлено осадное положение. Солдаты наводнили города, деревни, поселки. Во всех домах царил страх. Бандиты, оттесненные с гор и изгнанные из лесов Нуоро, укрылись в зарослях Моргольяи, где они находились под естественной защитой скал и непроходимых кустарников. Но солдаты их окружили, и началась настоящая осада.

— Как-то ночью меня позвали к умирающей женщине, она хотела исповедаться, — рассказывал священник. — Я пришел. На кровати лежала женщина, заку-

танная белым платком. Только спустя несколько минут я догадался, что передо мной мужчина. Это был раненый бандит... Вот за это я и попал сюда... В эту хорошую компанию...

— А что, может, скажешь, в плохую? — заревел дядюшка Сальваторе, и священник уже никогда больше не сокрушался о своем бедственном положении.

Два дня спустя привели еще двух молодых людей, помещиков из Оротелли, закадычных друзей. Один из них, обратившись к заключенным, сказал:

— Вы уж, братцы, простите, если мы вас чуть-чуть побеспокоим. Гостиница переполнена, и вам придется слегка потесниться.

Его товарищ тоже был склонен немного пошутить.

— Да что это вы тут делаете в такой темени? — весело спросил он. — Пойдемте-ка лучше прогуляемся по Нуоро. Ну, пошевеливайтесь!

— Чтоб тебе провалиться! — выругался дядюшка Сальваторе. — Нечего издеваться над людьми, которые не сделали тебе ничего дурного.

— Шутки в сторону, лучше скажи, что там нового? — с тревогой спросил священник.

— Нового? Праздник на носу. Барашка уже зажали, — ответил весельчак, а потом подробно рассказал об осаде Моргольяи, закончившейся разгромом бандитов.

— Только одному удалось бежать. Он предал своих и тем спас свою шкуру. Он и подохнет, как Иуда, жалкий доносчик.

Новость обрадовала заключенных, вселив в них надежду на скорое освобождение. Но тут произошла странная сцена, поразившая всех: старик самодур, который в течение всего заключения сохранял важную и торжественную осанку короля в изгнании, вдруг рыдался, как ребенок.

— Что случилось? — спросил веселый вдовец, хлопав его по спине, как обычно хлопают детей, поперхнувшись слишком большим куском.

Оказалось, что не разгром бандитов вызвал у старика слезы стыда и гнева, а подлое предательство одного из них.

И снова потекли дни за днями. Но теперь заключенные с минуты на минуту ждали освобождения, и к ним

опять вернулось хорошее настроение. Священник, оказавшийся талантливым поэтом-импровизатором, читал свои стихи. Друзья из Оротелли рассказывали о своих невестах, восхваляя их красоту, богатство, скромность, но при этом ни разу не назвали имена девушек. И вдовец-балагур заметил:

— Ваши таинственные красавицы так похожи друг на друга, что поневоле начинаешь думать, уж не об одной ли девушке идет речь?

— А что, может, оно и так! — хитро переглянулись друзья, не отрицая предположения вдовца, и принялись играть в морру, чтобы решить, кому из них жениться на девушке.

Но ожиданиям и надеждам заключенных не суждено было сбыться. Дела их были переданы в суд. Эта новость вконец озлобила всех. Дядюшка Сальваторе пришел в такую ярость, что бил кулаками в стену, крушил ведра, скамьи, складные нары.

За несколько дней до того, как всех перевели в Сассарскую тюрьму (все тюрьмы Нуоро были переполнены), в камере появился еще один арестант. Заключение, которые уже никого больше не ждали, отнеслись к нему с подозрением. К новичку никто не подошел. Человек этот был им чужой: не их сословия, иного положения, настоящий барин, из «благородных», представитель той части сельской знати, которая даже летом ходит в костюме из толстого сукна, в котелке, но без галстука. Он был хорош собой — высокий, румяный, широкоплечий, только голова и пышные усы были у него совершенно седые.

Очувтившись в камере, он окинул присутствующих беспокойным и негодующим взглядом больших круглых глаз и тут же повернулся к двери, словно ожидая, что она сейчас же перед ним распахнется.

— Он похож на короля, — сказал вдовец-балагур. — Мне кажется, я его где-то видел.

— Если он король, мы ждем его приказаний. Ведь мы уже который день сидим на его харчах!

— Он из благородных, это кавалер дон Преду Де-испана, — вполголоса заметил один из веселых юношей. — Богач!

Тогда вдовец поднялся и подошел к кавалеру.

— Добрый день, дон Преду, почему вы не присоединяетесь к нашей компании? Проходите, будьте как дома.

Бедняга обернулся, взглянул презрительно на шутника и с достоинством ответил:

— Надеюсь, мне не придется к вам присоединиться. Я не собираюсь оставаться здесь долго.

Дядюшка Сальваторе насторожился: ему показалось, что в словах пришельца было что-то обидное. Он открыл уже рот, чтобы дать достойный отпор, но потом вдруг покачал головой и снова уселся на свое место.

— Ну, уж коль скоро вы попали сюда, — продолжал вдовец с преувеличенной любезностью, — прошу вас, располагайтесь!

И он указал на грязную скамью в глубине камеры. Арестованные разразились смехом. Но дон Преду словно ничего не замечал. Лишь одна навязчивая мысль преследовала его: снова увидеть открытой роковую дверь.

— Перестаньте упрячиться. Устраивайтесь лучше по-домашнему, расскажите, как вы сюда попали. Если это, конечно, не секрет.

Деиспана в конце концов, видимо, понял, что имеет дело с человеком своего круга, и удостоил вдовца ответом:

— Я оклеветан, как Христос. Надеюсь, что пробуду здесь недолго. С минуту на минуту должен прийти адвокат, который заберет меня отсюда. Я все равно не сяду... Так что не стоит меня просить. Я скоро уйду отсюда.

И тем не менее вскоре все заключенные покинули тюрьму, а он остался один в темной камере.

ХОЗЯЙКА И СЛУГИ

Чистое, как уста младенца, розовое легкое сияние полукругом озарило небо над холмом, когда тетушка Аустина Цатриллас поднялась с постели. Высокая, де-белая, с волосами, убранными под красный парчовый чепец, она напоминала Юнону суровым бледным лицом и сильными руками.

Петух второй раз прокричал во дворе, окруженном стеной колючих кактусов, и женщина вздрогнула при этом звуке, как апостол Петр в атриуме Понтия Пилата. Но когда петух пропел третий раз, Аустина была уже одета. Жесткий корсет поддерживал высокую грудь, красный лиф, затканый голубыми розами, был хорошо пригнан к широкой сборчатой юбке, из разрезов рукавов пышными ровными складками выглядывала рубашка, серебряный пояс туго стягивал полную талию. Одним словом, туалет выглядел так, будто на него были потрачены долгие часы.

— Ну, так что ты надумала, Аустина? — спросил муж, поднимая с подушки смуглое курносое лицо. — Что скажешь? Значит, ты решила повесить арендную плату за пастбище?

— Да, Даниэль, ничего не поделаешь! Налоги растут, и слуги требуют прибавки.

— Вспомни, Аустина, ведь ты уже три раза повышала мне арендную плату. Тридцать лет я твой муж, а все связан по рукам и ногам.

— Послушай, Даниэ, ты же знаешь, как выросли расходы и налоги. А я увеличиваю твой взнос всего на пятьдесят скудо, хотя мой брат дает мне за это пастбище на сто скудо больше.

Лицо мужа, прикованного к постели тяжелым приступом артрита, исказила гримаса боли.

— Ладно, покличь-ка парня. Пошлю его в овчарню, пусть скажет пастухам, чтобы перегнали стадо с моего пастбища на твое. Итак, Аустин, решено: пятьдесят скудо. А ты уж постарайся продать моего жеребенка подороже. Сегодня ночью мне снилось, будто я его объезжал.

— Будь покоен. Разве когда-нибудь я упустила твою выгоду?

Ощупав карман и убедившись, что ключи, наперсток, четки, деньги — все на месте, Аустина отправилась будить служанок. Она обычно запирала их комнату на ключ, особенно когда в доме были слуги-мужчины. Пройдя кладовую, где высились груды пшеничного и ячменного хлеба, похожие на колонны из слоновой кости и пестрого мрамора, она спустилась в просторную кухню. Был понедельник. Изрядно повеселившиеся накануне слуги еще спали, растянувшись на циновках вокруг очага. Сквозь дымовые отверстия в низком потолке в комнату проникали тонкие красные нити солнечных лучей. Все здесь напоминало бивуак: на закопченных стенах висели огромные самопалы, кинжалы в расшитых, украшенных бахромой ножнах, седла, уздечки, плащи из грубого сукна. Беспорядочными кучами громоздились на полу шерстяные переметные сумы, полосатые, как тигровые шкуры, кожаные мешки, патронташи, роговые пороховницы, куртки из овчины. Тут же, подле очага, в самых разнообразных позах, кто на боку, кто на спине, растянулись спящие. Они лежали, не сняв праздничной одежды, в красных и черных куртках, с напыженными волосами, в штанах из саржи, туго стянутых в талии кожаными узорчатыми поясами.

Слуги, всегда готовые исполнить любое приказание хозяйки, мгновенно вскочили на ноги, словно одного ее появления было достаточно, чтобы разбудить их. Старший — уже седой человек с длинной кудрявой бородой и живыми темными глазами — выглядел настоящим библейским мужем. А самый юный был похож на Аристея:¹

¹ Аристей — в древней мифологии, бог — покровитель стад и пастухов, который научил людей виноградарству и пчеловодству.

на оливково-смуглом лице ярко алели губы, черные косички были заложены за уши, а зеленовато-голубые глаза цветом напоминали листья тамариска, отражающие синеву полуденного неба. Аустина обратилась к нему:

— Садурру, сынок, ступай наверх, хозяин зовет.

Звонкие шаги Садурру гулко раздавались в еще темных комнатах и коридорах. У дверей, ведущих в комнату хозяина, он столкнулся с вышедшей оттуда молоденькой служанкой, и они набросились друг на друга со злобными ругательствами, как два смертельных врага.

— Послушай, парень, — сказал хозяин, в глазах которого вспыхнули яркие огоньки, — сходи-ка в овчарню и скажи пастухам, что я велел перегнать мое стадо на пастбище жены. Помоги им и возвращайся нынче же вечером. Да смотрите не бейте скотину, берегите ее, а то, знаете, жена снова увеличила мне арендную плату.

Юноша выслушал приказание молча, но когда пришел в овчарню, принялся подшучивать над странностями хозяев:

— Ведь муж и жена — это же все равно что два рога на голове козы, а они живут, будто чужие!

— Эй, парень, — сказал пожилой слуга, собиравший в дорогу шкуры и пробковые бутылки, — ты ведь нездешний, ты у нас всего несколько недель, а уже берешься судить о хозяевах!

— Слухами земля полнится!

— Много ты знаешь, черномазый! Ты меня спроси: я еще могу о них говорить: ведь уже тридцать лет я ем их хлеб! Так вот слушай: хозяйка моя женщина умная и честная. В пятнадцать лет ее выдали замуж за этого старого греховодника, и только на ней держится весь дом. Она следит за своим и мужниным добром, распределяется слугами. «Вот этот рулон шерсти мой, — говорит она нам, — а тот мужнин. Не спугайте!» Поэтому у них никогда не бывает никаких споров и деньги в одной шкатулке строго поделены на две части.

— Слух идет, будто это потому, — перебил его юноша, — что хозяин, покуда был в силе, любил погулять и, не стесняясь, брал общие денежки, чтобы побаловаться с другими женщинами. И еще рассказывают интересную историю, будто бы хозяйка в девушках лю-

била другого, Диэку Дилетала, и он, чтобы отомстить своему сопернику, который из-под носа увел у него девушку, взял и заколдовал его. После этого хозяин разлюбил свою жену...

— Вранье все это! — с сердцем сказал старый слуга, — ничего такого я не знаю. Знаю только, что госпожа моя ни на одного мужчину, кроме своего мужа, никогда и не взглянула.

— ...И будто тогда хозяин с целой процессией, с хоругвиями и крестом пошел просить святых снять с него заклятие. Но так как порчу наслал на него священник, то уж сделать ничего было нельзя. Так он и состарился, волочась за каждой юбкой, позабыв свою жену. Потому-то ей и пришлось утешаться на стороне.

— Уж лучше бы ты помолчал, змеиное твое жало! Ты ведь ешь их хлеб, — значит, нечего попусту языком болтать!

Но молодой слуга только злобно усмехнулся, и волчьи зубы его сверкнули на солнце, словно жемчужины.

В то время как под оранжево-голубым осенним небом пастухи гнали отары овец через зеленые и золотые пастбища, хозяин лежал на деревянной кровати, у изголовья которой на столике стояла бутылка вина, и думал о своих жеребятках, а хозяйка работала вместе со служанками. Мужчин в доме не осталось: нагрузив переметные сумы ячменными лепешками, они — кто верхом, кто пешком, кто в повозке — отправились одни в оливковые рощи, другие на поля — сеять хлеб.

Но хозяйство было большое, и служанкам, оставшимся дома, не приходилось сидеть без дела; одна сыпала мерками зерно в мельницу, другая разливала оливковое масло. Самая молодая из них — стройная и ловкая, с тонкой талией и крутыми бедрами — сновала босиком из кухни в спальню хозяина, поила, кормила его, развлекала деревенскими сплетнями.

Хозяйка попевала всюду. Спокойная и неторопливая, она держала в руках, унизанных тяжелыми перстнями, веретено и крашеную кудель. Говорила она мало, бесстрастно. Ни веселья, ни грусти не слышалось в ее голосе. Посетителей она принимала в просторной кухне, словно в тронной зале. Время от времени она под-

нималась в комнату мужа и, не переставая сучить пряжу, советовалась с ним по поводу хозяйственных дел, брала из шкатулки деньги или, наоборот, клала их туда.

В этот день через деревню проходили крестьянки из Олиены. Они принесли на продажу молодое вино в бурдюках, виноградное сусло, грубое сукно. Аустина отдала им ткать сученую пряжу и выменяла у них кусок холста на вытканную ею самой переметную суму — на ее белом фоне, яркие, как на восточных тканях, красовались красно-зеленые фламинго среди черных пальм.

Священник, ежедневно навещавший больного, застал женщин во дворе и остановился с ними поболтать. Потом он поднялся к старику. Мало-помалу комната дядюшки Даниэля заполнялась людьми. Пришли старые друзья и просто знакомые, которые не забывали больного, ибо он был богат и в погребке его хранилось доброе вино. Среди посетителей в этот день были и двое незнакомцев, приехавших покупать лошадь, и с ними еще не старый мужчина, темноволосый, крепкий, молчаливый. Священник говорил о тетушке Аустине, цитируя Книгу притчей:

«Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов.

Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка.

Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим.

Задумает она о поле — и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено.

Она делает себе ковры; виссон и пурпур одежды ее.

Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее».

Столпившись вокруг молодого священника, люди молча слушали. Из маленького окошка был виден зеленый холм в розовой дымке заката, и оттуда вместе с воркованием голубей лился в комнату аромат дикого тимьяна.

Диэку Дилетала смотрел на больного и время от времени встряхивал головой, словно отгоняя назойливую муху. Так вот он, его старый соперник! Что толку было в заклятии? Ведь все равно он прожил счастли-

вую жизнь, а теперь возлежит на своей постели, как одряхлевший король, могущественный и справедливый.

— О чем твои мысли, Диэку Дилета? — спросил старик, видя, что тот погружен в раздумье.

Диэку Дилетала поправил шапочку на темных волосах.

— Даниэль Цатри, вот эти люди хотели бы купить у тебя стригунка. Потолкуйте. Пожалуйста, обойдись с ними как с друзьями.

Старик лукаво улыбнулся.

— Ступайте к моей жене.

Трое мужчин спустились на кухню. Там, на широкой скамье, в окружении служанок, обдиравших пшеницу, восседала, словно на троне, Аустина.

— Аустина Цатри, эти люди хотели бы купить у тебя стригунка. Сколько ты за него хочешь?

— Сто скудо.

— Что ты, Аустина! Ведь это же не лошадь, а жеребенок!

— Ну и что же! Превосходный гнедой стригунок! Брат давал мне за него девяносто восемь скудо.

— Ну, полно, не дорожись! Ведь мы друзья Диэку Дилетала, — многозначительно сказал один из покупателей.

Женщина подняла тяжелые веки и поглядела на троих мужчин. В глазах ее вспыхнуло пламя, холодное и далекое, как сияние звезд.

На улице крестьяне столкнулись со священником, и тот стал подшучивать над Дилетала.

— Видать, она уже ни во что не ставит ваших друзей. «Уверено в ней сердце мужа».

Диэку с силой ударил кулаком по низкой каменной ограде.

— Эх, отец Фарра, стучаться в сердце такой женщины — все равно что стучать по камню.

Тем временем пастухи перегоняли скот на новое пастбище, продолжая перемывать косточки своим хозяевам.

— Вы у них в услужении поди уже тридцать лет и должны их знать, — не унимался Садурру. — Молодая служанка рассказывала мне, что в те времена, когда у

вас еще все зубы были целы, вы сами были влюблены в хозяйку.

— В нее были влюблены все мужчины, которые ее знали, многие пытались ее соблазнить, но она словно ничего не замечала! Прямо настоящая королева на троне. Вот, скажи по чести, разве она тебя замечает, черномазый? А ведь то, что ты в нее влюблен по уши, прямо написано на твоей грязной роже. А молодой служанке ты скажи, чтобы она прикусила свой длинный язык. Да посоветуй ей выбирать себе дружков среди ровни. Небось все эти тайны она выбалтывает, когда ночью ластится к тебе.

— А что? Хоть бы и так!

— Провалитесь вы оба в преисподнюю, дьяволы вы сущие!

Молодой слуга злобно усмехнулся, и зубы его в закатных лучах солнца вдруг стали розовыми, словно на них была кровь. Казалось, ему доставляло удовольствие бесить старика. И он добавил:

— Ну что ж, может, в молодости сила в ней и была, а теперь она, сами знаете, как солнце, клонящееся к закату, теряет эту силу.

Тут старый слуга не выдержал и пригрозил пожаловаться хозяевам.

— По твоим речам видно, что ты их ненавидишь. Значит, ты не смеешь есть их хлеб. И я добьюсь, чтобы тебя выгнали вон!

— Ха-ха, смотри, полегче, как бы тебя самого не выгнали!

Немного погодя старик сидел на пороге пастушьей хижины и что-то ворчал себе под нос. Молодой слуга уже пустился в обратный путь, и старик был мрачен, как осенний вечер. На сердце у него лежала тяжесть, злоба душила его.

— Тебе я, пожалуй, скажу, Джаннепре, — обратился он вдруг к оставшемуся с ним пастуху. — У моей хозяйки один недостаток: она терпит возле себя дурных людей. Но я лопну от ярости, если сегодня ночью не вернусь домой и не уговорю хозяйку выгнать вон этого проходимца.

— Помнится, какой-то древний царь говорил: «Если ярость овладела тобой вечером, оставь ее до утра».

Старик как будто успокоился.

В просвете между двумя большими дубами мерцал далекий горизонт, подернутый пеленой светящегося тумана, который в самой глубине отливал морской синевой, потом становился желтым, как песок, и, наконец, вспыхивал розовым, голубым, фиолетовым светом. Кроваво-красный молодой месяц опускался все ниже и ниже, словно его притягивала к себе стелющаяся над землей закатная дымка. Все вокруг — и недвижные, тихо шелестящие деревья, и громады скал, и кустарники, — все подернулось золотисто-черной пеленой и стало похоже на сказочную страну. По склонам гор там и сям накренились к земли дубы; казалось, они карабкались друг за другом к вершине и вдруг замерли на бегу, зачарованные красотой осеннего вечера. Чудилось, что таинственные тени, пропасти, неведомые опасности притаились в гуще лесистых склонов за каждой скалой. Зато там, куда проникал оранжево-зеленый свет закатного солнца, царили мир и покой. Сюда доносились звуки с пастбища, приглушенные и мелодичные. Звон колокольчиков на овцах, собиравшихся в стада, сливался со стрекотанием последних кузнечиков, лаем собак, с жужжанием еще не уснувшего жука, с щебетанием птиц, будто посылавших с дерева на дерево свои прощальные приветы перед сном.

Старый пастух внезапно поднялся и сказал своему товарищу:

— Пойду-ка я. Дело есть.

И он двинулся в путь. Он шел под дымчато-синим небом через серебристо-черные луга, еще озаренные ясным закатным светом. Двойственное чувство вело старика: любовь к хозяйке и ненависть к ее коварному слуге. Но было в этом чувстве еще что-то, чего он никак не мог понять, какое-то странное недомогание, похожее на то, что он испытал однажды после укуса змеи. Сумрачные тени, которые плыли в этот осенний вечер над пустынными тихими пастбищами, упали на его душу, накрыв ее своим мрачным крылом.

Дохнул вдруг холодный северный ветер, и луна померкла. Все вокруг погрузилось во мрак. Только далеко на горизонте, на высоком холме, виднелось несколько светящихся точек.

Старик прибавил шагу. Он шел с трудом, сгибаясь под бременем усталости и своих подозрений, как в те дни, когда тянул за собой на поводу больную или упрямую скотину.

Наконец он подошел к знакомому двору. За изгородью из кактусов чернел неосвещенный дом. Лишь над низкой крышей кухни разливался бледно-желтый свет. Старик снял башмаки, закатал повыше гетры и вскарабкался по столбу, поддерживающему деревянной сарай. Таким способом ему частенько приходилось лазить на деревья, чтобы нарезать листьев для скотины.

Яростно носился ветер, разгоняя дым, поднимавшийся из очага. Эта ночь была создана для любовников и воров, и старик, как заправский вор, полз по крыше, пока не добрался до отверстия над очагом.

Прямо под собой, сквозь густую завесу дыма, он увидел багровое пятно пламени, а у очага молодого слугу и хозяйку. Словно королева у подножья трона, сидела она на скамеечке перед высоким креслом, на котором мирно, как пара любящих супругов, покоились веретено и кудель. Пристально глядя на женщину своими кошачьими глазами, молодой слуга, посмеиваясь, пересказывал ей на свой лад разговор со стариком.

— Старик взбесился, как дикий кабан... А я ему говорю: разве можно не влюбиться в эту женщину с первого взгляда? Как не полюбить ее за добродетель? Я плохо сделал, что сказал так, да?

— Ты не должен говорить обо мне, — сурово промолвила женщина. — Я запрещаю тебе...

— Не могу я не говорить о вас... Мысли о вас не дают мне покоя.

— Ах, проклятый болтун, чтоб тебе сдохнуть! — выругался на крыше старик, едва удерживаясь, чтобы не плюнуть на голову притворщика. Юноша тем временем продолжал:

— Я только о вас и думаю, иной раз, чтобы завести о вас разговор, говорю о вас дурно. И радуюсь, когда другие начинают хвалить вас. Так и сегодня случилось. Вы можете прогнать меня, и я уйду куда глаза глядят, но всюду буду думать только о вас... А вы... вы... Что вы со мной теперь сделаете?

Женщина протянула руки к огню и внезапно задрожала, как в ознобе.

— Нет, я не прогоню тебя, — сказала она глухо. — Если гнать тех, кто нас любит, с кем же мы тогда останемся?

«И мне, и мне она когда-то так говорила!» — подумал старик. Ему казалось, что сквозь отверстие в крыше он видит свое прошлое. Вот он сидит на месте этого парня там, у огня, возле хозяйки; но в те далекие годы она не оставляла своего кресла и не выпускала из рук веретена, словно королева, никогда не расстающаяся со своим скипетром.

Другие были времена, другие люди. Он ни разу не посмел поставить свою скамеечку рядом с креслом хозяйки, не то что этот бесстыжий. А она никогда не позволяла брать себя за руку, как позволяет сейчас этому нахальному чужаку.

Старик на крыше громко кашлянул: он хотел, чтобы хозяйка услышала и поняла, что за ней следят. Но вой ветра заглушал все звуки, и люди внизу не слышали ничего, кроме голоса своей страсти.

— Аусты, Аусты, — шептал молодой слуга, придвигаясь все ближе и ближе. — Ты хорошо сделаешь, коли не прогонишь меня. Я стану твоим настоящим мужем. А потом старый хрыч умрет, и ты будешь свободна. Если ты не захочешь признать меня своим мужем перед алтарем — ну, что ж! Все равно я буду твоим настоящим мужем.

И она позволяла ему это говорить и разрешала ему прикоснуться к своей руке. Старик почувствовал, что еще минута — и свершится что-то ужасное. Но он ничего не мог поделать: ему чудилось, будто весь мир обрушился на него и похоронил под своими обломками. Ему казалось, что он уже мертв и перед ним разверзлись врата ада.

Что же делать? Крикнуть? Тогда она возненавидит его навеки. Спуститься, постучать в дверь? Но это только оттянет беду на несколько часов или дней. Коварные слова молодого слуги не выходили у него из головы.

«Может, в молодости у нее и была сила, но теперь она как солнце, клонящееся к закату...»

Старик быстро соскользнул по столбу во двор и изо всех сил стал колотить в дверь. Ему открыла сама

хозяйка. Она была бледнее обыкновенного, но, как всегда, спокойна и невозмутима.

Бросившись к очагу, старик схватил юношу за волосы, чтобы тот не мог улизнуть и выслушал все обвинения до конца.

— Аустина Цатриллас, посмотри на него хорошенько и запомни: это твой злейший враг. Он хочет обесчестить и погубить тебя. Он шляется по пастбищам и хвалится, что ты будешь его любовницей. Полюбуйся на него! Он говорит, что ты отравишь мужа, чтобы выйти за него замуж... Он любовник твоей служанки, и они строят козни против тебя. Посмотри на него...

Женщина подняла глаза, но лицо ее выражало лишь легкий испуг. Ни слова ни говоря, она подошла к слугам, чтобы разнять их, но не успела. Лицо юноши, который молча слушал старика, вдруг почернело и безобразно исказилось. С быстротой молнии он выхватил складной нож, открыл его и, пригнувшись, бросился на старика, заставив его отпрянуть назад.

— Люди, скорее сюда! — закричала Аустина.

Прислонившись к стене, старик смотрел на кровь, которую, казалось, источала его красная куртка: кровь проступала на ней чуть повыше пояса и струйками растекалась по ремню. Юноша, на лицо которого в беспорядке падали спутанные волосы, схватил шапку и кинулся к двери с громким криком:

— Он сам этого хотел... Будьте свидетелями... Он сам этого хотел.

И выбежал, оставив дверь открытой. Сквозь завывание ветра долго слышались его гулкие шаги.

Тогда женщина бросилась отпирать комнату служанок, которые, разбуженные шумом, уже вскочили с постели, меж тем как старик медленно сползал вниз по стенке и тихо кивал головой, будто поддакивал: «Да, да, я сам этого хотел».

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Проходя мимо, почтальон бросил на колени Аннарорзе, сидевшей, как всегда, на камне у ворот, газету и письмо. Газета была для студента. А письмо? Аннарорза не умела читать, но догадалась, что письмо от далекого жениха; от мятого конверта повеяло на нее знакомым грубым запахом плоти. Такой же терпкий запах исходил и от ворсистой куртки ее возлюбленного, и он не отталкивал девушку, — видно, потому, что был не чужд ей самой, несмотря на чистенькую черную кофту, новый темный платок, бросавший тень на хорошенькое смуглое личико, и синюю юбку, волнами струившуюся вокруг ее гибких бедер.

Несколько минут Аннарорза как будто впитывала в себя этот острый плотский запах, напомнивший ей уехавшего жениха. Склонив голову, она долго раздумывала, не решаясь подняться к студенту. Каждый раз какой-то стыд мешал ей делить свою тайну с чужим человеком. Раньше она поручала матери обращаться к студенту, и тот читал эти письма, но так как мать не одобряла выбора Аннарорзы, чтение сопровождалось всегда такими горестными причитаниями, что девушка решила обходиться без ее участия.

Опасливо оглядевшись по сторонам, она пересекла маленький круглый дворик, затененный огромной смоковницей, и поднялась по наружной лесенке в комнату студента. Хотя ее босые ноги казались отлитыми из бронзы, девушка ступала легко, с чисто кошачьей грацией. Однако студент, привыкший к тишине, все-таки уловил еле слышный звук ее шагов, похожий на слабое шуршание змеи в густой траве. Но когда девушка вошла в комнату, он даже не шевельнулся и не взглянул

в ее сторону. Крыши соседних домов, сверкали под лучами низкого закатного солнца, и их золотистый отблеск освещал стол, за которым сидел студент. Он вскрыл конверт и стал читать письмо ровным бесстрастным голосом, четко выговаривая каждый слог, как это делают дети. На листке бумаги было изображено сердце, пронзенное стрелой.

«Моя дорогая любовь!

Первым делом сообщаю тебе о своем здоровье, которое, слава богу, хорошее, чего и вам всем желаю. И еще сообщаю, что получил твое письмо от 20 июня, где ты пишешь, что твоя мать по-прежнему недовольна нашей помолвкой, хотя я и уехал из родных мест на чужбину, чтобы заработать немного денег и потом, с божьей помощью, жениться на тебе. А матери своей скажи, что потом она будет мной довольна. Ведь я из тех людей, которые своего добиваются. Уж если мне что-нибудь в голову засядет, не вышибешь. И человек я верный, не то что некоторые, — знаю я одного такого, который не пишет семье ни строчки и говорит, что в книге под названием Апокалипсис сказано, что любовь, отданная матери, украдена у господ бога.

Бога я уважаю, но на первом месте у меня семья. А хозяин, у которого я служу в пастухах, любит меня больше, чем родного сына, про которого говорит, что у него голова пустая. И молодой барин тоже любит меня, как брата, все мне рассказывает, даже о своих врагах. Он обещал взять меня в долю в одно дело, на котором я заработаю столько денег, что смогу купить стадо, а может, и дом, уж не считая свадебных подарков для тебя, — вот все рты поразинут от удивления и скажут, что я кого-то ограбил!

Дай бог тебе здоровья, и кланяйся твоей матери, моему жильцу-студенту, моему брату, твоим дядюшкам и тетушкам, всем родственникам и соседям, и вашему коту, и всем лисам, которые водятся в наших лесах.

Крепко тебя обнимаю и целую, любящий тебя *Фарина Портолу*».

— Возьми письмо да спрячь его подальше, — сказал студент желчным голосом и на мгновение поднял свое худое смуглое лицо с сердитыми глазами. — С него станет, еще начнет грабить на большой дороге.

— Ну и на здоровье, — беззаботно ответила Анна-роза. — Вы мне только скажите, сколько времени шло это письмо? С пятого июля? Вы правильно прочли? Сегодня у нас одиннадцатое. Значит, оно шло шесть дней. Ведь это слишком долго, как по-вашему? Неужто пастбище Терранова так далеко отсюда?

Но студент уже уткнулся в газету и не слушал ее. Анна-роза снова уселась у ворот и стала поджидать мать, которая ушла в соборную церковь помолиться святому Антонию. Она надеялась, что святой откроет ей, кто украл позолоченные пуговицы у ее бедной служанки, приехавшей сюда из чужих краев.

Письмо взволновало Анна-розу, и, сидя у ворот, она продолжала над ним раздумывать. Каждое слово врезалось ей в память, на каждом камне ей мерещилось сердце, пронзенное стрелой, и даже язвительные замечания этого полоумного студента не могли смутить радости ее безыскусной любящей души.

А студент тем временем занялся приготовлением ужина. В конце галереи, опоясывающей дом, стоял шкафчик и маленькая переносная печка: здесь была его кладовая и кухня. Студент разбил два яйца (яйца, хлеб и оливковое масло он получал из дому) и вылил их на сковородку.

Он не видел в этой стряпне ничего унижительного для себя, так как был убежден, что настоящий человек обязан обходиться без чужих услуг и служить примером другим. «Красота и правда жизни — внутри нас, — думал он, раздувая печурку, — так же, как золотисто-оранжевый желток и прозрачный белок находятся внутри грязной и бесполезной скорлупы. Надо лишь освободиться от скорлупы». И он считал, что разбил свою скорлупу, когда накануне получения сана священника отрекся от религии, не чувствуя в душе искренней веры, и поступил в педагогическое училище. Строгим наставником, суровым проповедником истины хотел он стать. Начал он с того, что подал в суд жалобу на приходского священника, непрерывно звонившего в колокол в день поминовения усопших. Потом, он пожаловался супрефекту на синдика¹, разрешавшего отбывшим наказание носить ножи.

¹ Синдик — здесь: деревенский голова.

Покончив с едой, студент умылся, подошел к окну и занялся своими ногтями. На землю опускался душный летний вечер. Внизу, в маленьком дворике, стиснутом каменными стенами домов, большая смоковница в сумеречном рассеянном свете отливала металлическим блеском. Клубившиеся на востоке тяжелые темные тучи, казалось, поднимались прямо с крыш, покрытых ржавым мхом; серое небо висело над самой землей, как на пейзажах Зулоаги¹. Студент любил этот печальный и живописный уголок, так напоминавший ему родной средневековый городок и полуразвалившийся, милый сердцу дом. Ему казалось, что он видит своего отца, дона Джаме Демураса, который, стоя ночью на балконе, невозмутимо полирует ногти, а старая почтительная служанка терпеливо светит ему, держа в руке старинную медную лампу.

Здесь люди совсем не такие: они грубы и суеверны, но к ним надо быть снисходительным. Однако он не может удержаться от презрительной гримасы, слыша, как его хозяйка неторопливо рассказывает дочери и соседкам о своей беседе со святым Антонием.

— Так вот слушайте, мои дорогие. Свечи в главном алтаре вдруг вспыхнули, как семь звезд, и тут вошли каноники, священники, дьяконы, семинаристы — одним словом, целая толпа. Да, скажу я вам, знак это — что пуговицы у Каллины украли ночью, и вор был свой. Аннаро, ну-ка скорее позови служанку, я хочу ей обо всем рассказать. Да что с тобой, сглазили тебя, что ли?

Аннароза молчала. Какое-то смутное чувство подсказывало ей, что она должна хранить свою драгоценную тайну так же бережно, как письмо на груди. Но внезапно что-то страшное и необъяснимое, как ночной кошмар, ворвалось в наивную болтовню женщин. Два карабинера с фельдфебелем во главе — высокие, мрачные, суровые — грозными тенями вынырнули из сумерек и застыли у ворот. Заставив Аннарозу с матерью подняться с места, они втолкнули их в дом, вошли сами и заперли за собой двери.

¹ Зулоага (Сулоага) (1870—1945) — испанский живописец, известный картинами с оттенком гротеска.

— Мы должны обыскать дом. Зажгите свет.

Мать истошно заголосила, словно ее резали, а Анна-роза мгновенно взлетела по лесенке наверх, втокнула в комнату выбежавшего на галерею студента и сунула ему в карман письмо. Потом дрожащими руками зажгла свет.

Строгий вид юноши внушил карабинерам почтение, и обыск не дал никаких результатов. Но на следующий день и еще много раз в течение нескольких месяцев женщин вызывали к судье и подолгу допрашивали, пытаясь узнать что-либо о Портолу Фарине.

— Он убил человека по поручению своего молодого хозяина. Тот успел скрыться, а Фарина арестован, и дело вашей совести — помочь правосудию разоблачить столь опасного преступника. Расскажите все, что вам о нем известно. Правда ли, что он уехал, чтобы заработать побольше денег и купить драгоценности? Расскажите, что было в последнем письме, прибывшем, как известно, в Нуоро вечером пятого июля, через три дня после убийства. Вы ведь люди верующие и должны думать о спасении своей души.

Так говорил судья. Мать плакала и божилась: она ровным счетом ничего не знала, да и святой Антоний сказал ей, что Фарина невиновен.

— Господин судья, он чист, как ангел небесный.

Анна-роза не защищала преступника, но и не обвиняла его. Она не плакала, о нет. Похудевшая, с запавшими глазами, с потемневшим, точно обожженным лицом, она молчала, храня на груди письмо, которое студент, уезжая на каникулы, вернул ей со словами: «Если у тебя есть совесть, ты должна отдать его судье». Анна-розе казалось, что листок жжет ее, как раскаленные угли, а стрела влюбленного сердца пронзает грудь. Но она предпочла бы скорее откусить себе язык, чем открыть свою тайну хоть единой живой душе. Даже матери она ничего не сказала.

По ночам Анна-розу мучили кошмары. Ей чудился Портолу, затаившийся в засаде, будто свирепый вепрь. Она видела, как он набрасывается на одинокого путника, видела, что под сокрушительными ударами голова жертвы раскалывается, как спелый красный гранат. Снилось ей, что Портолу возвращается домой, открывает

залитую кровью сумку и вынимает оттуда драгоценности и четки с золотым крестом...

В ужасе она отталкивает Портолу. Она согласна никогда в жизни больше не видеть его, но предать — нет, ни за что, скорее она повесится на дереве во дворе, как Иуда.

В октябре студент вернулся. Тяжбу с приходским священником он проиграл, и ему пришлось уплатить судебные издержки; а что касается синдика, то супрефект вдруг взял его сторону. Так что попытки студента направить ближнего на путь истинный кончились крахом, и теперь с еще большим рвением он взялся за свою миссию апостола.

Увидев Аннарозу, он сразу же спросил, передала ли она письмо судьбе.

— Нет, лучше умру, дон Джозе!

Он смотрел мимо нее и не видел страдающего лица мученицы, словно только что сошедшей с костра.

— Раз так, пропащая душа, тебе действительно лучше умереть. Ты что, не понимаешь, что, если он избежит наказания, он снова погрязнет во грехе? Ты выйдешь за него замуж, и вы наплодите кучу новых преступников.

— Я не пойду за него, разрази меня гром, не пойду! Дон Джозе, если даже люди помилуют его, бог на том свете его все равно накажет!

— Бога нет, несчастная! Царство божие должно наступить здесь, на земле. Но если мы не будем стремиться к правде и справедливости, кто же тогда вырвет плевала с наших полей? Послушайся меня, Аннаро отдай письмо судьбе!

Аннароза была девушка тихая и незлобивая, но слова студента вызвали в ней такую ярость, что, спускаясь по лестнице, она отплевывалась и строила злобные гримасы. Однако какая-то неодолимая сила снова влекла ее наверх, в скромную и уединенную, похожую на монашескую келью, комнатку, где студент часами простаивал у окна. На фоне желтых крыш и фиолетового осеннего неба четко вырисовывалась его крупная темноволосая голова, так напоминавшая головы святых, — старинные деревянные изваяния полу византийского, полу варварского происхождения, — которые часто можно встретить в сардинских церквушках.

Под разными предлогами Аннароза то и дело поднималась наверх, и, если студент не заводил разговора о «том деле», она испытывала смутное недовольство.

Однажды он ей сказал:

— О чем ты думаешь, несчастная? Если ты не отдашь судье письмо, я пойду к нему сам и расскажу ему всю правду.

— Вы хотите убить меня, дон Джозе!

— Лучше умереть, чем жить во грехе и погрязнуть во лжи.

В конце концов, устав увещевать девушку, студент решил обратиться к матери. Как-то раз он позвал ее к себе и попытался растолковать суть дела на том языке, который, по его мнению, только и был ей понятен.

— Ваша дочь больна. Она носит на груди то проклятое письмо, в котором Портолу пишет о своем преступлении. Заставьте ее отдать письмо судье, и вы увидите, что она снова обретет покой и здоровье.

Услышав страшное известие, женщина так побледнела, что студенту пришлось побрызгать ей в лицо водой, чтобы привести в чувство. Вслед за этим разыгралась ужасная сцена между матерью и дочерью, и та, испугавшись, что в конце концов твердость ей изменит, сожгла роковое письмо.

И тут случилась странная вещь. Как и предсказывал студент, расставшись с письмом, девушка вдруг успокоилась. Она снова ожила и расцвела, как расцвела вокруг природа после долгой нуорезской зимы. С приходом весны людские страдания как будто смягчились, словно чья-то милосердная рука смазала раны целебным бальзамом. Но, увы, этот бальзам был из тех, что приносят лишь временное облечение: утихшая на мгновение боль вспыхивает потом с новой силой.

Надвинув платок на самые глаза, Аннароза теперь снова часами сидела у ворот и рассеянно грызла бобы. Мать уже свыклась с мыслью об их несчастье и говорила о нем спокойно и смиренно. У нее появились новые планы насчет будущего Аннарозы, и она то и дело забегала к студенту, заботливо осведомляясь, прошла ли у него головная боль, не нужно ли ему растопить печку или выстирать носки, — Аннароза все сделает.

Да, дорогие мои читатели, сердце матери волновали честолюбивые помыслы. Ведь недаром, в то время как

она возносила молитвы святому Антонию, ее глазам предстал благородный синьор, молившийся перед часовней, где совершаются брачные обряды, а рядом с этим синьором стояла молоденькая крестьянка.

Суд над Фариною должен был состояться в начале июля, а в июне ему удалось переслать Аннарозе записку. Получив письмо, девушка, не колеблясь и не раздумывая, повинувшись той странной силе, которая влекла ее наверх, точно в исповедальню, поднялась к студенту. Преступник нежно благодарил Аннарозу за хорошие показания, выражая надежду скоро вернуться домой и обещая сделать ее счастливой.

— Видишь, несчастная! Он подарит тебе драгоценности, залитые кровью убитого, — в точности так, как ты видела во сне! И тебе придется делить свое ложе с разбойником.

Вся в слезах, Аннароза выбежала из комнаты студента и столкнулась с матерью, которая поджидала ее на галерее. Облокотившись о перила, они долго смотрели на пышущий жаром дворик, в котором был разлит аромат цветущей смоковницы. Аннароза плакала, и слезы ее падали вниз, как в глубокий колодец.

— Ну, почему этот сумасшедший всегда так со мной разговаривает? — всхлипывая, лепетала она.

А мать шептала:

— Дурочка, он просто любит тебя, вот и все.

Спустя несколько дней их снова вызвали в суд, и там мать в конце концов проговорила. Аннароза продолжала молчать до тех пор, пока ей не пригрозили тюрьмой. Тогда она поднялась с места и, осенив себя крестным знаменем, сказала:

— Да, я получила письмо, но читать не умею и, по совести, даже не могу сказать, что там было написано. Только дон Джузеппе Демурос знает истинную правду.

И Портолу Фарина был осужден на тридцать лет. Аннароза покинула суд, не выдержав отчаянного взгляда подсудимого: ужас и жалость раздирали ее сердце. А когда она узнала о приговоре, рухнула на землю и три дня пролежала без движения. Она не спала, не умывалась, не прикасалась к еде. Приходили соседки и склонялись над нею, как над больной. Мать убивалась, и ужас смерти витал в маленьком дворике, где, как верный страж, стояла мрачная смоковница.

А дон Джузеппе Демурос в своей комнатухе денно и ночью готовился к дипломным экзаменам. Всякий раз, выходя во дворик, он видел Аннарозу, распростертую на раскаленных солнцем камнях. Неподвижная, почерневшая, лежала она, словно тень, на золотом квадратном ковре, и он не решался подойти к ней. В конце концов мать не выдержала:

— Да поговорите же с ней, дон Джозе. Видите, какая она стала! Умрет ведь. Так-то вы ей добра желаете!

Окинув женщину высокомерным взглядом, студент, скрестив руки на груди, приблизился к неподвижному телу и произнес:

— Встань, Аннароза!

И та поднялась, как Лазарь при звуке голоса Христа. Но едва студент отошел, Аннароза опять скорчилась на земле, уткнувшись лицом в колени, и матери пришлось снова звать его. Он внял ее просьбе и терпеливо утешал девушку, испытывая все-таки некоторые угрызения совести.

А время шло, постепенно все успокоилось, и жизнь вернулась в свою колею. Мать с надеждой поглядывала на студента, ожидая от него решительного слова. Но наступил канун его отъезда, а он все еще не объяснился. К вечеру он позвал Аннарозу и попросил уложить его зимнюю одежду.

Сначала мать в тревоге поджидала дочь во дворе, но там было жарко, и она перешла на лестницу. Но здесь ей тоже было не по себе, и она поднялась на галерею. Оттуда она услышала, как тихо и мирно, словно путники в дороге, беседовали студент и Аннароза.

— Если меня пошлют далеко, скажем, в Соргано или Бауней, кто знает, когда я вернусь в Нуоро. Может, никогда... Прощай, Нуоро.

Прощай, прощай, Нуоро,
Я возвращусь не скоро,
Когда воскреснут мертвецы,
Тогда вернусь в Нуоро...

— Желаю вам удачи, — говорила простодушная Аннароза, — бог да благословит вас, не забывайте меня!

— Буду помнить, пока жив, — серьезно ответил студент. Однако ни о печальном прошлом, ни о будущем, о котором мечтала мать, он не проронил ни слова.

Раздосадованная, она вошла в комнату и осведомилась, когда же студент намеревается уезжать. Аннароза стояла на стуле перед шкафом. Она обернулась, удивленно поглядела на мать и сказала:

— Завтра. Разве вы не знаете?

— Ты лучше помолчи, дурочка, и ступай-ка отсюда. Верно, мало он тебя обидел?

Мать дернула стул, на котором стояла Аннароза, а когда девушка спрыгнула на пол, вытолкала ее из комнаты. Студент молчал и ни во что не вмешивался. Собрав все свои вещи, он, не мешкая, вышел из дому. Денег у него было мало, только на дорогу, и поэтому он решил провести ночь под открытым небом: почтовая карета должна была прийти рано утром.

Землю окутали мрачные сумерки, как и в тот день, когда пришло письмо от Портолу Фарины. Однако черные тучи заволокли горы и небо лишь на севере Барбаджи ди Оруне, а на востоке и юге утренняя дымка уже золотила суровые скалы Оргосола и голубые горы Олиены. Яркая радуга протянулась между ними, и казалось, что с неба льется широкая светлая река.

ТРИНАДЦАТЬ ЯИЦ

В народе есть своя знать и свой плебс и, так же как в аристократической среде, встречаются разорившиеся семьи, которые стремятся поправить пошатнувшиеся дела выгодными браками. Немало молодых людей просто-го происхождения мечтают облагородить свое потомство, породнившись с подобными «аристократками», немало девушек приносят себя в жертву семейным интересам, немало и корыстных родителей, которые не прочь половить рыбку в мутной воде.

Когда-то зажиточная и всеми уважаемая семья Палас после многих лет тяжелых лишений надеялась снова встать на ноги, выгодно пристроив свою дочь Мадалену.

Сидя на солнышке в уголке немощеного дворика, похожего на узенький проулок, Мадалена и ее мачеха усердно шили мужские гетры из грубого сукна и без умолку говорили о предстоящем замужестве девушки. Мачеха, неопрятная и тучная, но еще не старая женщина со свежим лицом и большими черными сверкающими глазами, беспокойно ерзала на своей скамеечке, и рука ее быстро мелькала в воздухе. Игла и наперсток ярко блестели в солнечных лучах. Мадалена же, хотя и казалась девушкой живой и нервной, сидела, не шевелясь. Ее овальное, как яйцо, личико, обрамленное кромкой темного платка, было бледным.

— Помни, доченька, род наш благородный, — внушала Мадалене мачеха. — Время и судьба могут вертеть человеком и так и этак, но происхождения не скроешь, оно всегда скажется. Белый хлеб останется белым и в

суме нищего, а родник не замутился, даже если из него напьются свиньи. Ты ведь знаешь, золотая моя, что деда твоего за силу и властность прозвали «Железной рукой». Но что поделаешь, времена изменились, и твоим братьям пришлось податься в Америку вместе с другими такими же обездоленными, как они. И все-таки мы — это мы, Мауро Пинна всегда останется Мауро Пинна, сыном разбогатевшего каменотеса, а ты, даже если выйдешь за него замуж, всегда будешь дочерью Франческо Мариа Палас.

Мадалена молчала. Она лишь поднимала на мачеху лучистые, цвета меда, глаза, поправляла белыми пальцами бретельки своего корсажа из зеленоватого бархата и шелковый шнурочек, украшавший длинную с голубоватыми жилками шею. Казалось, что она только что пробудилась от крепкого сна. Мимолетные тени скользили в золотистых глазах, словно в них отражались проносящиеся над ее головой ласточки.

— Ты, доченька, еще молода и не знаешь одной важной вещи: люди нашего круга хитры и смекалисты, а выскочки из простых — глупы и доверчивы. Помни, золотая моя, ты госпожа в своем доме, а Мауредду лишь твой слуга. Корми его ячменными лепешками и постным творогом, а отправится он в поле пахать или сеять — целый день вари себе кофе, пеки слойки да сладкие булочки, только прячь подальше. Помяни мое слово, он ничего не заметит.

Эти рассуждения мачехи звучали для Мадалены очень убедительно, тем более что семья Палас, несмотря на свое «аристократическое происхождение», в это чудесное, но еще далекое до нового урожая время года жила впроголодь. Мачеха сначала взяла в долг под большие проценты полмеры зерна, потом заложила за три лиры свою серебряную брошь филигранной работы, и, наконец, настал день, когда волей-неволей ей пришлось спуститься в долину за укропом и дикой редькой.

Мадалена совсем не выходила из дому, но весна добралась и до их дворика, покрыв стены вьюнками и цветущей толокнянкой. На крыше дома колыхались под апрельским ветром метелки пырея и стебельки овса, и казалось, что они нежно ласкают синее небо, простиравшееся над шерботой черепицей. Порой бедной Ма-

далене мучительно хотелось есть. И тогда она начинала думать о Мауредду Пинна, о его запасах сала, сыра, пшеницы. Подняв отяжелевшие веки, она глядела на апрельские белесоватые облачка мутным взором выздоравливающего, изголодавшегося больного.

В канун троицы Мауредду сделал Мадалене предложение. Сваха долго толковала с мачехой.

— Мауредду Пинна? Да он, можно сказать, живет, как король! У него всего вдосталь: волов, повозок, виноградников, семян. И родни у него нет, некому позариться на его добро.

— Ну, знаешь, падчерица моя сама настоящее сокровище, — гордо ответила мачеха. — Ведь она из хорошей семьи, и руки у нее золотые. Твой Пинна может быть богаче короля, а вот девушки такой ему нипочем не сыскать.

Так или иначе, но предложение было принято, и однажды вечером Пинна нанес первый визит своей невесте. Мадалена, сидя у огня, что-то шила, а ее отец, благообразный мужчина с тонкими чертами лица и рыжеватой бородкой, растянувшись на циновке, беседовал с женой, сдобривая разговор всякими шутками да прибаутками.

— Так вот, жена, я тебе точно говорю: королевская карета всегда догонит зайца. Преступнику кажется, что хитрее его не сыщешь. И он бежит, петляет, как заяц, но король, вернее сказать, его правый суд потихоньку-полегоньку следует за ним по пятам и рано или поздно все равно настигнет.

Внезапно Мадалену ударило в грудь что-то похожее на резиновый мяч: вздрогнув, она подхватила апельсин, положила его на колени и, подняв испуганные глаза, увидела над антипетусом (специальный заслон между очагом и дверью) черную бороду жениха. Он бросил апельсин, чтобы дать знать невесте о своем приходе, и теперь беззвучно смеялся над ее испугом, показывая длинные острые зубы, сверкавшие между черными усами и бородой.

— Добро пожаловать! — сказала, вставая, мачеха. — Чего же ты не заходишь?

Мауро вошел. Маленький, кривоногий, в новой куртке с откинутым капюшоном, он был похож на средневекового шута.

— Присаживайся! — сказал будущий тесть, не поднимаясь с циновки, и ногой подтолкнул к нему скамейку.

— Не затем я пришел, чтобы засиживаться, — ответил жених, но все же присел и сидел битых два часа, ни разу не взглянув на Мадалену, и та, в свою очередь, тоже не подняла на него глаз. Она продолжала шить, и апельсин на коленях жег ее, как головешка. Поговорив о своих посевах, о своих волах и виноградниках, пересчитав с мачехой и тестем доходы соседей, жених удалился.

— Он, конечно, не ахти какой красавец, но очень любезен, да и, видать, сердце у него доброе, — заметила мачеха.

— Красавцы только для картин хороши, чтоб на стену вешать. А живому мужчине незачем быть красивым, — добавил отец и улегся, подложив под голову вместо подушки свой вязаный колпак.

Мадалена молчала, перебрасывая апельсин из одной руки в другую. Потом встала, положила его на лавку антипетуса и вышла во двор. Над крышей, из-за черных стеблей овса, поднимался молодой месяц. Вдали раздавалась любовная песня, звонкая и страстная, как дикое ржанье жеребенка по весне. Из кухни тянуло запахом апельсина, которым преспокойно лакомилась мачеха, бросая в огонь кожуру. Мадалена вытерла рукавом рубашки навернувшиеся на глаза слезы.

С тех пор всякий раз, когда жених появлялся, еще с порога он швырял своей невесте апельсины, груши, орехи, не преминув заявить, что зашел на минутку. Однажды Мадалена вколотила в скамеечку, куда имел обыкновение присаживаться Мауредду, три маленьких гвоздочка, острием кверху, надеясь, что, напоровшись, тот наконец поймет, как он ей ненавистен, и потеряет охоту приходить. Мауредду действительно накололся на гвозди, но промолчал и, как ни в чем не бывало, по-прежнему продолжал навещать к ним. Только теперь, вместо того чтобы садиться на скамеечку, он прислонился к антипетусу.

Свадьбу сыграли после уборки ячменя. Стояла жара, но невеста была бледна и холодна, как ледяная статуя. Новые соседи Мадалены, недовольные ее замкнутостью

и надменностью, стали злословить и осуждать ее и прозвали даже «святой ледышкой».

Как-то осенью Мауредду отправился в поле пахать. Молодая жена осталась в доме одна. Она не могла оторвать глаз от мешков с ячменем, бобами, пшеницей, ей казалось, что все это сон. Мачеха каждое утро заходила к ней после мессы и говорила:

— Не мешало бы тебе жирку набраться. Муж будет еще крепче любить. Разве у тебя нет яиц, чтобы сделать себе запеканку?

Что и говорить, у Мадалены запасов было хоть отбавляй, но, чтобы купить сладостей, нужны были деньги, а где их взять? Однажды мачеха заметила, что в ларе образовалась дыра и из нее сыплется зерно.

— Послушай, золотая моя, продай-ка ты пшеницу и купи себе на эти деньги яиц и сахару. А мужу скажи, что все зерно растащили муравьи. Ум у него короткий, он всему поверит.

Мадалена так и сделала. Накупив яиц, сахару, шоколаду, она испекла печенья, сладких булочек, наготовила всяких лакомств с изюмом и сиропом.

За пшеницей настал черед ячменя.

— Скажешь мужу, что ячменем ты подала милостыню нищенствующей братии из монастыря святого Козимо и святого Франциска.

Потом они разделались с оливковым маслом, а вино разбавили водой. И сыру тоже не повезло: его съели мыши.

Наконец пришел день, когда Мадалена сказала:

— Хватит. Я уже достаточно располнела.

И действительно, ее нельзя было узнать: на загорелом лице пылал густой румянец, а глаза блестели, как две звезды на темном вечернем небе.

Кровь с новой силой забурлила в ее жилах, и она почувствовала прилив необычайной энергии. Когда муж вернулся, она сумела так ловко заговорить ему зубы, что он поглядел на нее с уважением и подумал: «Видать, она становится благоразумной и рассудительной, как ее мачеха».

Наутро, в понедельник, Мауредду снова двинулся в путь, нагруженный тяжелой сумкой с провизией. Увидев его, соседки, идущие к фонтану за водой, засмеялись и спросили:

— Что, Мауредду Пи, небось вкусных вещей тебе жена наготовила?

— Ну, вкусных. А вам-то что до этого?

— Да так просто. Ведь пока тебя нет, она себе во всем отказывает, значит, и тебе не мешало бы по-поститься.

— Вся жизнь крестьянская — сплошной пост, — отрезал Мауредду и снова двинулся в путь медленным шагом смертельно уставшего человека.

Беспорядочно громоздились тяжелые косматые тучи над горами Альбо и Пиццину, все небо над долиной от Оруне до Нуоро потемнело, как в сумерки. Казалось, что и по лицу Мауредду пробегают мрачные тени.

Мауредду считал себя человеком очень хитрым и ловким и думал, что все должны его уважать, особенно после женитьбы на Мадалене. Так почему же соседи поднимают его на смех, намекая на жену? Что это значит? Говорят, она постилась? Может, они хотели сказать, что в его отсутствие она лишена мужниных ласк? Раз они злорадствуют, стало быть, Мадалена не очень-то этим огорчается?

Спустя несколько дней Мауредду неожиданно-негаданно нагрянул домой. В очаге пылал огонь, и Мадалена жарила на вертеле добрый кусок жирного мяса.

— А у нас гость, — немного смутившись, сказала она, — твой дружок Джуанне Цикина. У него тяжба с братом, вот он и приехал.

— Милости просим. Хорошо, что ты принимаешь его с честью.

Вскоре в кухне появилась мачеха, озираясь и пригнувшись, как собака, идущая по следу.

Падчерица встретила ее очень холодно и даже не предложила сесть. Мауредду полдня прождал гостя и, не дождавшись его, решил двинуться в путь. Волы все это время оставались на пастбище без присмотра, а Мауредду знал, что вор, видя беспризорную скотину, охотно берет на себя роль хозяина.

Перед уходом он спросил Мадалену:

— А как ты ладишь с соседями?

— Ну, знаешь ли, они — мне не компания, — ответила она, сделав презрительную гримасу.

Муж ушел, не дерзнув больше задавать вопросы.

Однако, когда он остался один, им снова овладели сомнения и мрачные мысли: ведь именно в одиночестве дьявол подстрекает человека, как хозяин погоняет стрелом сонных быков, чтобы заставить их идти быстрее.

Мауредду шел все дальше и дальше. Стояло чудесное декабрьское утро. Голубоватая дымка, словно вуаль, спускалась с неба, окутывая землю. Куда ни глянь, всюду торчали голые, будто полированные, камни и утесы. На каждом стебельке травы дрожали жемчужные капли росы, и желтые листья на черных дубах горели, как золотые монеты.

Вдруг вдали, на тропинке, пересекавшей долину, Мауредду увидел всадника. На голове у него был капюшон, за спиной самопал. Мауредду узнал своего друга Джуанне Цикину, направлявшегося в Нуоро, чтобы разрешить затянувшуюся тяжбу с братом. Мауредду не стал дожидаться друга. Однако тот быстро нагнал его, и остаток пути они уже проделали вместе — Цикина на лошади, Мауредду пешком. Цикина рассказывал ему о своей тяжбе и называл брата «новым Каином» за то, что тот захватил участок земли, находившийся в общем пользовании. Мауредду мрачно слушал его жалобы, бросая на всадника злобные и насмешливые взгляды.

Джуанне Цикина, крестьянин лет около пятидесяти, был очень хорош собой: высокий, румяный, с белыми зубами, густой черной бородой и блестящими глазами. В седле он сидел ловко и прямо. У пояса его висел патронташ, на гетрах были шпоры.

Рядом с ним Мауредду чувствовал себя жалким и неуклюжим. И коварная мысль, из тех, что нашептывает дьявол, вдруг промелькнула у него в голове.

Когда Мадалена увидела обоих мужчин, она нахмурилась, но ничего не сказала.

— Подсаживайся ближе к огню, Джуанне Цикина, — сказал Мауредду. — Сейчас жена напоит и накормит нас, ну а потом ты пойдешь в суд спокойно, как сытый волк.

Поздоровавшись с Мадаленой, гость уселся возле очага и продолжал свой рассказ:

— Так вот, браток, значит, этот новоявленный Каин захотел присвоить себе даже источник, расположенный на этом участке. Ты скажешь, что источник

принадлежит нам обоим, вот послушай, я тебе все сейчас объясню.

Он взял ствол старого самопала, который служил для того, чтобы раздуть огонь, и стал чертить в углу очага что-то на куче золы.

Мадалена, которая в это время собирала мужу корзину с провизией, подошла к очагу и с каким-то странным беспокойством посмотрела на гостя. Казалось, она была живо заинтересована и его рассказом и рисунком, который он старательно вычерчивал на куче золы.

— Так вот, проклятому Каину захотелось присвоить себе этот участок, видишь? Рощу и пастбище, где растет золотоголовник. А мне он собирался оставить только заливной луг. Я и скажи ему: «Братец, все мы смертны, давай лучше миром уладим это дело...» А он ни с того ни с сего взял да набросился на меня... Мы были как раз у этого чертова источника, иначе его не назовешь... Я закричал, и хорошо сделал, сбежались пастухи, а то бы этот Каин просто придушил меня, как тот, из Библии, что брата своего прикончил.

— Ах, господи! — испуганно воскликнула Мадалена, вырывая из рук Цикины железный ствол.

Мауредду тоже побледнел и с беспокойством взглянул на гостя. Но тот вдруг расхохотался, показывая крепкие, как у волка, белые, частые зубы. Потом встал и сказал:

— Ну, а теперь пусть судья этим займется. Я иду прямо в суд.

Едва он закрыл за собой дверь, Мауредду вскочил как ужаленный и набросился на жену, как «новый Каин» на своего брата.

— А, так, значит, ты путаешься с чужаками! Ты снюхалась с этим старым кабаном, паршивая тварь, а я-то подобрал тебя голую-босую!

Мадалена не дрогнула, не покорилась. Она только уперлась руками в грудь мужа, стараясь его оттолкнуть. На ее мертвенно-бледном лице, как угли, горели глаза:

— Только с голоду я и пошла за тебя, урод проклятый! Ноги у тебя кривые, да и ум под стать! Оставь меня в покое!

Жестокая улыбка заиграла вдруг на ее мрачном лице. Она наклонилась над очагом и из груды золы, на которой Цикина чертил план своего участка, вытащила

сначала два, потом пять и, наконец, все тринадцать яиц.

— На, полюбуйся, — протянула она ему, не разгибаясь, два яйца. — Я вышла за тебя, чтобы есть досыта. Я пустила по ветру все твои запасы масла и зерна, чтобы купить себе кофе, яиц и печенья. Спасибо мачехе, это она меня надоумила. Вместе мы обирали и объедали тебя. Но мне это надоело. Теперь я хочу лакомиться одна, а мачеха, чуть приходит, начинает рыскать по всем углам. Вот я и спрятала яйца, не хотела, чтобы она их видела... Да и ты тоже! А тем более гость, ведь он поднял бы нас на смех!..

Муж слушал ее, онемев от изумления. Вдруг Мадалена подскочила к нему и стала швырять яйца прямо ему в голову.

— Вот тебе, ублюдох паршивый, вот! Ты бросал в меня апельсинами, так получай же! Тогда я лопнуть готова была от ярости, но стоило мне на тебя взглянуть, как меня разбирал смех. На, получай! Ступай жалуйся мачехе, коли недоволен. Негодяй, ты еще смеешь обращаться со мной, как с ровней!

Яйца разбились о голову бедняги: ярко-желтая масса залила ему лицо и грудь, длинные нити белка стекали по одежде прямо на пол. Нагнув голову, мыча, как теленок, Мауредду бегал по кухне и вытирал глаза рукавом рубахи — точно так же, как это делала Мадалена в вечер их помолвки.

ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

В предпоследнее воскресенье карнавала в разгар веселья по деревне разнеслась печальная весть: умирает донна Мануэла Кабрас. В это время на площади ряженные в масках быков и медведей отплясывали под аккомпанемент заунывных криков какой-то дикий танец. Собравшаяся вокруг толпа, услышав ошеломляющее известие, мгновенно распалась на несколько групп и живо принялась обсуждать это событие. Донна Мануэла была самой богатой, самой щедрой помещицей и вместе с тем самой большой сутягой в округе. С кем только она не судилась: с соседями из-за окон и стока дождевой воды, с окрестными жителями, оспаривая их право проходить по ее пустующим землям, с церковным приходом из-за маленькой часовни, апсида которой выходила в ее двор. Священники и богачи ее ненавидели, а бедняки любили, ибо она тайком им помогала.

К их числу принадлежал и деревенский почтальон, который с озабоченным видом пересекал площадь, держа в руке письмо. Как быть? Он хорошо знал этот твердый почерк, эти тщательно выписанные, словно напечатанные буквы. Письмо было от претора, жениха дочери донны Мануэлы. Передать его сегодня или лучше отложить до завтра? Задумавшись, он прошел мимо часовенки, закрытой по случаю тяжбы, и остановился, нерешительно поглядывая на окна донны Мануэлы. Дом и часовенка, обращенные к долине, стояли на крутом склоне горы. Обе постройки были старинные, еще времен пизанцев, и, вероятно, принадлежали одному владельцу, что и хотела доказать донна Мануэла. Все двери в доме были плотно закрыты, и лишь большие ворота, ведущие во двор, время от вре-

мени распахивались, пропуская слуг с растерянными лицами.

Почтальон остановил проскользнувшую мимо служанку.

— Ну, как?

— При смерти. Долго не протянет. Толста уж она больно.

— А как донна Мануэллита? Тут ей письмо пришло. От жениха.

— В следующее воскресенье венчаться должны. Все уже готово. Теперь не знаю, что будет...

Взяв письмо, служанка повернула обратно и вошла в мощный камень, поросший травой двор, над которым в печальном и светлом февральском небе, каркая, носились стаи иссиня-черных ворон, поднявшихся из долины. Преклонив колена на каменных ступеньках часовенки, служанка наспех перекрестилась и побежала отдавать письмо.

В низенькой беленой комнате, где лежала умирающая, находились священник, врач и несколько женщин в крестьянской одежде. Донна Мануэла — огромная, толстая, с отеком красным лицом, лежала на деревянной кровати под белоснежным покрывалом. Голова ее была повязана темным платком, парализованное лицо искажено гримасой. Казалось, что деспотичная старуха и во сне продолжает над кем-то глумиться. Рядом с ней донна Мануэллита, тщедушная, бледная, в темной кофточке, застегнутой на все пуговицы до самого горла, выглядела маленькой испуганной девочкой.

Увидев служанку, она вздрогнула, но не двинулась с места. Потом взяла письмо и положила его на ночной столик под медный канделябр.

— Почему вы не читаете письма? Читайте! — шепотом сказал доктор.

Но невеста отрицательно покачала головой. Какое значение мог иметь этот зов жизни перед лицом надвигающейся смерти?

Вскоре все ушли, и девушка осталась в комнате одна. Матери как будто полегчало, и она задремала. Вечернюю тишину нарушали лишь гортанные тоскливые крики ряженных, и казалось, будто они доносятся сюда из долины, из мрачных пещер, где, по народному поверью, все еще обитали великаны и карлики.

Девушка осторожно взяла письмо и на цыпочках подошла к окну.

Письмо было длинное, такого длинного письма она еще ни разу не получала от своего не слишком пылкого жениха, с тех пор как его перевели по службе и он уехал из их деревни. Она читала его невнимательно, бегло перескакивая через строчки, торопясь скорей дойти до конца. У нее было такое чувство, будто она спускается с горы в глубокую долину, прыгая со скалы на скалу, и вдруг, поскользнувшись, летит в пропасть и разбивается об острые камни. В ушах ее еще гудел ветер, и разбитое тело сковывал ужас и смертельный холод.

Жених писал, что никогда к ней не вернется и берет свое слово обратно.

Когда Мануэллита пришла в себя от охватившего ее ужаса, она принялась перечитывать письмо слово за словом, но ее потрясенный ум воспринимал лишь те фразы, которые ошеломили ее в первый раз. «В канун нашей свадьбы мы должны исповедаться, как перед смертью. Позволь мне, Мануэллита, исповедаться перед тобой. Ты добрая, а мать твоя мудрая и сильная женщина. Вы поймете и простите меня. В прошлом у меня была связь. Я думал, что сумею покончить с нею, но эта женщина угрожает мне скандалом. Пойми, я чиновник, она погубит мое будущее, а с моим и твое... Может быть, позднее... Может, потом я освобожусь...»

Мануэллита стояла у окна и смотрела на дрожащий в ее руках листок бумаги, похожий на крыло белой птицы. Ее толстая коса, короной уложенная вокруг маленькой головы, в сумерках на фоне зеленоватого стекла казалась терновым венцом.

Мать прожила еще три дня. В бреду она бессвязно говорила что-то о свадьбе, о приданом, об отъезде любимой дочери. Девушка не плакала. Она спрятала письмо в своей комнате и то и дело бегала проверять, на месте ли оно, боясь, что письмо попадет в чужие руки, и ее позор — отказ заманчивого жениха, который вызывал зависть у всех местных красавиц, — станет известен всей деревне. Убедившись, что письмо на месте, Мануэллита снова шла к постели умирающей матери. Минутами ей казалось, что именно зрелище смерти

вызывает в ней такое отчаяние. Но тут же она вздрагивала, словно спохватившись, что забыла о чем-то очень важном. Ах да, письмо! И, снова на цыпочках шмыгнув в свою комнату, перебирала там листки, а потом возвращалась к ложу умирающей и погружалась в созерцание грозного таинства смерти. Ей чудилось, что она и сама умирает день за днем, час за часом. Хрупкая и беспомощная, она всегда жила под сенью кряжистого дуба. Теперь ей казалось, что, если бы мать осталась жива, она нашла бы в ней опору, могла бы победить отчаяние и забыть о своем позоре. Но справиться со своим горем одной ей было не под силу. Тщетно она металась в поисках поддержки, кругом было пусто.

В среду вечером у старухи началась агония. Она бредила свадьбой дочери, перечисляла подарки, а потом, когда ей померещилось, что новобрачные уезжают, она дала Мануэллите золотую монету, пробормотав последнее наставление:

— Отмщение! И не показывай своих слабостей!

Вскоре наступил полный паралич, и у больной отнялся язык. Около нее были зажжены семь старинных фамильных канделябров из серебра. Мануэллита спустилась во двор и преклонила колени на холодных ступеньках часовни, среди кустиков молочая, блестящего от инея. Желтая февральская луна поднималась в черных тучах, и в долине раздавался таинственный посвист ветра. Прислонившись лбом к дверце часовни, Мануэллита истово молилась, просила, угрожала, и душа ее была взволнована и печальна, как эта ветреная и сумрачная ночь.

— Господи, помоги мне, сделай так, чтобы моя мать осталась жива, или возьми меня вместе с ней!

Но двери были наглухо закрыты, — видно, господь покинул маленькую часовню, о которой шел спор. И когда несчастная девушка вернулась в дом, донны Мануэлы уже не было в живых.

Мануэллита решила умереть. Она объявила, что замуж не пойдет, рассчитала одного за другим всех слуг и заперлась в своем доме от всего мира. Лишь старая служанка, ее кормилица, приходила к ней по утрам, чтобы помочь прибраться в комнатах.

— Не показывай никому своих слабостей! — сказала мать.

Донна Мануэллита хотела умереть, но так, чтобы все решили, будто это несчастный случай. Как это сделать? Кормилица как-то говорила, что вино, смешанное с солью, может вызвать смертельные колики.

Мануэллита никогда раньше не прикасалась к вину. Налив в большой бокал вина из Ольястры, она всыпала в него унцию соли и, победив отвращение, залпом выпила. Потом легла в кровать, но вскоре, почувствовав жар и сильную жажду, встала и выпила еще бокал. Затем, вместо того чтобы снова лечь, она вышла во двор и с изумлением огляделась вокруг. Мир выглядел совсем иным, чем обычно: он стал таким же прекрасным и радостным, как в далекие времена детства, когда, сидя на ступеньках часовни, она играла на солнышке в пять камешков.

Пошатываясь и спотыкаясь, она прошла по двору, подобрала с земли пять камешков и, присев на ступеньки, начала свою игру: сначала она бросала камешки вверх, подхватывая их тыльной стороной ладоней, потом положила один камешек на ступеньку, а остальные стала подкидывать и ловить: игра заключалась в том, чтобы изловчиться и схватить камешек со ступеньки, пока остальные находятся в воздухе.

Мануэллита хохотала от удовольствия и, так как ее по-прежнему мучила жажда, время от времени наведывалась в дом, чтобы отхлебнуть еще вина. Возвращаясь во двор, она держалась за стенку, чтобы не упасть.

Был теплый прозрачный полдень. У стены, окружающей двор, цвел боярышник, а со ступенек часовни захмелевшей Мануэллите были видны далекие горы: синие и зеленые, они переливались, как муар ее подвенечного платья, которое так и осталось висеть в шкафу, с тех пор как его привезли из Сассари.

Но почему же воспоминание о платье и обо всем, что с ним связано, перестало быть для нее мучительным? Перед нею как будто распахнулась дверь, за порогом которой все становилось прекрасным и легким. Она просидела на ступеньках до самого заката. Потом приятная сонливость охватила ее, и, выронив из рук камешки, Мануэллита уснула.

И теперь Мануэллите уже не хотелось умирать. Она нашла средство, которое — пусть временно — все же облегчало ее страдание, и она прибегала к нему ежедневно. По утрам, когда приходила кормилица помочь Мануэллите по хозяйству, а пастухи и арендаторы приносили плату за пастбище, ей бывало трудно — особенно в первое время, но она помнила наставление матери: «Не показывай своих слабостей», — и крепилась. Зато после полудня, когда она оставалась одна, начиналась ее волшебная жизнь. Прислонившись спиной к запертой двери часовни, Мануэллита грелась на солнце, играла в свои камешки, любовалась горами, окутанными розовой весенней дымкой, и то и дело вставала, чтобы выпить вина.

Но время от времени сквозь блаженное забытие она слышала чей-то далекий призывный голос. А иногда у нее появлялось мучительное ощущение, будто она забыла о чем-то важном. Ах да, письмо! И она шла в комнату, брала белый листок, перечитывала его и вздрагивала от радости, дойдя до слов: «Может быть, позднее... Может, потом я освобожусь...»

Но однажды кормилица сказала ей, что в местной газетке было сообщение о браке претора, теперь уже судьи, с девушкой из его городка. Известие это не очень огорчило донну Мануэллиту, но письма она больше уже не перечитывала.

Прошло четыре года. Мануэллита выиграла дело о часовенке, но открывать ее не хотела. Она считала это место проклятым: ведь претор познакомился с ней именно здесь, во время судебного осмотра часовни, и здесь-то он узнал, что она самая богатая наследница в деревне...

Однажды утром к ней пришли пастухи арендовать пастбище, один из них был как раз из тех мест, где жил ее бывший жених. Кормилица спросила:

— Ну, и какова же она из себя, эта его жена?

— Прекрасная женщина и очень думу под статью. Строгого поведения, никто о ней дурного слова не скажет.

«Так, значит, это ложь, что у него раньше была связь», — подумала донна Мануэллита и в тот день выпила белого крепкого вина еще до ухода кормилицы.

Почувствовав запах вина, кормилица помертвела. Взяв Мануэллиту за руку, она сказала:

— Погляди мне в лицо, Мануэ!

Хозяйка подняла на нее глаза и разрыдалась. Слезы оросили вскормившую ее грудь. Но все упреки, угрозы, все мольбы кормилицы были напрасны. Преданность и жалость заставили старуху скрыть от других всю глубину падения ее хозяйки.

Прошло десять лет со дня смерти старой донны Мануэлы. Однажды утром почтальон, разбирая письма, увидел среди них конверт с черной траурной каймой, повергший его в глубокое изумление. Адрес на конверте был написан знакомым твердым почерком, четкими, словно печатными буквами.

— «Уважаемой госпоже Мануэлине Кабрас...» Но ведь он уже как будто женат? Может, овдовел и хочет снова попытать счастья?

Стояла осень. Сквозь неплотно притворенные ворота дома виднелся поросший травой мощный дворик и стена, увитая ярко-красными цветами. Кормилица взяла у почтальона письмо и понесла его наверх, в комнату, где умерла старая хозяйка.

Как и тогда, донна Мануэллита читала письмо, стоя у окна. Листок трепетал в ее руке, как белое крыло с черной каймой.

Бывший жених, который за это время из претора стал судьей, из судьи заместителем прокурора и, наконец, королевским прокурором, сообщал, что он свободен от всяких обязательств, и предлагал ей свою руку. «Я овдовел, у меня двое детей. Если вы примете мое предложение, донна Мануэлина, я буду счастлив обвенчаться с вами еще до конца ноября».

Мануэллита положила письмо под медный канделябр, не собираясь отвечать на него. Но кормилица не спускала с нее глаз. Она взяла письмо, заставила Мануэллиту прочесть его вслух и до тех пор приставала к своей хозяйке, пока та не ответила прокурору, что принимает его предложение с условием, что они обвенчаются в последнее воскресенье карнавала. Жених прислал ей фотографию, на которой он был снят вместе с детьми, Мануэллита внимательно рассматривала

семейную группу своими черными, чуть остекленевшими глазами, и было непонятно, счастлива она или нет. Лишь одна мысль радовала ее: выйдя замуж, она наконец избавится от опеки кормилицы, которая всячески притесняла ее и стала настоящей хозяйкой в доме. Да, мать была права: «Не показывай своих слабостей!»

И еще какое-то назидание оставила ей мать, но она никак не могла вспомнить какое. Сколько вещей она перезабыла!

Прошла зима, затих шум потоков в долине, снова деревенскую тишину нарушали лишь вопли ряженных в карнавальных масках быков и медведей и заунывные песни, под которые плясали крестьяне на площади.

В четверг на масленицу толпа, собравшаяся на площади поглазеть, как скачут на лошадях ряженные, увидела незнакомый желто-зеленый экипаж. Из экипажа вышел бывший претор, ныне королевский прокурор. За эти десять лет он изменился к лучшему: среднего роста, коренастый, с круглым лицом и пышными рыжеватыми усами, он был очень представительен.

Он направился прямо к невесте. Со времени их разлуки девушка нисколько не изменилась. Все такая же худенькая, в темной, наглухо застегнутой кофточке, с такой же толстой черной косой, короной лежавшей на маленькой голове. Лишь глаза стали другими: потускнели и затуманились, словно подернулись дымкой.

Жених поцеловал ее, ощутив на губах приятный запах бергамотовой воды. Кормилица исподтишка наблюдала за ним.

Свадьбу сыграли в воскресенье утром в открытой ради такого случая часовне. В понедельник днем супругов оставили в покое: визиты друзей и родственников закончились. Муж решил воспользоваться этим, чтобы немного прогуляться, и вышел на дорогу. Он был молчалив и задумчив и все еще выглядел вдовцом, но в глубине души был доволен.

«Правда, из Мануэлины никогда не выйдет блестящей светской дамы, — думал он, — она нескладная и смешная. А кроме того, за эти годы в ее облике появилось что-то странное: на глазах у нее словно черная пелена. Но зато она будет хорошей матерью детям, а это самое главное».

Когда он вернулся с прогулки, ворота оказались на запоре. Он постучал, но никто ему не открыл. Тогда он решил пройти через часовенку, но дверцы оказались закрытыми со двора. Он уже собирался вернуться назад, как вдруг во дворе ему послышался голос жены.

— Мануэлина, открой!

Мануэлина сидела на ступеньках часовни. Она быстро встала и отперла дверцу. Потом, пошатываясь, попятилась назад, сжимая что-то в кулаке. Глаза ее блестели странным блеском. Муж подумал, что это лихорадка либо безумие. О, он очень хорошо знал такие глаза! Сколько таких глаз он видел со своего высокого места судьи, хранителя общественных устоев.

— Мануэлина, да что с тобой?

Он попытался взять ее за руку, но она инстинктивно прикрыла рот ладонью. Тогда он приблизился к ней и почувствовал запах вина. Ужасная истина внезапно открылась ему. И в то время как женщина пятилась назад, роняя из рук камешки, которыми она забавлялась, он испытал то же, что чувствовала она в тот далекий день, когда получила его письмо с отказом. Ему казалось, будто он катится со скалы прямо в пропасть и вдребезги разбивается там об острые камни...

**СПРЯТАННЫЙ
МАЛЬЧИК**

1916



СКАЗКА

В старинном замке, в нише огромного окна, сидела маленькая принцесса и, глядя на тучи, собирающиеся над морем, думала, зачем она живет.

Маленькой принцессе только недавно исполнилось двадцать лет, но временами она казалась то старше, то моложе: в ее черных как смоль волосах уже мелькали кое-где серебряные нити, а свежее личико было матово-бледным, как слононая кость. Отец и братья принцессы погибли на войне, а жених, испанский принц, покинул ее, потому что доставшаяся ей в наследство королевская казна оказалась беднее, чем он рассчитывал. Вот поэтому-то принцесса, уединившись в замке на берегу моря, спрашивала себя, зачем она живет.

Она уже больше не страдала, но порой сожалела о былых страданиях, сожалела о том времени, когда в ее душе с шумом и грохотом урагана, с ослепительными вспышками молний неистовствовала скорбь. И в этом вихре чувств ее гордость металась, рыча, как связанный лев, и пыталась задушить эту скорбь и не раз побеждала ее.

Ну, а потом пришел непрощеный добрый лекарь-время и по кусочкам вынул из груди принцессы разбитое сердце. И в душе ее стало тихо и пусто, и она горько оплакивала те минуты, когда у нее было хотя бы ее страдание. А теперь дни проходили один за другим без радости и без горестей и казались ужасно длинными, хотя стояла зима.

Зима выдалась теплая, согретая дыханием моря. В лесу, расстилавшемся у подножия замка, дубы все еще хранили золотую осеннюю листву, а когда налетал

ветер и раздвигал ветви деревьев, между стволами виднелась зеленая трава, она слабо поблескивала и была похожа на морскую гладь. А по вечерам небо над замком становилось таким прозрачным, что принцессе, сидевшей у закрытого окна, казалось, что она видит сквозь витражи, как движутся звездные хороводы.

Но в тот вечер над лесом и над морем плыли облака. Это были уже весенние облака, лиловые, розовые и палевые, чуть обрызганные лазурью. И когда принцесса, глядя в окно, уже в который раз спросила себя, зачем она живет, то впервые за много месяцев почувствовала, что ей хочется плакать. Плакать? О чем, о ком? Слезы повисли у нее на ресницах, словно капли росы на паутинке. Но вот одна упала ей на грудь, другая капнула на колени, а потом они полились ручьем, и принцесса поняла, что плачет от жалости к самой себе.

У нее возникло чувство, будто кто-то рядом ждет ее помощи. Тут она перестала плакать и, поразмыслив, поняла, что помощь нужна ей самой. Тогда она поднялась с места и приняла решение: она выйдет замуж, родит сыновей и назовет их в честь братьев, погибших ни войне, потому что, когда они вырастут, они тоже станут искать славы на поле брани. Но муж ее должен быть бедняком, чтобы приданое показалось ему роскошнее всех сокровищ испанской короны. А кроме того, сначала она должна хорошенько его узнать, чтобы не вышло так, как с первым женихом, с которым ей далее ни разу не удалось увидеться.

Маленькая принцесса позвала начальника стражи и сказала:

— Моя воля — выйти замуж. Мне надоело коротать вечера в одиночестве, особенно теперь, когда можно растворить балкон и слушать, как заливаются соловьи. И я хочу, чтобы мой муж был бедняком, но опрятно одетым и любезным в обхождении.

— Найти такого будет нелегко, — ответил начальник стражи, который в свое время немало постранствовал по белу свету. Но тем не менее в ту же ночь он разослал своих гонцов на поиски бедного, но любезного в обхождении и опрятно одетого юноши.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Прошло семь недель, и гонцы вернулись. Начальник стражи вошел к принцессе. Большое окно было открыто, и воздух напоен ароматом цветущей бузины.

— Мы нашли юношу — бедного, любезного в общении и опрятно одетого. Это рыбак, он чужеземец, и никто не знает, откуда он. Он живет на берегу моря, у подножья замка, в тростниковом шалаше среди розовых кустов. У него есть лодка с желтым парусом, а на парусе лик Христа. А сам он писанный красавец.

— Превосходно, — сказала принцесса.

— Но он не хочет жениться.

Маленькая принцесса не проронила ни слова. Если бедный рыбак стесняется подняться в замок, ну что ж, тогда она сама спустится к нему.

И вот она переодевается в крестьянское платье, закрывает лицо покрывалом и отправляется в путь, думая, как обрадуется бедняк, когда узнает, что женится на такой богатой госпоже.

Шла она, шла, прежде чем добралась до цели: ведь ее ножки-крошки привыкли ступать лишь по гладким мраморным плитам! А когда наконец пришла, то оказалось, что до замка отсюда рукой подать: она даже слышала, как поют в кухне служанки, просеивая муку, чтоб испечь хлеб стражникам.

Вот и шалаш рыбака, сплетенный из зеленых стеблей тростника. Он похож на большую корзину, позабытую среди кустов диких роз, а кусты эти усеяны бутонами, которые только-только начинают распускаться. Они раскрываются медленно, медленно, как будто стыдятся показать себя сразу во всей своей дурманящей прелести.

Море бирюзовое, ветер треплет золотистый парус, и лик Христа на нем клонится то в одну, то в другую сторону, как будто благословляет небо, море и землю.

Рыбак только что вернулся с лова и выгружает из корзины серебристую рыбу. А когда он обернулся лицом к берегу, то море и небо за его спиной сразу же потускнели — такие у него яркие, синие-синие глаза. Увидев незнакомку, он поздоровался и пригласил ее войти в шалаш.

— Я ждал тебя, — сказал он.

Она затрепетала.

— Так, значит, ты хочешь жениться на мне?

— Конечно, хочу. Знаешь, как грустно быть одному, когда море не шелохнется, а трели соловья в кустах тамариска звучат прекраснее песен сирены. Наконец-то ты пришла!

Принцесса не смеет поднять на него глаз: так он пришелся ей по сердцу. Она робеет перед ним, словно простая крестьянка. Наконец она тихо спрашивает:

— Но я слышала, что ты отказался жениться?

— Да, — отвечает он и наклоняется, чтобы подобрать рыбок, выпрыгнувших из корзины и бьющихся на земле. — Да. Мне сватали здешнюю принцессу, но я не хочу на ней жениться. Я ведь принц. — Тут рыбак поднял к ней свое прекрасное лицо, и черные кудри, как гроздья спелого винограда, упали ему на щеки. — Я должен был взять в жены принцессу, которую любил, но мой первый министр воспротивился этому, потому что наследство, которое она получила после смерти отца, оказалось меньше, чем он думал. И тогда назло всему свету я бросил свое королевство и дал клятву жить бедняком и жениться на девушке, рожденной в бедности.

— Но я и есть та самая принцесса, на которой ты должен был жениться. И я пойду за тебя, хоть ты и беден!

— Тогда я не могу на тебе жениться. Как это печально! Ведь я поклялся взять в жены бедную девушку.

Принцесса встает и спешит уйти. И хотя ее ножки крошки привыкли ступать лишь по гладким мраморным плитам, она все ускоряет шаг — гордость подхлестывает ее, словно бичом. Пылая мстью, она тотчас велит позвать начальника стражи и отдает приказ: отныне ни одна девушка, рожденная в бедности, не смеет войти в лес и приблизиться к шалашу среди тамарисков.

И вот она снова сидит у открытого окна и думает, зачем она живет.

А в лесу тем временем все расцвело, и розы раскрылись навстречу солнцу, как раскрывается возлюбленно-му девушке во всей своей красе. С берега доносится шепот волн, и вдали слышится страстная любовная песня — это поют служанки. Потом вдруг все стихает, и море и голоса. Все будто замерло вокруг в любовном

экстазе. Принц сидит на берегу и смотрит перед собой: недвижны и море и лодка, даже Христос на парусе, кажется, склонил голову и замер. Замер и бедный принц, опершись локтями на колени и зарывшись пальцами в черные гроздья кудрей. Девушка, рожденная в бедности, все не появляется, и мысли принца, несмотря на данный им обет, все чаще возвращаются к маленькой принцессе.

А принцесса, сидя наверху в своем замке, тоже думает о нем, потому что в целом свете не нашлось больше такого юноши, бедного, опрятно одетого и любезного в обхождении. Но он не захотел жениться на ней, и принцесса спрашивает себя, зачем ей жить на белом свете? И она горько сожалеет о зимних днях, когда ее окно было закрыто и в него не вливалось, как сейчас, пение соловья. А соловей все поет, и в его трелях звучат все те слова, которых так и не сказали друг другу влюбленные, чьи уста сковало молчание.

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

Что ни говори, а Америка принесла немало хорошего бедному люду: тот, кто туда уехал и не разбогател, все же не теряет надежды поправить свои дела, а кто остался в деревне, тот приобрел особый почет в глазах окружающих. Так мастер Антони Биккири, оказавшийся единственным каменщиком на строительстве дома Бонарио Салиса, нежданно-негаданно вознесся на такую высоту, какой не достигали и стены, воздвигнутые им. На строительстве не оставалось ни одного подсобного рабочего, и самому хозяину пришлось подносить мастеру камни и известь. Но Бонарио¹, которому очень подходило его имя, в конце концов приохотился к этому занятию; он весело лазал вверх и вниз по лесам, постепенно приобретая неторопливые повадки настоящего рабочего. К тому же было у него при этом и неизменное развлечение: ему нравилось с шутовски разыгранной важностью передавать мастеру Антони дипломатические поручения от односельчан, приглашавших его к себе на поденную работу. А таких приглашений было немало. Все вздыхали по мастеру Антони, все мечтали заполучить его к себе на несколько драгоценных дней: один собирался жениться, и спешно требовалось выбелить дом, у другого прохудилась крыша, у третьего грозила обвалиться стена. Но Бонарио лишь посмеивался над этими просьбами. «Против бумаги не попрешь», — говаривал он в таких случаях. У него действительно имелась бумага за подписью мастера Антони, в которой тот обязался не покидать стройку до полного завершения работ. А надо вам ска-

¹ Бонарио (Bonario) — добряк (*итал.*).

зять, еще ни разу не случилось, чтобы мастер Антони нарушил свое слово. Честнее его не сыскать было человека в деревне. И потому Антони подумал, что хозяин, как всегда, шутит, когда в один прекрасный день, втащив на леса большую гранитную глыбу, он подмигнул и обратился к нему:

— На сей раз, мастер Антони, придется вам все-таки пойти. У вас уйдет на это всего полдня, а может, и меньше. Моя племянница Анна продает дом и просит, чтобы вы починили там несколько ступенек.

— Продает дом? — спросил каменщик, не скрывая удивления. — Ведь еще нет и трех месяцев, как она его купила!

— Да, трех месяцев не прошло, — серьезно подтвердил Бонарио. — И все-таки она его продает, потому что там завелась нечистая сила.

Тут Бонарио рассмеялся, заметив, что мастер Антони помрачнел и задумался. Но каменщик не был охотником до шуток, даже если их затевал сам хозяин. Он посмотрел вдаль, туда, где на самом краю деревни одиноко стоял домик Анны Салис, и вспомнил, как совсем недавно он сам производил его оценку, перед тем как дом вместе со всем имуществом был продан за долги с аукциона. Прежние его владельцы всей семьей эмигрировали в Америку, а домик — небольшой, но уютный и светлый — за гроши купили молодожены Салисы. И вот теперь они хотят продать его, потому что там завелась нечистая сила...

— Мастер Антони, — сказал Бонарио, вновь сделавшись серьезным, — ну, решайте. Я ведь не шучу. Освобождаю вас на полдня, и все тут. Поглядели бы вы на мою племянницу: так убивается, будто ее и впрямь околдовали. Уж сходите, почините ей лестницу: завтра покупатель будет смотреть дом. Сделайте доброе дело.

И отчасти потому, что это было действительно доброе дело, а отчасти из любопытства Антони согласился.

В тот же день после полудня он пошел взглянуть, какая работа ему предстоит. В эти часы под слепящим июньским солнцем домик Салисов казался погруженным в безмятежный сон. Тень от колокольни падала на запущенный церковный сад, заросший кустами руты и горечавки и благоухавший, как вересковая пустошь. Вокруг не было ни души.

И мастеру Антони снова припомнился тот день, когда он приходил оценивать дом. Тогда, как и сейчас, он толкнул калитку и прошел через весь дворик, так никого и не встретив. И, помнится, ему сразу же пришли на ум темные слухи, которые ходили в деревне про хозяйку дома Мимию Пирас, которая заслужила громкую репутацию своей красотой, расточительностью и кое-чем еще. Что и говорить, этот пустынный уединенный уголок как нельзя более подходил для этой женщины, любительницы приключений!

Но тут же мастер Антони прикусил язык, как случилось с ним всякий раз, когда он ловил себя на том, что осмеливается судить ближнего. Оставив кредиторам дом, Мимия Пирас вместе с братьями уехала в Америку искать работу. Для своих односельчан она как бы умерла, а мертвым судья один лишь господь бог.

Но и теперь, когда хозяйкой здесь стала Аннедда Салис, самая набожная и добропорядочная женщина в деревне, дверь была, как и тогда, распахнута настежь, а дом по-прежнему выглядел пустым и заброшенным. Ни с кем не повстречавшись, Антони беспрепятственно прошел через двор, кухню и коридор, поднялся по лестнице и вошел в спальню.

Хозяйка сидела на полу у самых дверей. Возле нее стояла рабочая корзинка, но Анна не шила. Уронив руки, она сидела, прислонившись головой к стене, и казалась совсем больной. Когда перед ней в дверях выросла высокая фигура каменщика, она даже не встрепенулась. Только чуть ярче заблестели ее печальные черные глаза на белом как мел лице.

— Я вас ждала, — еле выговорила она слабым, упавшим голосом. — Дядя, верно, говорил вам, что я собираюсь продать дом. Да, я продаю его за ту же цену, что купила; упаси меня боже, чтобы я запросила хоть на одно центезимо больше. Завтра придет покупатель. Но прежде мне нужно кое-что проверить... Я хочу, чтобы вы сняли, а потом поставили на место несколько нижних ступенек. Я уверена, что под ними зарыто что-то такое, что наводит на весь дом злые чары. Если мы не достанем это оттуда, мы погибли. Вот уже целых два дня я сиднем сижу здесь наверху и вообще не сойду больше вниз, если только вы, мастер Антони, не сможете мне снять заклятие с моего дома.

Мужчина, стоя у дверей, смотрел на нее с высоты своего роста, озадаченный и встревоженный. Колдовство дело нешуточное, а если в нем, к примеру, замешан священник, то это вообще беда.

— Ну что ж, вставай! А скажи-ка, тебе, часом, все это не приснилось?

— Эх, кабы приснилось! — воскликнула женщина, поднимаясь с пола. — Проклятие пало на нас сразу же, как только мы с Паоло переступили порог этого дома. Разве так мы жили раньше? Ведь мы с Паоло миловались, как двое голубков. Но как только попали сюда, начался сущий ад. Мы тотчас же оба расхворались: у него заболело ухо, у меня — нога. И по сей день еще опухоль держится. Потом у нас пал конь, убили пса, курыдохнут, словно им подсыпают отраву. В очаг заползла змея. Но это все еще цветики, ягодки — впереди. Хуже всего то, что мы с Паоло теперь день и ночь ссоримся. Он уходит из дому и пьянствует, а я все плачу и плачу. Он твердит, что я его терзаю, а на самом деле все наоборот: это он меня изводит. Клянусь вам, мастер Антони, с тех пор как мы здесь поселились, не было у нас ни дня покоя. Вот и сегодня утром мы поругались, и он, уходя, грозился, что ноги его больше здесь не будет. Но он вернется, обязательно вернется, если мы снимем колдовские чары.

— А кто же мог заколдовать дом? — спросил мужчина, еще больше помрачнев.

— Кто? Вы еще спрашиваете кто? Да ведь все знают, что прежние хозяева, Пирасы, наложили заклятие на того, кто купит дом. А Мимия, та еще повсюду сыпала соль: это для того, чтобы из колодца ушла вода и весь сад высох. Все видели, как перед самым отъездом она, скрестив руки, призывала проклятие на дом. Раньше я не верила всем этим рассказам, ну, а теперь убедилась собственными глазами. Но это еще не все. Мне приснилось, что она зарыла в доме что-то такое, что наводит на всех нас злые чары. Я уже копала у дверей, но там ничего нет. Нужно заглянуть под лестницу. Вы же знаете, чары действуют всего сильнее там, где наступаешь ногой. Но одна я не могу поднять ступеньки и поэтому позвала вас. Ведь я знаю, вы честный человек и добрый христианин, вы мне поможете. Пойдемте, мастер Антони.

И они идут. Хозяйка спускается по лестнице неуверенно, прихрамывая, кажется, будто ее тащут вниз против воли. Дойдя до последних ступенек, она крестится, испуганно оборачивается и ждет отставшего от нее мужчину. Озабоченный, встревоженный, мастер Антони следует за ней. Он идет медленно, осторожно, словно боится упасть, и машинально, наметанным глазом мастера отмечает прочность стен и ступенек и трещины на потолке. Говоря по правде, эта каменная лестница, сбегаящая вниз, зажатая между высокими белыми стенами, при свете, падающем сверху из слухового окошка, имеет какой-то таинственный вид, кажется, будто она ведет в подземелье.

Очутившись внизу, мастер Антони тщательно выстукивает все стены сверху донизу и наконец произносит:

— Найдется у тебя лом?

Оказывается, у Аннедды есть и лом, и лопата, и еще много других инструментов, и все это свалено в кучу под лестницей.

— Здесь должен быть еще железный рычаг, — припоминает она и принимается за поиски. Чтобы помочь ей, мастер Антони зажигает спичку и сам роется в куче хлама. Короткая вспышка света вырывает из темноты ржавые инструменты, паутину, тряпки, мешки и кусок земляного пола, изрезанного глубокими трещинами. Обветренные щеки мастера Антони вдруг вспыхивают и становятся похожими на апельсины, а круглые голубые глаза впиваются в трещины на земляном полу. Кажется, что Антони хочет расшифровать какие-то загадочные иероглифы. Наконец он бросает на пол недогоревшую спичку.

— Вот что, — говорит он. — Послушай-ка моего совета, давай поищем здесь.

Аннедда вздрагивает и обращает к нему бледное, как смерть, лицо. Потом, с трудом преодолевая дрожь в ногах, поднимается, идет на кухню, приносит оттуда свечу, зажигает ее и держит над Антони, пока тот, согнувшись, долбит земляной пол под лестницей. Через некоторое время он оставляет молоток, берет лопату и принимается копать. Женщина вся дрожит: одной рукой она держит свечу, другой опирается о стену. На работу Антони пришел поглядеть и котенок, хозяин этого угла под лестницей. Вспрыгнув на перегородку,

он выгибает спину, поднимает хвост трубой и, сверкая большими зелеными глазами, с любопытством и опаской следит за движениями лопаты. У него такой вид, будто он знает какую-то тайну, неведомую людям. Вдруг, пронзительно мякнув, он прыгает вниз, хватая белую косточку, показавшуюся среди вскопанной земли, и бросается наутек.

У Аннедды вырывается крик.

А тем временем на свет появляются другие косточки. Аннедда опускается на колени и, поставив свечу на пол, принимается собирать их в передник.

Мастер Антони вспотел так, словно копал глубокий колодец: ему даже приходится вытирать ладонью влажный, лоснящийся лоб. Однако он доволен, так доволен, что, быть может, впервые в жизни ему хочется пошутить:

— Ну как, Анна, хороши орешки?

Закончив работу, он засыпает яму и притаптыкает землю ногами. Но когда они выходят из темноты на свет, Анна несет в переднике кости, он отряхивает испачканные землей руки, оба они чувствуют, что им страшно взглянуть друг на друга и высказать вслух свои мысли.

Анна садится на ступеньку — теперь она больше не боится лестницы, плачет, причитая и раскачиваясь, будто убаюкивает младенца.

— Вот видишь, — всхлипывает она, — тебя убили и закопали, несчастное создание, дитя греха. Это ты мучил нас из преддверия ада! Так вот почему злая мать перед отъездом сыпала повсюду соль!

Мастер Антони тоже уверен, что перед ним кости убитого младенца, но совесть подсказывает ему, что пока лучше молчать, молчать и сомневаться.

Неожиданный приход мужа разрешил трудное положение. Муж явился хмурый, насупленный, готовый тотчас же ввязаться в ссору с женщиной, которая стала мучением его жизни. Но, увидев плачущую жену и каменщика, стоящего перед ней в раздумье, он смеется:

— А, так вы, значит, нашли эту проклятую штуку? Ну-ка, ну-ка, покажите!

Жена открывает передник, и, увидев кости, он мрачнеет.

— Да что ж это такое?

— Ты еще спрашиваешь, Паоло? Смертный грех, вот что! Это кости убиенного младенца, зарытого у нас под лестницей. Это он мучил нас из преддверия ада. Сейчас я пойду похороню их в освященной земле, и тогда господь вернет мир в наш дом. Аминь! — И, повязав голову платком, она направляется к двери.

Но мастер хватает ее за руку.

— Пстой, хозяйка. Сначала мы должны выполнить свой долг. Кости нужно отнести судье.

Анна смотрит на мужа. Он охотно уклонился бы от этих хлопот, но ему не хочется прослыть человеком менее честным, чем мастер Антони.

— Давай их сюда, — говорит он, расстилая на ступеньках красный носовой платок, и женщина с неожиданной покорностью повинуется, осторожно пересыпая в платок содержимое своего передника. А потом вдруг хохочет, как девчонка, вспомнив шутку мастера Антони:

— Хороши орешки!

Муж внимательно разглядывает каждую кость, потом зажимает в кулаке кончик платка и, перевернув туго набитый узелок, ощупывает его.

— Мастер Антони, скажите по совести, вы все там перекопали? Тут не хватает черепа.

— Я вам говорю по совести, там больше ничего нет. А теперь идемте к судье, и ни о чем не беспокойтесь.

Когда муж, передав кости судебным властям, вернулся домой, Аннеда уже успокоилась и занялась стиркой передника. Огонь ярко пылал в очаге, в доме опять воцарился мир. Только поздно ночью она проснулась и снова заплакала, вспомнив, что одну косточку утащил котенок. Муж встал и принялся терпеливо искать ее, обшаривая каждый уголок.

— Нигде нет, — серьезно сказал он, снова укладываясь в постель. — Не бойся, Анна! Мы выполнили свой долг, и наша совесть чиста.

— Наша совесть чиста, — повторила она, и, успокоенные, они заснули.

Так мир вернулся под их кров. И остатки сомнений рассеялись как дым, когда спустя некоторое время экспертиза установила, что это были кости поросенка.

ДИЧЬ

Разалия давно уже никого не ждала, и все-таки, услышав шаги, она каждый раз поднимала свою маленькую удлиненную голову, закутанную в позеленевший от ветхости, выгоревший черный платок, и, скорее по привычке, чем по злобе, осыпала бранью всякого, кто проходил мимо. А проходили все больше женщины с амфорами на головах или мальчики с пробковыми кувшинами: все они шли за водой — либо вниз, к ручью в долине, либо вверх, к горным родникам.

Немалый путь приходилось проделать людям в этот засушливый год, чтобы раздобыть хоть немного воды. И на уединенной тропинке возле лачуги Разалии, между кладбищем и подножьем горы, где раньше можно было лишь изредка встретить охотника да пастуха, теперь уже в мае сталолюдно, как на большой дороге.

Сидя на своем обычном месте под купой тамарисков, в тени которых она старалась укрыться от сжигающего ее малярийного жара, Разалия видела, как мимо нее, на фоне лазурного неба, мелькают силуэты то старухи, одетой в черное, то девушки в золотистом корсаже. В тот год даже богатые женщины, у которых были свои колодцы и цистерны, ходили за водой в горы.

Иногда над изгородью появлялся какой-нибудь мальчишка и швырял камень в гущу тамарисков, пытаясь выманить из кустов гадюку, но, заметив черно-зеленую голову Разалии, чем-то неуловимо напоминающую змеиную — такую же маленькую, удлиненную, со светящимися, косо поставленными глазами, — мальчишка, раздражаясь проклятьями, пускался наутек.

В тот день на тропинке было особеннолюдно. Стоял еще только конец мая, но удушливая жара и раска-

ленное добела безоблачное небо предвещали тяжелый год — год засухи, голода и лихорадки. Деревенские колдунцы высохли до дна, и все жители устремились к дальним горным источникам.

Напрасно Разалия, терзаемая лихорадкой, зарывалась горячими руками в пожелтевшую траву, стремясь найти там хоть немного прохлады. Лежать она не могла — кровь бросалась ей в голову и стучала в висках, поэтому она сидела, подобрав ноги и обхватив колени руками. Но и тогда все кружилось у нее перед глазами, и ей казалось, что человеческие фигуры, ползущие по гребню горы, отплясывают, повиснув в воздухе между небом и землей, какой-то причудливый танец.

Множество людей проходило в тот день мимо ее лачуги, и она могла клясть их сколько душе угодно. Вот слуга священника едет к горному ключу на лошади, нагруженной кувшинами. Вот мать синдика Маттиа Сенеса спешит к источнику в долине, высокая, вся в черном, а на голове у нее амфора с таким длинным горлышком, что кажется, будто оно задевает за небо. Чтобы вы передохли от жажды, чтобы у вас внутренности растрескались, словно камни на дне высохшего колодца! Богатые и бедные, старые и молодые, все, кто издевался над ней, кто выгнал ее из деревни, как прокаженную, кто трубил в трубы и гремел жестянками под ее окошком в свадебную ночь, — будьте все вы прокляты!

Устав от проклятий, она прижималась лбом к коленям и плакала, вступая в мысленный спор с богом. В ее разгоряченном болезнью воображении бог иногда принимал облик одного из тех белобородых слуг-стариков, что брели мимо ее дома за водой, откинув капюшоны и повесив на плечи пробковые кувшины. Ей казалось, что это именно он, бог, швыряет в нее из-за стены камнями, которые больно ударяют ее в висок, в бок, по ногам, и, швыряя, приговаривает: «Это тебе за то, что ругаешься, это за то, что проклинаешь, а это чтоб помнила — надо быть доброй, даже если страдаешь».

— Надо быть доброй, надо быть доброй! А другие разве добры? — отвечала она, кипя возмущением и едва сдерживаясь, чтобы не бросить в лицо самому господу богу рвущееся из глубины души страшное проклятье. — А что же ты не говоришь это им? Ведь они злые, а все равно счастья у них хоть отбавляй. Так чем же я про-

винилась, за что мне такое наказание? Ну да, я вышла замуж за могильщика, вдобавок он был еще старше меня на сорок лет. Но ведь если я решилась на это, значит, иначе не могла! Что же мне оставалось еще делать, боже милостивый, скажи мне? Нет, правда, скажи, что мне, горемычной, было делать? Одна как перст — ни отца, ни матери, ни братьев! Не то что родных или друзей, врагов и тех у меня не было. Меня даже в служанки никто не брал. Почему, господи, ты дал мне родиться бедной и некрасивой? А чтобы пойти собирать милостыню, у меня не нашлось ни суммы, ни башмаков. Да что там башмаков — у меня даже шнурков башмачных никогда не было. А когда я подросла и стала что-то соображать, разве я не ходила в дом священника и к синдику Маттиа Сенесу и не просила устроить меня служанкой? А что они мне ответили? «Пойди сначала смой коросту с лица!» А Маттиа Сенес натравил на меня своего пса — черного, страшного, как волк. И сейчас, как вспомню, волосы дыбом встают. Стукнуло мне четырнадцать, а я и в церковь заглянуть не смела — не было у меня ни башмаков, ни кофтенки. И я ходила молиться в кладбищенскую церковь, к мертвецам, потому что живые меня к себе не пускали. Там меня и увидел дядя Антонио и спросил, пойду ли я за него замуж? И я пошла, ну что ж тут такого? Люди только смеялись надо мной, но никто никогда не протянул мне руку. А мальчишки закидали нас камнями и ночью трубили в трубы у нас под окном. Но придет время, и для вас загремят трубы Страшного суда, будьте вы все прокляты!

Да, господи, нас так замучили, что муж мой плакал даже над мертвецами, которых ему приходилось хоронить, — словно были они ему сыновьями или братьями. И наконец, он мне сказал: «Знаешь, Разалия, доченька моя, подамся-ка я в Америку! Столько наших туда уехало, поеду и я. Здесь и работы уже не стало, а в Америке, говорят, бывает мор, много людей умирает. Бог даст, может, я там чего-нибудь заработаю».

Ты знаешь, господи, как мне хотелось уехать вместе с ним! Я провожала его до самого порта, и он всю дорогу не мог решиться — брать меня с собой или нет. Но в конце концов пришлось мне возвращаться домой. Брела я, брела пешком и стерла себе ноги в кровь, но кое-как доплелась: ведь даже собака и кошка и те воз-

вращаются в родной дом! А о муже я с тех пор ничего не слыхала — ведь он не умеет писать.

Прошло уже пять лет, может, за это время он умер и кто-то похоронил и его. Я ходила к ворожее узнать, жив ли он, а может, — всякое ведь случается! — нашел себе другую, но ворожея спросила с меня одно скудо, а откуда ж мне было его взять, господи? Посуди сам, где я могла раздобыть деньги, если сейчас кругом такая нужда, что даже сам синдик Маттиа Сенес охотится на куропаatok, а потом отсылает их на материк и продает там. Так посуди, господи, как же мне не проклинать людей? А, вот он и сам, Маттиа Сенес, шакал проклятый! Будь проклят и он, и те, кто жрет его куропаatok, и даже псы, которые обгладывают их косточки!

И действительно, к лачуге Разалии приближался стройный молодежавый мужчина в полуохотничьем, полукрестьянском холщовом костюме. С ним не было ни собаки, ни ружья. Дойдя до места, где тропинка сворачивала в горы, он сошел с нее, перепрыгнул через изгородь и направился прямо к Разалии. Она поднялась, и сердце ее забилося сильнее. Правда, ей нечего было терять и некого бояться. Но все-таки этот необычный гость внушал ей какой-то смутный страх, и, когда он уселся на траве, скрестив ноги и обхватив их своими большими руками, она устремила на него испуганный взгляд. Но он ничего не ответил, отвернулся и смотрел вдаль, туда, где розовели под лучами закатного солнца белые домики деревни. Лицо его заросло густой черной щетиной, а под крутым лбом и косматыми бровями прятались, словно озера под скалами, удивительно красивые, светлые, прозрачные глаза.

— Я принес тебе вести о муже, — сказал он вдруг. — Плохие вести.

— Он умер?

— Да, умер.

Она низко склонила голову, но не заплакала. Стыдливость, или, вернее, целомудренное чувство удерживало ее от слез перед человеком, который сообщил о смерти мужа так, словно речь шла об издохшей скотине.

А он, казалось, был чем-то встревожен. Дважды он пытался взглянуть на нее и дважды отворачивал лицо, как будто не мог, не смел встретиться с ней взглядом. Наконец он набрался духу и, оглядевшись вокруг —

нет ли кого поблизости и не подслушивает ли кто, — посмотрел на нее, прищутив глаза, в которых таилось какое-то хищное, злое очарование, и сказал:

— Письмо пришло ко мне как к синдикку. Я получил его только сегодня. Видно, оно долго было в пути. Муж твой умер этой зимой и оставил тебе клочок земли. Что ты будешь с ним делать? Продашь?

Постепенно она успокоилась. И она подумала, что Маттиа Сенес как раз такой человек, который способен обмануть ее. А с другой стороны, он ведь синдик, кому же тогда верить, как не ему?

— Сколько может стоить эта земля? Тридцать скудо? Мужчина улыбнулся.

— Что ты! Больше, много больше! Точно я сказать не могу — ведь в Америке одни цены, а у нас другие.

Она задумалась, не решаясь поднять на него глаза: его странный взгляд будил в ней чувственность. Может быть, ей все-таки следовало заплакать? Но ведь с тех пор, как умер муж, прошло уже столько времени, к чему уж теперь слезы! А потом, разве не оплакала она его раньше, считая мертвым все эти годы?

Мужчина заговорил снова, на этот раз серьезно:

— Слушай, Разалия, хватит тебе прятаться здесь в кустах, словно гадюке. Ты ведь уже взрослая женщина. Я справлялся по церковной книге, тебе девятнадцать лет! Пора взяться за ум!

Он похлопал Разалию по спине, пытаясь вывести из оцепенения. Она встрепенулась, и из ее глаз неудержимо полились слезы, словно трянули деревцо после дождя. Она и сама не знала, отчего плачет. Может быть, от радости, что у нее будут деньги?

Он решил дать ей выплакаться вволю, и она плакала так, что от слез намокли даже кисти ее платка и, полиняя, оставили зеленые пятна у нее на подбородке. Потом он снова заговорил:

— Итак, ты должна взяться за ум. Прежде всего надо надеть траур. Немного погодя пойдем ко мне, мать даст тебе кое-что из вещей, ты сошьешь вдовье платье. И я советую никому ничего не рассказывать. Так будет лучше для тебя самой. К тебе никто не заходит?

— Да кто ко мне зайдет? Даже собаки сюда не забегают. Я все время сижу здесь, во дворе, потому что крыша дома вот-вот обвалится!

— Да, но теперь, — сказал он озабоченно, — ты должна сидеть в четырех стенах, как пристало вдове. Если хочешь, можешь покамест пожить у меня. Люди ничего не скажут, — добавил он, словно разговаривая сам с собой. — Ну, а если и будут болтать, что ж, пусть болтают! Теперь такое время, что каждый сам за себя в ответе. Но если боишься злых языков, — решился он вдруг, — тогда вот что: я на тебе женюсь!

Она обернулась к нему, и в глазах мелькнул испуг.

— Неужели так много денег, будь ты проклят!

А он уже снова стал спокойным и довольным; самое трудное было позади, дело сделано, и он мог теперь вздохнуть с облегчением. Ему казалось, что он подстрелил большую куропатку и держит ее в руках, еще теплую, истекающую кровью. Стоит ли ждать захода солнца, чтобы притащить добычу домой? Он вскочил, схватил Разалию за руку и поволок ее за собой — напрямик, кратчайшей дорогой. Он ни на минуту не отпускал ее, словно боялся, что женщина убежит.

Но она и не думала бежать. Спотыкаясь, она брела за ним, думая о своих деньгах, и ей казалось, что все это происходит с ней не наяву, а во сне.

«Сколько же там может быть денег? Тридцать скудо? Нет. Много, много больше. Может, сто? Тогда я смогу купить три пары башмаков, одну другой лучше. Может, сто тридцать скудо? А может, семь тысяч?»

В голове у нее все смешалось, мысли перепутались, она устала. Подойдя к церкви, мужчина отпустил руку Разалии и велел идти вперед. Видимо, он стыдился показываться с нею. Она повиновалась, но у церкви на минутку остановилась перед распятием и перекрестилась.

— Во имя отца и сына и святого духа. Вот ты и вспомнил обо мне, господи!

И она снова завела разговор с богом. Но когда они подошли к дому, Маттиа толкнул калитку и за ней раздался собачий лай. Разалия вспомнила, как натравили когда-то на нее этого самого пса. И пока она шла через двор, по привычке осыпая собаку проклятиями, она все время думала, что непременно ее отравит.

ДОЛЯ ДОБЫЧИ

После долгих месяцев засухи горная речка так обмелела, что колеса мельницы, хозяином которой был падре Максима, остановились. И как только смолк их мерный стук, сразу словно замерла и вся жизнь в этой тихой долине. Каштановые рощи стали багряными и раньше времени сбросили листву. Тусклое, мертвенно-спокойное небо нависло над лесистыми вершинами, и обычно лазурные горы Барбаджи потемнели и казались свинцовыми, словно в зимние дни. Но в тот вечер небо наконец-то покрылось тучами. Дон Пеу, разорившийся брат владельца мельницы, лежал на спиленном каштане с крестообразно раскинувшимися ветвями и ждал дождя, всем своим существом разделяя страстную жажду иссохшей долины.

Наступила ночь. Ветер несколько раз налетал порывами, проносясь то вверх, то вниз по лесистым склонам, потом все замерло в ожидании. Бледные зарницы, еще только предвещавшие молнии, вспыхивали на темном горизонте, и казалось, кто-то там, вдаль, пускает зайчиков огромным зеркалом. Дон Пеу вспомнил о море, которое лежало внизу, у другого края долины, и ему почудилось, что оно отражается в небесах. На море сейчас тоже, наверно, разыгрался шторм, в этом году повсюду царили смятение и бури. Может, виной всему и вправду комета и дальние землетрясения? Дон Пеу прочитал об этом в газетах, найденных им в печи на старой мельнице. И на его долю в этом году выпало больше, чем когда-либо, бедствий: жажда, голод и бури. Но он не терял надежды на то, что еще вернуться красные

денечки, а пока, в ожидании, дремал на поваленном стволе каштана возле мельницы.

Во сне он видел, как женщины в красных капюшонах поднимались к нему на гору, верхом на маленьких, будто игрушечных, лошадках, навьюченных мешками с зерном. Одна из них спрыгнула с седла прямо возле него и, пока он галантно помогал ей разгружать поклажу, рассказывала ему деревенские новости:

— Видела вашего брата, падре Максиа. Он все такой же тощий, просто не верится, что это хозяин мельницы.

— А какой толк от муки, если все время постишься?

— Ну, иногда худеют и от огорчений, дон Пеу.

— У моего брата их нет, — отвечал он, обретая перед деревенской бабенкой всю свою гордость синьора.

Что ж, по правде сказать, он доставлял брату немало огорчений и в конце концов даже поселился вот здесь, на мельнице, так как не нашел другого пристанища. Но все равно — он никому не позволит судачить о своих семейных делах!

Одно сновидение сменялось другим. Сначала ему привиделось бурное море, потом пароход, рассекающий волны, черные и вязкие, как расплавленная смола. Вокруг стоял ужасающий грохот. За путниками по пятам следовала смерть.

Он очнулся и встал: сон взволновал его. Усевшись на поваленный ствол, он весь согнулся, пытаясь унять сильное сердцебиение. Да, видно, другого выхода не было, недаром брат, выгоняя его прошлой зимой из дому, сказал:

— Отправляйся в Америку, убирайся отсюда!

И дал ему денег на дорогу. Но дона Пеу все время преследовало видение разъяренного океана, и он стал подумывать о том, что синьору не пристало эмигрировать, как простому поденщику. А тут еще деньги разошлись, и вряд ли он сможет получить когда-либо снова такую же сумму.

Вдруг ему послышался странный шум: как будто на сухие листья падали капли дождя. Он поднял глаза и увидел, что на западе звезды скрылись за тучами. Но дождя все еще не было. А шум приближался: уже явно раздавались шаги человека, поднимавшегося по горному склону, и вскоре перед доном Пеу выросла

высокая, сухая, крепко сколоченная фигура мужчины.

— Диеку, ты уже здесь? А где же остальные? — спросил пришелец. Поняв, что обознался, он несколько мгновений растерянно озирался по сторонам. Но сухая листва на тропинке уже снова шелестела под чьими-то ногами, и вскоре рядом с ним появились еще двое мужчин. Все они были закутаны в длинные плащи с капюшонами, надвинутыми на самый лоб, у всех было оружие. И тут дон Пеу понял: он попал на условленную встречу разбойников.

— А что делать вот с этим? — растерянно сказал тот, кто пришел первым. Тогда двое отошли в сторону и вполголоса стали совещаться.

Дон Пеу молчал, не двигаясь с места. Страх он не чувствовал, так как терять ему было нечего, но он знал, что его ждет. Они увлекут его за собою, как тучи увлекают звезды в эту бурную ночь. Они силой принудят его следовать за ними, заставят стать сообщником их злодеяний, чтобы потом он не мог выступить свидетелем против них. Но ему не было страшно, хоть он и решил не подчиняться им. Только сердце, единственная частица его существа, охваченная дрожью, заколотилось так же сильно, как недавно после дурного сна.

Но мысль оставалась ясной, воля твердой.

Пока разбойники совещались, он вспомнил о своем брате, и ему показалось, что он видит его воочию. Брат сидел в уютно обставленной спальне с атласными занавесками, спокойный и строгий, и держал в своих белых, холеных руках раскрытый молитвенник в темном переплете.

А потом дон Пеу увидел в этой спальне самого себя. Как злой дух, возник он рядом с креслом брата и сказал: «А что, если я пойду с этими людьми?» И тут же расхохотался, увидев испуганные глаза падре Максиа.

Посоветовавшись, разбойники подошли к нему, и тот, кто пришел первым, тронул его за руку.

— Вставай, пойдем с нами.

Он не встал. Но прикосновение руки преступника пронизало его дрожью с головы до пят. В глубине души он все-таки надеялся, что они его отпустят с миром, а теперь вдруг под ногами у него разверзлась бездна. Видение тихой спальни исчезло, но молодой падре по-

прежнему стоял перед его глазами. Он смотрел на него и говорил: «Нет, ты не пойдешь с ними, Пеу. Скорее, дашь себя убить, но с ними не пойдешь!»

— Да ну же, вставай, — твердил мужчина, а товарищи его подхватили под руки дона Пеу, словно помогая ему подняться.

Но он будто окаменел.

— Разве вы не видите, кто я такой? — вымолвил он наконец, и вся прежняя гордость вновь восстала в нем. — Я дон Пеу Максиа, брат падре.

Слова его громко отдались в ночной тиши, но люди остались к ним так же глухи, как деревья в каштановой роще. Ведь перед лицом неизбежного зла все равны.

— Вставай! — в третий раз повторил мужчина, и в голосе его звучали одновременно и увещание и угроза. — Вставай же наконец!

Но так как дон Пеу продолжал сидеть, двое бандитов принялись молотить его кулаками по спине и по голове. Он закричал, и крик его разнесся по долине вместе со стенаниями ветра, но тотчас же рот ему зажала чья-то горячая рука.

— Пойдем, дон Пеу, так надо!

Он встал и отряхнулся, как побитый пес. Ему казалось, что на шее у него висит страшно тяжелый груз, — то была его голова, несчастная, разбитая голова, она раскалывалась на части; как в калейдоскопе, в ней вихрем проносились обрывки мыслей, полные ненависти, унижения, ярости. Но образ брата все еще не оставлял его: молодой падре, облаченный в черное, незримо шагал рядом с ними, словно и он решил принять участие в готовящемся злодеянии.

— Пеу, — говорил ему брат. — Бросайся на землю, Пеу, пусть лучше они тебя убьют. Чего-чего ты только не натворил на своем веку: пил, картежничал, позорил нашу семью... Но только не это, Пеу, на это ты не пойдешь, не посмеешь пойти!

Он слушал, но продолжал идти за своими мучителями, и ему казалось, что он узник, которого ведут куда-то силой.

Разбойники прошли долину и теперь снова поднимались по опушке леса, благоухавшего ночной свежестью. Когда они продирались сквозь кусты, колючки больно хватили дона Пеу за руки, и ему казалось, что

это тоже бандиты, которые прятались в засаде, стараясь урвать свою долю добычи.

Лес кончился, и они остановились. Дон Пеу узнал это место: то было старое пастбище, со всех сторон замкнутое скалами. Там находилась овчарня зажиточного пастуха. Тень брата, незримо стоявшая за плечами дона Пеу, снова начала увещевать его:

— Да закричи же ты, по крайней мере, Пеу! Предупреди пастуха. Быть может, именно для этого господь и привел тебя сюда.

— Да, да, — отвечал он, продолжая шагать вместе с разбойниками: они шли, тесно прижавшись друг к другу, зажав дона Пеу посредине. — Да, да, сразу закричу, как только подойдем к хижине.

Но едва они подошли к овчарне, тотчас же загремел гром и раздался дикий вой, который мог бы разбудить всю округу. Выл сторожевой пес пастуха, но тут гроза, словно ринувшись на помощь разбойникам, с грохотом обрушилась на скалы. Грабители подхватили дона Пеу под руки и втащили его за собой в хижину. Там завязалась жестокая борьба, пастух с подпаском громко кричали, пытаясь вырваться из рук преступников. Дон Пеу отошел в сторону, надеясь выбраться наружу. Слабый свет рассыпавшихся по полу раскаленных угольев осветил ужасную картину, которая пригвоздила его к месту: у самого входа катался по полу чудовищный клубок сплетенных в борьбе тел. Потом все как будто кончилось: смолкло тяжелое дыхание борющихся. Пастухи лежали на полу, связанные, с кляпами во рту, а тот самый грабитель, который приказывал Пеу следовать за ним, склонился над поверженным и хриплым голосом просил, почти умолял:

— Деньги давай, те, что сегодня получил! Где они у тебя? Здесь, под мышкой? Лежи смирно: я не сделаю тебе худого. Спокойно, христианин! Не заставляй меня брать грех на душу!

Увидев, что выход освободился, дон Пеу подошел к двери, но выйти так и не осмелился: можно было подумать, что его испугал дождь, хлынувший как из ведра. Вспышки молний выхватывали из тьмы то один, то другой угол хижины, где грабители обыскивали связанных пастухов, а те, в тщетных попытках защитить себя, вырывались, судорожно били ногами, катались в золе,

рассыпавшейся по полу. Всклоченные волосы падали им на распухшие, лоснящиеся от пота лица.

— Вот, нашел! — раздался вдруг голос одного из грабителей, и тотчас же оба его товарища встали и опустили на лоб капюшоны.

«Нашел... — думает дон Пеу. — Интересно сколько? Сколько может прийти на мою долю?»

Но тотчас же, словно вышвырнутый чьей-то сильной рукой, выскакивает из хижины и пускается бежать под проливным дождем. И чувствует, как эта таинственная десница подталкивает, почти несет его. Он бежит не из страха перед разбойниками: теперь, когда все для них окончилось благополучно, они не станут причинять ему зла, — нет, он бежит от самого себя, от искушения принять свою долю добычи. Еще несколько шагов — и он будет в лесу, но вдруг при вспышке молнии он видит перед собой пастуха: разбуженный воем пса, тот спешит на помощь соседям. Они сталкиваются почти лицом к лицу, вспыхивает фиолетовый свет, гремит выстрел, и дон Пеу падает, словно от сильного толчка в спину.

Его нашли наверху, подле мельницы. Раскинув руки, он, словно распятый, лежал на том самом каштановом стволе, где обычно проводил все свои дни. Разбойники перенесли его туда в надежде, что раненый выживет, но не успели они дойти до места, как он скончался. Казалось, он просто упал, устав после долгого бега, и теперь спит, обескровленный, смертельно изможденный. Одежда на нем пропиталась дождем и кровью. Рассветало, и сетка из серебра и жемчугов опутала отяжелевшие от дождя ветви каштанов. Вокруг мертвого стеной стояли низенькие кусты ольшаника, и их вогнутые листочки до краев наполнились дождевой влагой, словно крохотные ладошки протянулись собрать хоть каплю драгоценной влаги после стольких месяцев жажды. А в ладони дон Пеу тоже оказались зажаты пачка ассигнаций и монеты — его доля добычи: грабители решили, что, даже мертвому, она принадлежит ему по праву.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда Манелла Фадда уходила из дома (а это случилось частенько, так как она была ревностной прихожанкой), то она всегда наказывала соседкам, в случае если кто будет спрашивать о ее племяннике Костантино, отвечать, что его нет в деревне. И вот как-то раз (дело было великим постом) в одно ясное прохладное утро у запертых ворот их дома остановилась маленькая, как ослик, лошадка. На ней сидела старуха из Мамои-ады, закутанная в два платка, один поверх другого. Увидев ее, соседка услужливо сообщила:

— Никого нет дома. Кума Манелла пошла к исповеди, а Костантино, верно, где-то гуляет: а может, тоже пошел в церковь. Если хотите подождать, заходите и погрейтесь.

Но незнакомая старуха как будто не слышала этих слов. Она сидела неподвижно на своей, словно вкопанной в землю, лошадке, и только ее черные блестящие глазки шарили вокруг, успевая все оглядеть и все заметить: и наглухо запертый, словно погруженный в траур, дом Фадды, и любопытных соседок, которые высыпали из своих лачуг на улицу кто с корзиной, кто с младенцем на руках. Внизу по склону горы бежала речушка, и ее вода казалась совсем зеленой в тени ольшаника, только что выбросившего первые нежные желтоватые листочки, трепетавшие на ветру, словно крылья бабочек. Улицу переходил какой-то мужчина, безбородый, в бархатном плаще. Увидев у ворот старуху, он внимательно оглядел ее, затем, пройдя несколько шагов, еще раз обернулся, потом совсем скрылся из виду. Старуха все сидела, не шелохнувшись, на своей

лошадке. Наконец какая-то женщина сказала, выглянув из двери своего дома:

— А вот и Костантино Фадда!

Старуха увидела, что по теневой стороне улицы бредет, прижимаясь к стенам, словно слепой, ссутуленный мужчина. Он то и дело останавливался, поправляя берет, и вид у него был при этом такой, будто он вспомнил, что ему нужно за чем-то вернуться назад. Старуха молча смерила его с ног до головы суровым взглядом. Как? Этот жалкий человек — богатый землевладелец Костантино Фадда? Тот самый, которому его первая жена оставила крупное состояние с одним только условием — чтобы он перестал жить во грехе со своей служанкой Барбарой? И он выполнил это условие — женился на Барбаре, но вскоре молодая жена сбежала из дома.

При одном взгляде на него становилось ясно, что это — грешник, отмеченный печатью гнева господнего.

Старуха спешила и привязала лошадку к решетке окна. Костантино взглянул на нее сначала с некоторым недоумением. Но, заметив соседок, подглядывавших из-за дверей, поправил резким жестом берет и, ответив на приветствие гостьи, открыл дверь. Сердце его радостно билось при мысли о том, что тетки — его строгой опекунши — нет дома. На мгновение ему показалось, что вернулись те суровые, волнующие дни, когда была еще жива синьора Ругита — его первая жена: бывало, она уходила в церковь, а он оставался дома с глазу на глаз с крошкой Барбарой.

Войдя, старуха огляделась. Дом был мрачный, сырой, наглухо замкнутый от чужих взглядов. Солнечный квадрат света от окна лежал на полу кухни, как на дне глубокого колодца. Большая куча золы в очаге походила на могильный холм.

Старуха спокойно, по-хозяйски уселась у очага и знаком пригласила сесть Костантино.

— Ты знаешь, что твоя жена живет у нас в деревне, в моем доме? Так вот, она просит у тебя прощенья и хочет вернуться.

— Лихоманка ее растряси! — выругался мужчина. Потом он поправил берет, весь согнулся и, подперев кулаками подбородок, погрузился в раздумье.

Старуха, сложив руки под передником, спокойно оглядывала стены.

— Если когда-либо женщина каялась, то, говорю тебе, — это именно Барбара. Загляни в глубь своей совести, Костантино Фадда! Подумай: ведь ты был зрелый, искушенный мужчина в то время, когда соблазнил ее. И где? В своем собственном доме! Ты осквернил свой очаг! Когда твоя жена Ругита объявила свою последнюю волю, она знала, что делает: такова была воля божья, то была кара, твой крест!

Мужчина поднял на нее горящий взгляд.

— А разве я не принял его со смирением? Господь отнял у меня сына, жену, потом допустил, чтобы эта несчастная грешница сбежала из дому! А я лишь покорно склонял голову. Чего же вам еще? Ведь мне следовало тогда догнать ее хоть на краю света и зарезать! Но все вокруг — от священника до последнего нищего, и друзья мои, и недруги, — все до единого удерживали меня и твердили: «Ты вогнал в гроб свою первую жену, так это тебе кара, это твой крест!» И вот во что я теперь превратился, глупец! Так что же вам еще нужно?

Но старуха и слушать его не хотела.

— Если когда-либо женщина каялась, то, говорю тебе, — это именно Барбара! А ты знаешь, как все это случилось? У меня есть сын, охотник, ты, наверное, слышал о нем. Красивый здоровый парень — высоченный, в эту дверь не пройдет! Так вот, он нашел твою жену на улице, полумертвую от голода и холода. И привел в наш дом. Мы ведь христиане, Костантино Фа, и мы думаем о спасении души. Вот я и держала твою жену у себя, как родную дочь. Она жила у меня всю зиму, и на первых порах я даже не знала, кто она такая. Созданье божье — и все тут. Потом сын рассказал мне ее историю: несчастная бежала из дому, как птенчик, который покидает гнездо, потому что...

— Лихоманка ее растрясла! Она бежала для того, чтобы никто не мешал ей строить глазки всем прохожим. Кто только не шлялся мимо моего дома! До тех пор, пока она была моей подружкой, она оставалась кроткой и послушной. Но как только я назвал ее моей женой, жизнь стала для меня божьим наказанием.

— Теперь это не имеет значения. Сейчас твоя жена раскаялась, ты ее примешь и запрешь в четырех стенах.

Она говорит, что будет жить, как монахиня. Я приехала для того, чтобы ты ее забрал. На пасху мой сын женится: берет девушку богатую, степенную, в годах, как и подобает солидному человеку, и она перейдет жить к нам. У сына моего сердце мягкое, как воск, и мы с ним охотно держали бы и дольше твою жену, но его нареченной это не нравится. Так вот, Костантино Фадда, подумай хорошенько, прислушайся к голосу своей совести: если твоя жена уйдет от нас куда глаза глядят, она станет совсем пропащей женщиной. А теперь скажи, положи руку на сердце, согласен ты взять ее в дом?

Он и вправду положил руку на сердце, и сердце его разрывалось от жалости, от желания, от любви. Но он боялся тетку Манеллу.

Как и следовало ожидать, тетка Манелла сказала «нет». Она только что исповедалась и причастилась и потому была настроена более непримиримо, чем обычно.

— Конечно, ты сам себе хозяин, — сказала она племяннику, — и волен делать все, что тебе вздумается. Но знай, если она переступит порог нашего дома, считай, что и я, и все твои родные умерли для тебя. И ты станешь посмешищем деревни, над тобой будут смеяться еще больше, чем сейчас, если это только возможно.

Этот последний довод заставил мужчину отказаться от принятого было решения. Старуха уехала тотчас же после полудня. Правда, Манелла из уважения к закону гостеприимства оставила ее пообедать, но что касается остального, тут и думать было нечего.

Тихо-тихо плетется лошаденка, едет старуха вниз по тропке, вдоль горной речушки. И вдруг ее окликают кто-то, сперва издали, потом все ближе и ближе, и лошадка останавливается.

Это Костантино мчится галопом на своем белоногом красавце коне: конь летит как птица, едва касаясь копытами земли. Костантино держится в седле прямо, на лице его играет улыбка — перед старухой будто другой человек.

— Послушайте, хозяйка, я хорошенько подумал и решил, что вы правы. Я не должен допустить, чтобы моя жена пошла по миру. Но в моем доме ее знать не хотят — вы ведь слышали? У меня есть хижина на вино-

граднике. Вон там — видите — на склоне Монте Гудулы? Пусть Барбара побудет пока там. Вот ключ — отдайте ей. Там она найдет еду и питье. Пусть поживет взаперти, если только она и вправду раскаивается и хочет вести монашескую жизнь. А там время покажет.

Старуха заворачивает ключ в кончик платка и, взглянув на виноградник, темнеющий среди неясной зелени горных лесов, снова пускается в путь. Костантино немного провожает ее. Он весел, счастлив, полон надежд и планов на будущее.

— Сейчас на винограднике никого нет, но ведь Барбара не из пугливых. К тому же неподалеку живут пастухи, мои приятели, они за ней присмотрят. И потом... тут буду я сам. Положим, в первые дни я не покажусь ей на глаза. Ведь так будет лучше, правда?

— Истинная правда.

Но на самом деле у него другие мысли. Обо всем договорившись и распрощавшись со старухой, он тотчас же поднимается на виноградник. Хижина, о которой он говорил старухе, это довольно вместительный каменный домик из двух комнат, одна из них завалена бочками и корзинами для винограда. Костантино все приводит в порядок, подметает в комнатах и на дворе, кладет у очага несколько поленьев. Потом он приносит хлеб и прячет его от мышей в корзину, подвешенную к потолку. Тут ему приходит в голову, что женщина не может жить одним хлебом. Он возвращается в деревню, тайком от тетки собирает небольшую сумку с провизией и на другое утро снова отправляется на виноградник. Мимоходом он заглядывает в бакалейную лавку, которую держит в их деревне одна нуорезка, и покупает кофе и сахару. Хозяйка лавки улыбается ему:

— Ах, Костантино, Костантино! Подарок для красотки, притом ревнивой, а?

Костантино смеется. Он счастлив, словно мальчишка, удравший из-под родительского надзора. Целый день он остается на винограднике, предаваясь приятным воспоминаниям. Как-то раз, еще при жизни первой жены, ему довелось побывать здесь с Барбарой. То было во время прополки виноградника. Ах, что это был за денек! При воспоминании кровь бьется в его висках, как поток бьется у подножья горы. Он ждет Барбару весь день, но вечерет, а ее все нет. Тогда он решает пе-

реночевать у пастухов, на вершине горы. Наступает прохладная и светлая ночь. Лепечут листья под порывами ветра, а на выступе скалы Монте Гудулы, словно золотое блюдо на консоли, лежит полная луна.

Вдруг собаки поднимают лай. Костантино вскакивает будто ужаленный и выбегает — взглянуть, что делается внизу, на винограднике. Не видать никого. Однако он не уходит обратно в хижину, а устраивается на земле, весь сжавшись, ждет долго, упорно. Нет, сердце его не обманывает: на тропинке показались наконец две фигуры — одна большая, другая поменьше. Они с трудом отыскивают в стене проем, войдя во двор, останавливаются перед домиком, потом входят. Костантино весь трепещет от радости, тревоги, сомнений. Он узнал Барбару и охотника — «высоченный, в эту дверь не пройдет!». Ну, будем надеяться, что, проводив гостью, он уберется восвояси. И действительно, когда окошко осветилось изнутри (видно, в очаге развели огонь), высокий вновь появился во дворе. Некоторое время он бродит вдоль ограды, словно разыскивая выход из сада, и Костантино облегченно вздыхает: слава богу, кажется, уходит! Но нет, ничего подобного! Голова охотника показывается над стеной, он выглядывает наружу, озирается, кажется даже, что он к чему-то принюхивается. Потом поворачивается к Костантино спиной, входит в домик и запирает за собой дверь. А Костантино сидит на земле и не может двинуться с места, как будто его только что ударили ножом. Он смотрит на луну над скалами Монте Гудулы, и ему кажется, что над ним склонилось смеющееся желтое лицо тетки.

«Ты станешь посмешищем деревни! Над тобой будут смеяться еще больше, чем сейчас, если это только возможно!»

А потом он вспоминает, как однажды, во время сбора винограда, его первая жена пришла сюда, чтобы заставь их с Барбарой врасплох. Она спряталась так же, как теперь прячется он, а после ушла — ушла потихоньку, не показавшись им на глаза... чтобы избежать скандала, как признавалась она потом.

Он вяло поднимается и идет обратно, к хижине пастухов. На пути его несколько камней скатываются по склону вниз, и задетые ими тисовые кусты тихонько вздыхают, словно пробудившись от сна.

**СВИРЕЛЬ
В ЛЕСУ**

1923



СВИРЕЛЬ В ЛЕСУ

Молодая женщина, желая укрыться от несчастья, которое судьба послала ей совсем бесплатно, попала еще в одну беду... за шесть тысяч лир.

Снять виллу на два месяца вблизи одного из фешенебельных климатических курортов за шесть тысяч лир — это не так уж накладно. Беда же была в том, что курорт находился на расстоянии трех километров от виллы, а сама вилла, привлекательная снаружи, с изящной зубчатой башенкой и мраморной лоджией, пришла в полную ветхость и оказалась без света и без воды. Вдобавок ко всему в комнатах была адская жара, на стенах множество следов от убитых москитов, а на террасе свила гнездо сова.

Однако гордость не позволила женщине вернуться туда, откуда она ушла. Всем своим знакомым она разослала открытки с изображением виллы, которая даже имела с нею некоторое сходство. С виду обе они казались красивыми и элегантными, а внутри — и в доме, и в душе женщины — было мрачно и пусто.

Но зато к целебному источнику вела красивая аллея; вдоль нее росли каштаны и ели, бросавшие на землю прохладную тень. Это немного утешало женщину. На аллее нередко попадались скамейки, каменные тумбы, мостики с низким парапетом, где можно было присесть и отдохнуть.

Женщина любила посидеть на таком мостике, любила смотреть на извивающуюся под ним изумрудную змейку реки, окаймленную с обеих сторон бахромой тростника и зелеными полосами леса, сквозь которые то тут, то там проглядывало голубое небо.

Дрозды, соловьи и сороки устраивали здесь концерты.

Однажды — это было в конце июля — к пению птиц неожиданно присоединились звуки свирели. Можно даже сказать, что свирель совсем заглушила птиц.

Женщина подняла голову — ей казалось, что звуки идут откуда-то сверху. Она точно не знала откуда, не знала, льются ли они слева или справа, но вскоре убедилась, что льются они именно сверху, как песня соловья, выводящего свои трели на верхушке ели или каштана.

Мотив свирели был коротким, но с вариациями, и все время повторялся и звучал очень ласково, ну совсем как песня соловья. В глухой тишине леса казалось, что это и на самом деле пела какая-то таинственная, фантастическая птица из волшебной сказки. Птица, которая, быть может, когда-то была человеком, превращенным колдовскими чарами в пернатое существо.

И женщина услышала рассказ загадочной птицы:

— Моя история, вероятно, похожа на все истории мира, и все же она совсем особенная! Как не бывает двух одинаковых листьев или двух одинаковых волн, так не бывает и двух одинаковых человеческих историй. Вот моя история: была и я когда-то ребенком, и притом счастливым. И все же почему я плакала так часто? Потом я выросла, стала девушкой, по-прежнему счастливой, и перестала плакать. Но меня почему-то тревожило, что я не могла больше плакать, как это бывало со мной в детстве. Тогда, стремясь излить свои чувства, я стала петь. Но ни слова, ни музыка не могли выразить того, что таилось в моей душе — желание, страсть, тревожное ожидание радости. Какой будет эта радость и откуда она придет, было мне неизвестно, я только знала, что без нее не смогу жить. Впервые я ощутила ее, когда полюбила. Но радость казалась мне неясной, едва уловимой, как луна среди облаков, — такая же далекая, ускользающая. И я потянулась к ней, как ребенок тянется к луне, и попыталась схватить ее. Я падала и снова поднималась, томилась и жаждала томленья. Я считала себя самой несчастной на свете, затерянной среди людей, и мне хотелось быть одной из бесчисленных звезд вселенной.

Но однажды, в лесу, слушая пение соловья, я вдруг заплакала. Это принесло мне облегчение. Я захотела увидеть чудесную птицу и решила отправиться на ее поиски. И вот тогда бродившая по лесу злая волшебница превратила меня в птицу.

И теперь я пою, рассказывая свою историю, которая кажется похожей на многие другие истории, и все же она совсем не такая, как все остальные.

Звуки песни отозвались эхом в смятенной душе женщины, и она заплакала. Слезы и ей принесли облегчение, она немного забылась.

Но чей-то громкий свист вернул ее к действительности. По аллее бежал босоногий мальчишка и свистел что есть мочи, словно издеваясь над таинственной музыкой и, как казалось женщине, над ее взволнованностью.

Все же она почувствовала себя успокоенной, умиротворенной и сжалилась над стоявшим на повороте аллеи слепым нищим, которому прежде никогда не подавала милостыню. А сегодня она даже бросила в его опрокинутую старую шапку целую горсть монет.

Пение загадочной птицы повторялось и в последующие дни. Оно доставляло удовольствие не только женщине. Гуляющая публика, настроенная на романтический лад, парочки, украдкой встречавшиеся на аллее, пожилые иностранки с книгой или фотоаппаратом в руках, все останавливались, завороченные таинственными звуками песни.

Стали расспрашивать нищего, но тот ничего не знал и даже понятия не имел, о чем идет речь, — ведь он слепой и к тому же почти совсем оглох.

Женщине хотелось безраздельно наслаждаться чарующей музыкой, и ее раздражали расспросы любопытных. Однако постепенно расспросы прекратились, хотя она и заметила, что аллея стала еще многолюднее.

Однажды она увидела рядом с нищим нескладного оборванного мальчишку, того самого, что своим назойливым свистом помешал слушать свирель и нарушил приятную меланхолию. Он говорил что-то нищему на ухо, не только не напрягая голоса, но почти шепотом. Нищий отталкивал от себя мальчишку, но тот не унимался, приставал к нему, как надоедливая осенняя муха,

до тех пор, пока не получил несколько монет. Тогда он засвистел и без оглядки пустился наутек. Женщина, смотревшая ему вслед, видела, как он вскоре исчез, словно дикий зверек в зарослях леса.

«Мальчик может что-нибудь знать о таинственном музыканте», — подумала она и решила выследить его, чтобы обо всем расспросить. Но мальчишка больше не появлялся. Впрочем, зачем ей сдался этот музыкант. Вполне может статься, что это какой-нибудь чудак, притаившийся в кустах или за стволами деревьев в чаще леса.

— Для чего тебе знать, кто я? — спрашивала ее свирель. — Разве моя история не похожа на твою? Зачем ты преследуешь меня? Берегись, как бы лесная фея не разгневалась и не заставила тебя пожалеть об этом. Ведь моя история так похожа на твою.

Но женщина была любопытна. Все люди сотканы из любопытства. Они готовы забыть, что их обокрали, лишь бы допытаться, каким образом воры совершили кражу. Люди стремятся найти причину постигшей их болезни, как будто это поможет им исцелиться.

Желание во что бы то ни стало узнать, кто же все-таки играет на свирели, лишало женщину удовольствия слушать музыку.

Возможно, тут примешивалась еще и некоторая настороженность, а может, это было рождением какой-то мечты.

Однажды нескладный мальчишка очутился как раз возле самой виллы. Он предлагал купить у него кролика, которого, несомненно, где-то украл. Кстати сказать, мальчишка запросил за кролика в три раза больше того, что он стоил.

Возмущенная кухарка уже готова была прогнать мальчишку, когда неожиданно появилась синьора.

— Ну что ж, — спокойно заявила она, — мы купим кролика, но за это ты должен сказать мне, кто играет на свирели в лесу.

Мальчишка пристально взглянул на нее своими бесстыжими зелеными глазами, но ничего не ответил.

— Возьми кролика, — обратилась синьора к кухарке, — а ты, мальчик, пойдешь со мной.

Прежде чем отдать кролика, мальчишка потребовал деньги и только тогда последовал за синьорой. Однако заставить его говорить оказалось не так просто. Пришлось посулить ему пять лир, которые женщина не переставая вертела в руках.

— Идите за мной, — сказал наконец мальчишка, опережая ее и делая знак следовать за ним.

Они ступили на одну из бесчисленных тропинок, переплетающихся между собой, словно жилки, и углубились в лес. Постепенно, шаг за шагом, лес становился все гуще, темнее, а ветки кустов и деревьев цеплялись за одежду своими колючками. Все это немного пугало женщину, и она то и дело останавливалась в нерешительности, не зная, идти ли ей дальше.

Вдруг она услышала знакомые звуки, и это ее успокоило. Ей даже показалось, что кто-то зовет и манит ее к себе. Свирель устремляла свою прозрачную мелодию в тишину леса и словно высвечивала мрачные тени деревьев серебряными лучами. И все вокруг залилось лунным светом, точно в волшебной сказке: тропинки стали шире, а кусты ежевики казались теперь кустами роз в каком-то заколдованном саду.

Но у музыканта оказался тончайших слух. Звуки свирели разом стихли, едва мальчишка шепнул женщине:

— Идите вон к тому корявому дереву и поглядите на верхушку ели, что растет рядом. Я не могу идти дальше, потому что, если попадусь ему на глаза, он убьет меня.

Шорох шагов и платья заставил свирель умолкнуть совсем. Женщине удалось лишь увидеть какого-то странного уродца, зарывшегося в больших и мохнатых ветвях ели, свисавших вниз под его тяжестью. Уродец сверлил ее сверху злыми глазами, такими же зелеными, как и у мальчишки.

— Ты решил подшутить надо мной, — сказала она своему поводырю, который спрятался неподалеку и теперь поджидал ее, желая получить обещанные пять лир.

— Нет, клянусь вам. Это мой двоюродный брат, он — дьявол! Он играет для нищего, а тот дает ему за это пол-лиры в день. Свирель приманивает людей к аллее.

ДРАМА

Печальное событие, которое так страшило юного студента, хотя он цинично посмеивался и даже призывал его, к несчастью, все-таки произошло.

Мать ушла из дому.

— Читай, — сказал отец, разбудив его как-то утром.

Потом отец пошел на службу, словно ничего не случилось. Каждое утро он должен был расписываться в журнале явки, и только смерть или тяжелая болезнь могли помешать ему выполнить свой долг и обязанности чиновника.

А сын, с запиской в руке, остался лежать в чистой теплой постели, в своей светлой комнате, где в беспорядке были разбросаны вещи. Ему казалось, что все это дурной сон. В записке значилось всего несколько слов: мать сообщала, что уходит, о чем она предупредила их накануне вечером уже в тысячный раз.

Она просто устала. Устала от своей бессмысленной работы, устала от безнадежной борьбы с сотней мелких будничных невзгод. И самое главное: несмотря на все старания, ей не только не удавалось порадовать чем-то мужа или сына, но даже просто успокоить их постоянное раздражение. Особенно трудно было ей с сыном. Что касается мужа, то он, хоть и ворчал беспрестанно, но, по крайней мере, не повышал на нее голоса. Сын же спорил с ней по всякому поводу и вечно был недоволен. То сорочки плохо выглажены, то обед невкусен, то носки не заштопаны, то будят его очень рано — в десять утра, то мало дают денег на карманные расходы, то никуда не годится служанка, которую мать постоянно выгораживает.

— Все у нас идет кувырком, а все потому, что не умеешь командовать служанкой, — выговаривал он матери, и это было не самое резкое из его замечаний.

Ну что ж, теперь он сам будет командовать служанкой! Но беспокойство в его душе не только не проходило, а, наоборот, усиливалось. Куда же она все-таки ушла? Наверно, уехала в усадьбу. Она каждый раз грозилась туда уехать, когда терпение ее истощалось. Слава богу, что хоть погода сегодня хорошая, и, слава богу, что мать еще накануне вечером распорядилась насчет всяких покупок, и служанка ушла рано утром, не подозревая о бегстве хозяйки.

Дело в том, что студент боялся скандального шума вокруг этой истории. Ведь втайне он гордился своей матерью, еще не старой и умной женщиной, которая всю себя отдала дому и семье.

Беспокойство все росло, но это не мешало бесу в его душе ликовать и радоваться. Это был тот самый бес, который не раз подстрекал его крикнуть матери, когда та грозила уйти из дому:

— Вот и хорошо! По крайней мере, освободимся от твоей тирании!

И теперь он свободен. Свободен! Но от чего? Он сможет без помех спать утром сколько захочет, сможет ругать служанку и заставлять ее вновь начищать уже начищенные ботинки. Сможет выходить к завтраку, когда ему заблагорассудится (конечно, если только отец согласится сидеть за столом в одиночестве и следить за тем, чтобы его порция не остыла и чтобы ее не утащила прожорливая служанка), сможет...

Вдруг у входной двери задребезжал колокольчик. Это заставило его подняться. Сердце тревожно забило. Может, это весточка от матери? Нет, для вестей еще слишком рано. Но он внезапно осознал, что уже ждет их, ждет с нетерпением.

Увидев на пороге маленькую сутулую фигурку служанки, почему-то считавшую себя очень изящной и стройной, он почувствовал острую досаду. Служанка потеряла ключ, и ему пришлось выслушать ее рассказы и причитания.

— А где же синьора? — спросила она.

— Пришла телеграмма, что дедушка при смерти. Она вынуждена была срочно выехать.

— Дедушка — это отец хозяина?

— Дура! Тогда бы поехал папа. Ну, поторапливайся... Сегодня, а может, и завтра, тебе придется иметь дело со мной. Почисть-ка снова мои ботинки, да поживей! И чтоб на эту тему мы больше не говорили! Научись наконец чистить их так, как мне нравится.

— Э-э, синьорино! Я вижу, вы не слишком огорчены, что дедушка ваш помирает!

Он не сразу нашел, что ответить, а тут опять зазвонил колокольчик, и у него снова заколотилось сердце.

Тысяча чертей! Это пришла прачка. Обычно синьора сама собирала для нее белье и прилагала к нему список. Служанка даже не знала, где оно лежит.

— Скажи ей, чтобы зашла в другой раз, — буркнул синьорино, мысли которого были заняты только ботинками.

Как бы не так, синьорино! Вы, видно, не знаете, что такое прачка, не знаете, что у нее тоже есть чувство собственного достоинства! Предложение заглянуть в другой раз возмутило и обидело благородную труженицу. Она даже пригрозила, что больше вообще не будет стирать им белье. А служанка стала уверять синьорино, что если эта прачка откажет им, то другой не найти. Так что придется ему ходить всю жизнь в грязной рубашке.

Когда прачка наконец ушла, прихватив с собой узел с бельем, суматоха в доме как будто немного улеглась. Юноша поел и оделся, не обращая внимания на царивший вокруг беспорядок, и уже собрался уходить, когда служанка остановила его. Ей нужно было сделать отчет о расходах. Она считала и пересчитывала, и это длилось ужасно долго. В отместку он потребовал у нее сдачу.

Но боже мой, что творится на кухне? Громко шумит вода, пахнет горелым, служанка вопит благим матом, а синьорино удирает. Она ловит его на лестнице и зовет в кухню, где, по ее словам, происходит что-то непонятное и страшное. Но он даже не отвечает, он бежит прочь на воздух, на свободу... Он хочет быть мужчиной и не хочет быть бабой, задержанной домашними заботами.

Весь город упивался чудесным днем. А он дышал с трудом, и ему казалось, что город тоже осиротел.

Домой он вернулся еще до полудня. Прежде он чувствовал себя несчастным оттого, что за стол у них садились в час дня или чуть позднее, а сейчас он разозлился, потому что обеда и в помине не было.

— Но поймите, синьорино, мне ведь теперь приходится делать все самой! — взмолилась служанка. — А тут еще газовые горелки испортились. Вы ведь даже не пожелали вернуться и взглянуть! Мне пришлось растопить плиту.

Он ничего не смыслил в горелках, но был вынужден пойти и посмотреть, в чем там дело: одна из горелок не работала, оттого что сдвинулся колпачок, а из другой бойко утекал газ. Просто чудо, что не произошло несчастья и дом не взлетел на воздух!

Но довольно о неприятностях: в тот злополучный день их можно было насчитать не меньше сотни.

Сидя за столом, они чувствовали себя такими несчастными, что даже не замечали вкуса еды. По правде говоря, муж надеялся, что жена ушла ненадолго— прогуляется немного и, раскаявшись в своем легкомыслии, прибежит домой, когда он вернется из конторы.

Поэтому теперь он был разочарован и молчал. Стол без нее выглядел пустым и мрачным, как мир без солнца. И когда юноша попытался было заговорить о случившемся, тихо-тихо, чтобы служанка не слышала, отец велел ему замолчать.

— Что сделано, то сделано... — заявил он.

Сын хотел возразить, сказать, что все заботы по дому легли теперь на его плечи и эта тяжесть ему просто не по силам. Но вдруг в собственном голосе ему послышался голос матери и показалось, что это не он, а она сидит на его месте за столом. И он испугался, что теперь придется выслушивать брюзжание отца, и ему захотелось тоже сбежать из дому.

После обеда стало как будто спокойнее. Служанка удалилась в свою комнату, чтобы заняться на досуге своими делами. Сын пошел к себе заниматься и писать.

Он сочинял драму.

Однако в тот день ему не удалось написать ни строчки, хотя действие драмы уже подошло к кульми-

национному моменту. Он никак не мог сдвинуть ее с места.

У него ничего не получалось. Опьянение работой, которое он испытывал прежде, исчезло, и ему даже показалось, что произведение его надуманно и фальшиво. Настоящие драмы, происходящие в жизни, похожи на драму, которую он переживает сегодня, — драму без слов и почти без действующих лиц.

Но кто вообще умеет писать драмы? И если даже кому-нибудь это и удастся, то все равно у зрителей эти драмы вызывают презрение и зевоту.

Слабость постепенно охватила его. Он изнемогал, он не мог двинуться с места, не мог даже думать. В тревожном ожидании сидел он за своим столом, не шевелясь, обхватив голову руками.

Чего он ждал?

Письма, телеграммы, нетерпеливого звонка колокольчика, — одним словом, какой-нибудь весточки от нее. Но он знал, что ожидание напрасно.

Вокруг него сгущались вечерние тени, и ему казалось, что мрак окутывает и его душу.

Одни воспоминания сменялись другими, становясь все многочисленнее, все явственнее. Как раз в это время мать обычно возвращалась домой и почти всегда приносила ему всякие вкусные вещи. С ее появлением в доме даже в самые темные вечера становилось как будто светлее.

Он закрыл руками глаза и почувствовал, что его охватило желание крикнуть: «Мама, вернись!»

И вдруг он *увидел* ее, бледную и маленькую, печально и одиноко блуждающую по усадьбе. И он подумал, что, быть может, она вернется, если поехать за ней. Он снова открыл глаза, и ему показалось, что свет его надежды озарил даже небо: то была луна, медленно встававшая над горизонтом.

Тогда он снова обрел способность двигаться. Надо было посмотреть, что делает служанка. Но служанка, оказывается, отправилась куда-то по своим делам и еще не вернулась.

Когда служанка пришла, он напустился на нее с бранью. А она тем временем вспомнила, что отец хозяйки давным-давно умер, и поняла, что в семье творится неладное. Впрочем, ее даже устраивала перспектива обслуживать двух одиноких мужчин.

— Ну что ж, синьорино, видно, я вам не подхожу, — проговорила она с любезностью палача, набрасывающего веревку на шею приговоренного. — Придется вам подыскать себе другую служанку.

Тогда он вспомнил, что мать обегала десяток различных агентств, расспросила два десятка привратниц, прежде чем нашла служанку, и почувствовал, что его прошиб холодный пот.

— Папа, — сказал молодой человек, когда служанка перестала наконец шипеть и вышла из комнаты, — надо бы поехать в усадьбу и уговорить ее вернуться.

Отец выглядел усталым и озабоченным, каким, впрочем, бывал всегда после долгих часов сидения в конторе.

— А ты уверен, что она в усадьбе?

— Где ей еще быть? Ведь не уехала же она в Париж?

— Все может случиться.

Была ли тут ирония или в голосе отца прозвучала подлинная грусть? Разгадать это не удалось даже сыну. Но все же он улыбнулся, хотя и испытывал в душе неясную тревогу.

— Так или иначе, папа, завтра тебе следует поехать в усадьбу.

— В усадьбу? А контора? Ты же знаешь, теперь надо расписываться, когда приходишь на работу.

— Тогда поеду я. Но увидишь, меня она не послушается. Поехать нужно тебе.

— Я уже сказал, что не могу!

— Черт бы побрал твою контору!

Спор разгорался все сильнее, когда неожиданно в передней зазвонил колокольчик, отозвавшийся эхом в сердцах обоих мужчин.

Наконец! Конечно же, это телеграмма — хоть какая-то весть от нее! Все бросились к двери — отец, сын, даже служанка прибежала с вилкой в руке.

За дверью стояла она. И в руке она держала большую корзину с виноградом: надо же было их чем-то порадовать!

ВЕРШИНА

В альпийскую деревушку прибыли двое чужестранцев — люди немолодые, но еще крепкие, — должно быть, муж и жена, а может, брат и сестра (между ними было какое-то неуловимое сходство) — и тут же спросили, нельзя ли им немедля подняться на вершину горы.

Проводник ждал их на своем обычном месте, и они, не мешкая, пустились в путь. Десять часов восхождения, и вот под прикрытием огромной, похожей на капюшон скалы они увидели горную хижину. Войдя в хижину, путешественники вздохнули с облегчением, потому что поднялся сильный ветер.

Крепко сколоченный домик легко выдерживал неистовый напор ветра и зимнюю непогоду. В нем нашлось все необходимое: койки, прикрепленные к стенам и расположенные одна над другой, как в каютах, скамьи, посуда, стол. Был здесь и камин, большой и глубокий, похожий на церковный алтарь. В трубе камина всюду гулял ветер, и завывание его напоминало протяжные звуки органа.

Несмотря на разгар лета, было холодно. Но у проводника оказалось с собой два теплых одеяла, и синьоре пришлось признать, что они куда нужнее вазочки для цветов, которую она вместе с веревкой сунула в свою сумку перед подъемом. О цветах здесь можно было только мечтать. Карабкаться на вершину и подвергать себя опасности в поисках цветов просто не имело смысла.

Голые, лишённые растительности скалы были сложены из черного глянцевого сланца, который в лучах заката приобретал темно-розовый оттенок глеющих

угольев. И лишь кое-где в узких расщелинах, откуда ветер не выдул еще всю землю, размахивал своими большими зелеными лапами папоротник.

Вокруг ни цветов, ни травы, ни деревьев, и все же было в этом пейзаже что-то неуловимо весеннее. Такой бывает весна в феврале — весна обнаженная, юная, полная надежд и обещаний. В оврагах уже бежали ручьи и пахло талым снегом.

Проводник развел огонь в камине и стал поджаривать ножку козленка, которую он захватил с собой из деревни. Нашлось у него и вино, так что путешественники отлично подкрепились. Но ветер крепчал и дул теперь не переставая, словно разгневанный присутствием людей, вторгшихся в его владения и нарушивших его покой. К тому же становилось все холоднее, так что ничего другого не оставалось, как лечь спать и ждать рассвета.

— К утру ветер стихнет и наступит чудесный день, так всегда бывает, — сказал проводник, запирая дверь на засов.

— Это что, от воров? — спросила синьора, которая была неразговорчива и еще ни разу не улыбнулась.

— Сюда они не заглядывают, — ответил проводник. — Ведь в горах никто не живет, а подъем, как вы сами видели, не из легких. Во всяком случае, этой ночью они не явятся.

— А, пусть явятся! — воскликнул путешественник, иронически улыбаясь и похлопывая себя по карману. Но, перехватив быстрый взгляд спутницы, серьезно добавил: — В обиду себя не дадим!

Он вытащил револьвер и положил его перед собой на стол. И тут кто-то постучал в дверь.

Женщина вздрогнула.

— Не пугайтесь, — сказал проводник. — Я знаю, кто это.

Бормоча ругательства, он открыл дверь. Пугаться и в самом деле не стоило. На пороге стоял мальчик — бледный, оборванный, в большой шапке с козырьком, должно быть потерянной в горах каким-нибудь туристом. Мальчик неотрывно смотрел на проводника своими грустными глазами, смотрел умоляюще, но без всякой надежды. И действительно, проводник угрожающим жестом приказал ему немедленно обратиться. Но мальчик

не послушался проводника, он повернулся к чужестранцам, которые с любопытством наблюдали за происходящим, и взглянул на них печальными глазами прирученного зверька. А когда проводник знаком приказал ему закрыть дверь, мальчик отчаянно ухватился за косяк своей желтой, как воск, худенькой ручонкой — пусть ему прищемят пальцы, он все равно не уйдет! Он весь дрожал, дрожал от холода, от страха, но получалось это у него как-то искусственно.

— Кто это? — спросила женщина.

— Это мое наказание, синьора! — отозвался проводник. — Он дурачок, и к тому же глухонемой. Стоит только появиться туристам — он тут как тут: клянчит у них милостыню.

— Пусть войдет, — сказал путешественник.

— Да что вы! У него полно вшей! А потом, если он привяжется, то уж ни за что не отстанет. Пошел вон! — заорал проводник, отрывая руку мальчика от косяка.

— Я не позволю вам так жестоко обращаться с ребенком! — вспыхнул путешественник. — Впустите его! В такую ночь грешно выгонять из дому божье создание.

— Не беспокойтесь: у него есть свое логово, и оно куда надежнее, чем эта хибарка! Ему здесь известна каждая щель. Сейчас дам ему кусок хлеба, и хватит с него.

Проводник направился к столу, на котором лежал хлеб, а чужестранец тем временем жестом пригласил мальчика войти и сам затворил дверь. Проводнику это не понравилось, и он не стал скрывать своего недовольства, но возражать не посмел. Как собаке, бросил он мальчику кусок хлеба, указал ему место в углу, у дверей, и жестом приказал не выходить оттуда. Однако мальчик почувствовал, что у него есть защита. Прижавшись спиной к стене, он боком стал пробираться к камину, откусывая от своего ломтя хлеба и не сводя глаз с чужестранца. Таких глаз путешественник еще никогда не видел: синие, лучистые, кроткие и печальные, как глаза Иисуса.

Но женщина, после того как первый порыв любопытства у нее прошел, почувствовала к мальчику явную неприязнь. Ее глаза тоже были синими и грустными, но холодными, как небо в ту ненастную ночь.

— Ну, завтра я с тобой разделаюсь! — замахнувшись, пригрозил мальчику проводник.

Путешественник невольно подался вперед, чтобы заслонить ребенка, который уже успел добраться до камина и замер, пристроившись у огня. Мальчик жевал свой кусок, пристально смотрел на языки пламени, и казалось, ни до чего на свете ему теперь нет дела.

Ветер дул всю ночь, дул яростно и неутомимо, то и дело налетая, как злой дух, на стены их убежища. Казалось, что он решил во что бы то ни стало вымести наружу укрывшихся там людей и сбросить их в глубокую горную пропасть.

Проводник, похрапывая, безмятежно спал, а чужестранец не мог никак заснуть. Время от времени он поднимал голову и поглядывал на мальчика, который спал крепким сном, свернувшись калачиком в кругу отбрасываемой им тени. Путешественник даже позавидовал ему. Потом погас в камине огонь, и сон — единственное из земных благ, которое никогда не обманывает человека, — объял всю хижину.

Проснувшись, все замерли в изумлении: казалось, что они видят сон. Ветер совсем затих, и солнце заливало стены комнаты радужным светом. Ярко-голубое небо словно начиналось сразу же за порогом и было таким чистым, ясным, точно его никогда и не затягивало тучами.

Выглянув за дверь, путешественники увидели долины и подножья гор, окутанные светлыми волнами тумана, и им почудилось, будто они находятся на пустынном острове. А первозданная тишина и чистота воздуха вселили в них чувство легкости и свободы.

Путешественников настолько поразила красота открывшегося им пейзажа, что они решили остаться здесь на несколько дней. Однако для этого требовалось пополнить запасы провизии, и они попросили проводника сходить за ними в деревню. А уж потом они вместе спустятся вниз. Для того чтобы окончательно убедить проводника, ему предложили задаток в счет обещанного вознаграждения. Проводник сначала запротестовал, но в конце концов согласился.

Между тем мальчик выскользнул из хижины и, прильнув к стене, стал чего-то ждать, не спуская глаз с чужестранца. А тот следил за тем, чтобы проводник не привел в исполнение свою вчерашнюю угрозу. Но скоро это ему надоело. Он извлек из кармана брюк горсть монет и поманил к себе мальчика. Потом, раздумав, сам подошел к нему и, отдав деньги, ласково попросил его уйти.

Мальчик тотчас же повиновался. Он побежал прочь, перепрыгивая с камня на камень, и его лохмотья развевались на ветру, словно взъерошенные перья маленького коршуна.

Оставшись одни, путешественники сели на каменную скамью у самой двери, и мужчина взял женщину за руку.

Она вздрогнула, как вчера при стуке в дверь, — эта дрожь передалась ее спутнику. И оба задрожали, словно звенья одной цепи. Но уже в следующее мгновение каждый из них постарался скрыть от другого свое волнение и сдержать внутренний трепет.

Они сидели молча, избегая смотреть друг другу в глаза.

Внизу, у их ног, таял туман, открывая серо-зеленые волны горных цепей, которые вдали замыкались серебристой полоской моря. Но люди ничего не видели. С лица мужчины сбежала его обычная улыбка, и оно было теперь холодным, застывшим, как лицо мертвеца.

Внезапно он встал и направился в глубь площадки, на которой стояла хижина. Там он остановился и посмотрел вверх, стараясь разглядеть тропу, ведущую на самую вершину горы. Потом он вернулся к своей спутнице.

Она тоже поднялась и взяла со скамьи веревку. Низко опустив голову, мужчина вышел на тропу и начал подъем. Она последовала за ним.

Они двигались не спеша, внимательно глядя себе под ноги. Подъем был крутым, но не трудным. Сланец ярко блестел, распространяя в воздухе запах металла. Вдруг мужчина остановился, пропуская женщину вперед, — тропа в этом месте обрывалась, и

путешественники с риском для жизни должны были карабкаться по небольшим каменным выступам. Женщина пожала плечами — опасность ее не страшила — и, не оглядываясь назад, стала подниматься выше.

На вершине горы была небольшая круглая площадка. Ее каменная поверхность оказалась совершенно гладкой, словно отполированная, и смотреть на нее было немного жутко. Смотреть следовало вдаль, — иначе ничего не стоило потерять равновесие — волшебное чувство связи с землей, которое удерживает человека на ногах.

Северный склон горы отвесно уходил в глубокую пропасть, откуда поднималось ледяное дыхание, казавшееся дыханием самой смерти. К краю этой пропасти и подошли оба путешественника.

Женщина медленно раскрутила веревку и, обмотав один ее конец вокруг себя, другой протянула мужчине. Тот сделал неопределенный жест рукой, который, возможно, означал, что ничто уже теперь не имеет значения, что они и так соединены навеки, даже если их тела упадут далеко друг от друга. Тем не менее веревку он взял и тоже обмотал ее вокруг пояса.

Женщина уже держала в руках оба конца веревки, собираясь связать их узлом, когда что-то заставило ее еще раз вздрогнуть. Это что-то, напоминавшее две орлиные лапы, неожиданно вскинулось над краем площадки — сначала одна лапа, потом другая. Затем показалась шапка, а потом лицо глухонемого. Одним прыжком он очутился рядом с путешественниками. На скользкой каменной площадке он держался уверенно и спокойно, словно на деревенской улице. Его нимало не смутило, что чужестранцы были связаны веревкой, потому что трусливые туристы именно так всегда и поступали. Он лишь осмотрелся, желая удостовериться, что рядом с ними нет проводника. Затем он сделал мужчине знак следовать за ним, а женщине — оставаться на месте и ждать. Увидев, что на его знаки не обращают внимания, мальчик вынул из кармана какой-то тяжелый блестящий камень и протянул его мужчине. Тот взглянул на камень, и глаза его загорелись.

— Это же серебро! — воскликнул он. — Где ты его взял?

Мальчик снова сделал ему знак следовать за ним. И женщина сказала:

— Ступай, я подожду тебя здесь.

Впоследствии она не могла вспомнить, сколько ей пришлось тогда ждать. Она клубочком свернулась на земле — так же, как вчера мальчик у камина, — и ей почудилось, будто далекие девичьи грезы обступили ее голубым хороводом.

Наконец мужчина вернулся. Он бросился на землю рядом с ней и, с трудом переводя дыхание, прошептал:

— Здесь действительно залежи серебра. Металл почти в чистом виде. Мальчик уверяет, что никто о нем не знает. Он объяснил мне, что земля здесь ничья и что хозяином могу стать я. Пойми, это наше спасение — от разорения, от позора... от смерти, — прибавил он едва слышно.

— Ты это заслужил, — сказала она просто.

МАДОННА СО СВЕРТКАМИ

Случилось это в августе прошлого года, в чудесную лунную ночь. Я сидела на скамейке в самом конце мола и разговаривала с морем. Мне было скучно: за долгое время можно и с морем обо всем переговорить. И наступает минута, когда голос человека начинает звучать для тебя громче и значительнее, чем голос морских волн.

Именно так прозвучали для меня голоса двух молодых людей, которые, присев на краешек скамейки, заговорили на моем родном диалекте.

Моя Сардиния лежала за морем, так же далеко отсюда, как далеки были молодые люди от мысли, что сидевшая рядом с ними синьора понимает их речь.

Были они самыми обыкновенными таможенными охранниками, но в тот момент показались мне личностями, достойными внимания, и я стала прислушиваться к их беседе с таким же интересом, с каким зритель, сидящий в театре, слушает захватывающий диалог в исполнении знаменитых актеров.

Сказать по правде, разговор их был вначале не слишком занимателен. Тот, что выглядел моложе, видимо, находился перед этим в отлучке, потому что спросил, не случилось ли чего нового в казарме за минувшие дни. Его товарищ рассказал ему о стычке между фашистами и коммунистами, которая произошла недавно на городской площади и в которую пришлось вмешаться таможенным охранникам, поскольку иных стражей общественного порядка поблизости не оказалось. Однако ни того, ни другого это событие не интересовало: они были совершенно равнодушны к полити-

ке и ко всем местным происшествиям. Тот, что был по-старше и находился на площади во время беспорядков, говорил о случившемся с полным безразличием, и оба они казались здесь чужими и от всего далекими.

Потом старший немного оживился, рассказав об охоте на дельфина. Три беззаботных животных, заигравшись, подплыли к самому молу, и одного из них сразила пуля охранника. Но даже и это приключение не захватило воображения его собеседника. Он пошвыстывал и, казалось, совсем погрузился в приятные размышления. Но когда на серебряной лунной дорожке неожиданно появилась лодка без паруса, в которой темнели силуэты людей, молодой человек вдруг встал и засмеялся, тихо-тихо, словно он был один и вспомнил что-то очень забавное. Когда же лодка скрылась в темноте, он засмеялся громче, а потом, чертыхнувшись, опять сел на скамейку, сжимая ружье руками.

— Видел лодку, а? — протянул он низким, глуховатым голосом. — Я засмеялся потому, что как увидел ее, так вспомнил историю, которая недавно со мной приключилась. И смеялся я, конечно, над самим собой! История эта кончилась всего несколько дней назад, а началась еще в прошлом году. Тогда тебя еще здесь не было. Так вот, в прошлом году приглянулась мне служанка сержанта, и я ей тоже понравился, да еще как! Жить без меня не могла! Она бы до сих пор за мной бегала, да только я теперь человек ученый! Ну так вот, ты ведь знаешь, что ради чести мундира мы должны блюсти целомудрие, словно рыцари Мальтийского ордена. Поэтому сержант тут же заявил мне, что устав запрещает охранникам крутить любовь, по крайней мере, на виду у всех. Дело тут, конечно, было не в этом. Он просто испугался, что лишится служанки, а другой ему не найти. «Так точно, — сказал я. — Слушаюсь». Но девчонка от меня не отставала. Тогда сержант предупредил меня вторично, потом в третий раз, а на четвертый — отправил меня в дисциплинарные казармы в Порто Моле. Ты спросишь, что это такое? Так вот, я тебе отвечу: да будет проклят тот, кто выдумал это страшное место! Там ведь только казармы, скалы и море. Было нас там четверо мужчин да еще кот — все забытые богом и людьми. И делать нам было совершенно нечего, разве что спать, потому что, с тех пор как

там появилась усиленная охрана, местечко это, бывшее ранее излюбленным приютом контрабандистов, стало безлюдным и тихим.

Мы шлялись взад-вперед по пляжу, точно пенсионеры на отдыхе, а в свободное время с разрешения бригадира играли в карты и пили. Вином он снабжал нас самолично, причем брал за него втридорога. Но мы и за это были ему благодарны и даже угощали его этим самым вином.

И вот как-то раз однообразие нашей жизни было нарушено появлением женщины. Черт бы побрал этих женщин! Кажется, святой Августин сказал: «Дьявол женщине сродни». Но эта женщина, ей-богу, была похожа на святую с картинки. Пришла она вроде бы для того, чтобы продать рыбу, и за все время даже ни разу на нас не взглянула. Высокая, смуглая, босоногая, ну совсем как мадонна. И мы не позволяли себе с ней никаких шуточек, только бригадир всякий раз при ее появлении пыжился и, ухмыляясь, подкручивал усы. Однажды я увидел ее на берегу с каким-то узлом в руках. Она шла словно летела — быстро, как лань: я с трудом ее догнал. Вначале она пыталась улизнуть от меня и даже не отвечала на мои вопросы, но потом заговорила — да так, что остановить ее уже было невозможно. Она рассказала мне трагическую историю про своего отца и его брата, которые сообща владели одной лодкой и никак не могли поладить между собой. Как-то ночью отправились они на рыбную ловлю, и ни отец, ни его лодка не вернулись обратно. И теперь она живет с дедушкой, старым рыбаком, который заставляет ее торговать рыбой и бранится, когда она приносит домой мало денег. Она вздыхала и жаловалась, но продолжала идти быстро-быстро, словно ее подгонял ветер, пока не добрались мы до того места на берегу, где стояла хижина, почти совсем скрытая от глаз кустами тамариска. Сколько раз я видел эту хижину, сколько раз осматривал ее, но никогда ничего там не находил. Девушка сказала, что хижина принадлежит ее деду, и направилась прямо к ней, а я, мамелюк этакий, конечно, пошел следом. Там мы уселись и принялись болтать о том, о сем, и я опомнился только тогда, когда заметил, что уже смеркается.

Не знаю, что такого было в этой девушке, но она будто опоила меня приворотным зельем. Казалось, прикажи она мне дезертировать — и я, ни на минуту не задумываясь, сделал бы это!

А ведь она даже не позволила поцеловать себя! Но, расставаясь, пообещала, что придет на следующий день и вообще будет приходить сюда часто.

На следующий день, да и все остальные дни, я бегал за ней, как собачонка, не заботясь ни о каких последствиях: раз уж меня сослали сюда за любовные шашни, плевать я хотел на всякие запреты! Но беда была в том, что вокруг хижины, как это скоро выяснилось, вертелся не я один. Я заметил там каких-то босоногих мальчишек и нескольких парней. Но она клялась мне, что никого из них не знает, любит только меня одного, и я слепо верил ей. Так прошел месяц, в течение которого мы неустанно предавались любовным утехам то на берегу моря, как чайки, то в дедушкиной хижине, как зайчики. Я был готов уйти в отставку и жениться на ней, а она обещала отвести меня к деду, чтобы попросить его согласия на наш брак, но почему-то все тянула с этим. Она объясняла мне, что боится деда, который обращается с ней, как с рабыней: посылает ее в лес за дровами, заставляет перевозить через реку к брату какие-то тяжелые узлы и свертки. И действительно, в те дни, когда она не являлась к нам в казарму со своей рыбой, я частенько видел ее со всякими узлами и свертками. Она тащила их куда-то, пыхтя и отдуваясь, и в эти минуты я чувствовал к ней не только любовь, но и жалость. И я засыпал эту нищую девушку подарками, среди которых были весьма дорогие вещи, я одел ее с головы до ног!

Однажды она не явилась на свидание. Я долго ждал, но она не пришла. Я испугался, что она заболела, и пошел ее искать. Ее дед, высокий злющий старик, — чтоб ему провалиться! — встретил меня палкой, да еще начал орать, что это я сманил из дома его внучку. На его крики сбежался народ, и меня чуть не убили камнями. Мое горе — да, да именно горе! — было таким неутешным, что товарищи даже не отважились подтрунивать надо мной, а бригадир посоветовал сержанту снять с меня взыскание.

И сержанту не пришлось сожалеть о своем мягко-сердечии, потому что, по правде говоря, с той поры я не взглянул не только на его служанку, но и ни на одну женщину, будь она христианкой, еврейкой или турчанкой. Более того, я открыто изобличал своих товарищей, едва лишь узнавал, что они волочатся за какой-нибудь проклятушей юбкой.

И я стал таким серьезным и так усердствовал по службе, что сержант проникся ко мне безграничным доверием. А две недели назад он послал меня инспектировать те самые казармы, где я отбывал наказание.

В казармах дела теперь шли совсем не так, как прежде. Бригадир пил и совсем забросил службу. Он надеялся, что так его скорее переведут в какое-нибудь другое место. Ну, а все остальные следовали его примеру. На берегу не было никакой охраны, и в первый же вечер я задержал там контрабандиста, у которого в мешке под соломой оказалось изрядное количество бутылочек спирта.

Мне, конечно, хотелось узнать что-нибудь о девушке, но в казарме она с той поры не появлялась и никто о ней ничего не слышал. И вот как-то вечером — это было в прошлую субботу, — когда мы с товарищем совершали обход пляжа, в ярком свете луны я заметил лодку, точно такую, какую мы видели только что.

Ну, думаю, если глаза меня не обманывают, то женщина с высокой прической, сидящая на носу лодки, и есть моя босоногая сирена.

Я инстинктивно потянул товарища назад, и мы спрятались позади той самой заброшенной хижины. Оттуда мы хорошо видели лодку, приближавшуюся теперь к берегу. Лодка была прогулочная, и в ней, кроме женщины, сидело несколько мужчин, которые брэнчали на мандолине, смеялись и пели. Вскоре лодка подошла к причалу, сложенному из прибрежных камней, и из нее вышли двое — женщина и юноша.

Ступив на берег, они тотчас же двинулись в направлении хижины, за которой как раз притаились мы. Они смеялись, громко разговаривали, шутили. Я совру, если скажу, что сердце мое билось спокойно. Оно отчаянно колотилось от ярости, от внезапно вспыхнувшей жажды мести, ибо это была она, моя мадонна со свертками, — в нарядном платье, в шелковых чулках, в туфель-

ках-лодочках и... беременная, чуть не на сносях. «Выходит, она замужем, — сказал я себе. — Но кто этот мамелюк, который идет за ней, муж или любовник?» Я ничего не понимал, но мне страстно захотелось отвести душу: выйти из засады, пригрозить и осрамить ее.

Я потянул за собой товарища, и мы возникли перед ними из темноты, как два разбойника из лесной чащи. Подняв ружья, мы преградили парочке дорогу. Сказать по правде, девушке стало не по себе, когда она узнала меня.

— Синьоры, — сказал я, — мне очень жаль, но придется вас обыскать.

— Почему? — запротестовали они.

— Потому, что это наш долг.

— Меня можете обыскивать сколько вам угодно, — заявил юноша, — но синьорину не смейте трогать. А если уж надо и ее обыскать, пускай это сделает женщина.

— С синьориной мы знакомы, — сказал я спокойно, — и обыскивать ее мне доводится не впервые. Но хватит болтать! Впрочем, никто вас не тронет, раздевайтесь сами.

Раздевшись, юноша стал трясти рубашку и выворачивать карманы. Видно, он хотел рассмешить нас, но это ему не удалось.

— А вы? — обратился я к девушке, которая стояла не двигаясь, о чем-то задумавшись.

Вдруг она взглянула мне прямо в глаза, и на ее лице вспыхнула злая усмешка:

— Плохо же ты меня тогда обыскивал! — сказала она, развязывая пояс платья.

И к ногам ее посыпалось великое множество всяких свертков и пакетов. А в свертках этих была контрабанда.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

В этот день синьора поэтесса окончательно убедилась в том, что рабство еще существует.

Ее муж купил для парового отопления тонну каменного угля и распорядился, чтобы эта огромная черная гора сдвинулась с места и пришла к ним в дом. Он сделал это, во-первых, потому, что, когда его жена мерзла, она совершенно теряла свойственные ей мягкость и доброту, а во-вторых, потому, что он ее любил. Уже ушли в прошлое те времена, когда для того, чтобы согреть ее крохотные ручки уроженки Востока, ему достаточно было прижать жену к своему сильному телу рабочего и спрятать маленькие пальчики у себя под мышками, обдавая дорогу ему женщину жаром своей любви.

Когда уголь наконец привезли, на дворе уже стояла поздняя осень.

Занималось утро, такое ясное и прозрачное, словно оно было утром первого дня творения. Синьора только что сошла в сад полюбоваться его прелестью, когда служанка доложила ей, что повозка с углем прибыла.

Оказалось только, что уголь не был упакован в мешки, как это делали раньше, и поэтому возница не мог перетаскать его в подвал на своих плечах. Опасаясь, как бы повозка не испортила широкую аллею, которая вела от главных ворот к дому, синьора распорядилась въезжать не через парадный, а через черный ход. Оттуда повозка, не повредив садовых дорожек, могла подъехать к самому окну подвала, а там уже можно было сгрузить уголь вручную. Ну что ж, это только справедливо, что людям нынче не приходится гнуть

спину под тяжестью чужого добра! Правда, теперь они требуют за свой труд больше, чем в те времена, когда еще гнули спину, но все равно это справедливо! Как все настоящие поэты, в глубине души синьора исповедовала коммунистические идеи.

Чтобы не отрывать служанку от работы (ей бы только предлог, так и отлынивает от дела!), синьора сама пошла отворить черный ход.

Она распахнула ворота, и за ними открылся коротенький переулочек. Зажатый оградами двух соседних домов, он полого спускался к пересекающей его улице. Между булыжниками, посеребренными утренним инеем, пробивались к свету упрямые зеленые травинки, гордые тем, что сумели прорваться сквозь стыки камней, которые погребли их под собою. Внизу, в конце переулочка, показалась красноватая повозка с горой черного угля. Ее тащила лошадь темной масти, не слишком крупная, но сильная, с большой головой и мохнатыми ногами, — должно быть, помесь першерона с какой-то другой породой. До половины пути все шло хорошо. Возница спокойно вел лошадь под уздцы, а синьора спокойно наблюдала за ним из сада. В окно высунулась была служанка с метелочкой из перьев в руке (рука была такая большая, что метелка в ней казалась цветком!), но хозяйка одним жестом заставила ее скрыться. Ибо если живший в ней поэт был коммунистом, то как хозяйка дома она была свирепее фашиста!

Как раз в этот момент и произошла заминка.

Повозка остановилась на полпути, словно упрямство пробившейся между булыжниками травы таинственно передалось ступающим по ней копытам лошади. Недаром травы обладают какой-то загадочной сверхъестественной силой.

На самом деле лошадь не двигалась с места просто потому, что ей не хватало сил: повозка была тяжелой, а лошадь устала. К тому же ехать вверх по мощеной улице куда труднее, чем подняться по горной дороге. А кругом стояла такая же тишина, как в горах. Возчик остановился рядом с лошадью, устремив

растерянный взгляд как бы внутрь себя, и пытался найти выход из создавшегося положения.

Никогда еще синьора не видела такой задумчивости, хотя и была знакома с самыми выдающимися мыслителями.

Наконец человек стряхнул с себя оцепенение и издал звук, гортанный и сиплый, нечто среднее между ржанием лошади и ревом осла. Этот призывный крик относился к лошади. Услышав его, она вздрогнула, и вместе с ней задрожало все: и повозка с ее кандалными цепями, и упряжь, и уголь, и даже булыжники мостовой.

Однако копыта лошади не сдвинулись с места, и шерсть ее ног переплелась с травой, с которой ее связывала общая тайная сила.

Синьора, до сих пор спокойно наблюдавшая за происходящим, вдруг почувствовала раздражение.

Против кого? Против возчика, против мужа, против войны, против зимы.

И против себя, потому что виновницей происшествия являлась, в сущности, она сама.

Ты сама этого пожелала, синьора поэтесса! Ты покинула солнечные края ради того, чтобы погрузиться в этот океан хаоса, где тонет всякий, кто не умеет плавать. И она вдруг почувствовала, что ее маленькие ноги, ноги женщины оседлого племени, не знающего, что такое море, коченеют, словно ноги выбивающегося из сил пловца.

И ей стало жаль затоптанной травы, стало жалко лошадь. Разве бедная скотина могла сдвинуть с места такую тяжесть? Да еще на такой ужасной дороге!

Поэтесса всегда жалела растения и животных — все то, что не могло молить о пощаде. О, сейчас ее сердцем владели не политические страсти, а простая человечность.

Движимая любопытством служанка снова выглянула из окна и, улыбаясь, сделала метелочкой такое движение, словно хотела подстегнуть бедную лошадь, которую возчик, любовно похлопывая, тянул под уздцы, подбадривая ласковым шепотом.

В эту минуту все чувствовали себя преисполненными доброты: и синьора, которая видела в возчике, угонявшем лошадь, своего ближнего, и служанка, довольная неожиданным развлечением и тем, что синьора не гонит ее от окна.

И только молодой хозяин, который как раз в этот момент встал с постели и распахнул окно, напевая мелодию из «Мадам Фиорализо», разразился хохотом при виде этой сцены. И счастливый смех двадцатилетнего человека пронесся над несчастными, стоявшими внизу, и слился с красотой наступившего дня.

А лошадь между тем так и не сдвинулась с места. У возчика опустили руки, и он опять задумался. Плодом его раздумий явилась мысль, от которой вдруг залилось краской его бледное лицо и загорелись добрые голубые глаза. Казалось, его волосы порыжели еще сильнее. Замахнувшись кнутом, возчик принялся хлестать бедную скотину по спине, по морде, по бабкам, испуская при этом свой прежний сиплый крик, который сделался еще страшнее от зверской ярости, звучащей в его голосе. Синьора вспомнила, что в одной книге именно так описывался львиный рык.

А лошадь только слегка встряхивала головой, стараясь уклониться от ударов, и, судя по всему, ей было не очень больно. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока рассвирепевший хозяин не ударил ее кнутовищем по глазам и ногам. Тут она испустила громкий, почти человеческий стон и так лягнула повозку, словно хотела вскинуть ее на воздух и высвободиться из упряжки. Синьора вспомнила сон Раскольников и закричала возчику:

— Убирайтесь, убирайтесь вон, не нужен мне ваш уголь!

— Это не мой уголь, — ответил растерянный, взмокший от пота возница, не переставая хлестать скотину.

— Вот если бы сюда явилась дама из общества защиты животных!

— Вот если бы сюда явился возчик и подсобил мне, — ответил мужчина.

Однако, увидев, что лошадь так и не двинулась с места, он прекратил избиение и погрузился в раздумье.

Задумалась и синьора. «Неправда, что рабство исчезло с лица земли, — думала она. — Лошадь — раба человека, а человек — раб своего ближнего, который сильнее его. Мы столько возмущаемся по поводу того, что человек, работающий физически, требует, чтобы ему платили больше, чем платят человеку умственного труда, а ведь это справедливое требование! Человек физического труда поработан намного больше!»

И синьора принялась терпеливо ждать, куда возчик разрешит стоящую перед ним проблему.

Наверно, он так никогда бы ее и не разрешил, так как в узком переулке не было даже места, чтобы развернуться и поехать обратно, но, к счастью, по соседней улице проезжал в это время другой возчик.

Хозяин бедной лошади бросился к нему, рассказал ему о своем несчастье, и, мигом поняв друг друга, они принялись за дело. Один тянул лошадь под уздцы, другой подталкивал по очереди то одно колесо, то другое.

Так они втащили повозку в сад, и синьора вспомнила, что и об этом она читала в какой-то книге: только человек может помочь человеку в тех случаях, когда нет надежды даже на бога.

Здесь начинается второе действие драмы.

Женщина и мужчина смотрели друг на друга. Возчик вытирал пот тыльной стороной ладони, и синьора тоже чувствовала себя утомленной: ведь она столько простояла на холодном северном ветру!

— Ну? — звонко сказала она. — Где будем сгружать уголь? Прямо здесь или свалите его в подвал через окно?

— Здесь, здесь, — ответил возчик. — У меня нет времени.

Но потом попросил показать ему подвальное окно.

— Обратите внимание, — заметила синьора. — В этом месте дорожка поворачивает, и проехать тут с повозкой будет не так-то просто. Прежде чем принять решение, внимательно осмотрите дорогу. Я люблю, чтобы во всем была ясность.

Возчик взглянул на место, где пересекались две довольно узкие дорожки: по одной из них он сейчас проехал, другая тянулась вдоль фасада дома и упиралась в главные ворота.

— Трудненько придется, — сказал он, обращаясь не к синьоре, а к перекрестку, образованному двумя дорожками. Однако отказываться ему не хотелось.

— Решайте.

Возчик прикидывал. По его расчетам, на разгрузку должно было уйти всего полчаса, но так как он был честен лишь наполовину, он сказал, что ему потребуется час.

— Эта работа будет стоить вам двадцать лир.

— Хорошо. Договорились. Но вы уж сдержите слово: час так час.

И синьора ушла по своим делам, возложив всю ответственность на возчика. Перед уходом она взглянула на часы. Было ровно десять.

Но прошло всего несколько минут, как она услышала гортанные выкрики возницы и поняла, что снова начались чудеса.

И в самом деле, когда она открыла окно, глазам ее представилось необычайное зрелище.

Повозка снова остановилась как раз в том месте, где перекрещивались две дорожки. Застывшая, неподвижная, словно закованная между двумя оглоблями, лошадь не желала сдвинуться с места. Она стояла как вкопанная, и глаза ее, прикрытые кожаными шорами, казались слепыми.

Возчик бился над нею и так и смяк, пуская в ход и ласку, и хитрость, и силу. Лошадь не двигалась. И помочь ему здесь не мог уже никто: ни бог, ни даже другой возчик.

И тогда он решил сгрузить уголь прямо там, где стояла повозка.

Прямо там? Как раз на том месте, которое отлично просматривается со стороны главных ворот? Разве это возможно? Ведь у ворот нередко останавливаются автомобили великосветских дам, которые наносят визиты синьоре поэтессе, словно она им ровня.

— Если вы не сгрузите уголь в подвал, я не заплачу вам ни гроша! — заявила синьора с холодной жесткостью деспота.

Возчик ничего не ответил: что ж, таков был договор!

Но свою злость он сорвал на лошади. Это было нечто неопишное!

Сделавшись вдруг удивительно легким и подвижным, возчик суетился вокруг лошади, то сгибаясь в три погибели, то подпрыгивая, как мячик. Он то гладил и умолял бедную скотину, то падал перед ней на колени, воздевая руки к небу, то пытался ей помочь, то хлестал ее кнутом до крови. При этом с уст его слетали страшные проклятия. Постепенно начала волноваться даже лошадь. Скованная своим тяжелым грузом, который привел ее на эту аллею, а теперь мешал проехать по ней, лошадь лягалась и ржала, и грива ее извивалась, словно клубок змей.

Борьба между животным и человеком стала походить на борьбу двух демонов. В остервенелых воплях возчика не было уже ничего человеческого.

Сначала при виде этой картины поэтессе стало смешно. Она хохотала до слез, потому что служанка передразнивала возчика, повторяя его слова: «У меня нет времени!»

Но когда возница вытащил нож, синьора перестала смеяться и вздрогнула. В этой яростной, хаотической, бессмысленной борьбе она усматривала столкновение двух сил: человека и животного, борющихся не на жизнь, а на смерть. Должно быть, таким видится человеку ад в самых страшных его кошмарах, внушенных мыслью об искуплении и возмездии.

— Ладно, сгружайте здесь! — сказала синьора.

Совершенно обессилевший возчик прекратил бессмысленную борьбу и открыл железные (синьоре они вначале показались деревянными) борта повозки. Потом он спустился в подвал, взял там корзину и перетащил туда весь уголь на своих плечах.

Когда он кончил, был уже полдень. Возчик ни о чем не просил хозяйку, но она сама дала ему тридцать лир и стакан вина.

Наконец и синьора, которая ощущала усталость возчика острее, чем он сам, решила отдохнуть. Под наружной лестницей, ведущей из сада на террасу, стоял перевернутый ящик, на котором синьора любила сидеть. Но сейчас на ящике лежал в позе сфинкса ее черный кот. Он присутствовал при всей этой кутерьме, бесстрастно созерцая происходящее неподвижными опаловыми глазами. Уходить ему не хотелось, он пользовался отсутствием хозяйки, чтобы поваляться на ее любимом месте.

Когда синьора подошла к ящику и толкнула кота, он отодвинулся на краешек, освобождая ей место, и снова лег, прижавшись к телу хозяйки. Ведь в мире, особенно в мире фантазий, места хватает всем!

От прикосновения к шерстке кота, пригревшегося на солнце, синьоре стало тепло и как-то радостно на душе. Она словно растворилась в ликующей природе, ощутив себя ее частью. Она чувствовала, что связана со всем, что ее окружало: с солнцем, накалявшем ее укромный уголок; с желто-розовым садом; с трепетавшими на ограде листьями плюща, такими ослепительно-альными, что казалось, они могут затмить своей яркостью даже сгорающее от любви сердце; с полукруглым сводом, образующим вход в ее убежище, — эта арка была для нее волшебным мостом, переброшенным из действительности в мечту.

Легкий шум, слабый шелест, словно от пролетевшего мимо крохотного дирижабля, вернул синьору к действительности, и она увидела рядом с собой маленькую птичку, крылышки которой отливали всеми цветами радуги.

Кот хищно кинулся на птичку, но она взлетела и растворилась в пестроте кустов и деревьев, отразив на прощанье в своих черных бархатных крылышках все краски осеннего сада.

Кот помчался за ней, прыгнул на ограду и замер там, раздосадованный своим бессилием. Потом, разочарованный, вернулся к хозяйке. Та смеялась, сидя на своем ящике: ведь птичка, привлекавшая внимание кота, была вовсе не птичка, а саранча.

Вдруг весь сад пришел в движение. Из того угла, где застряла повозка, подул северный ветер, и красные листья дождем посыпались с акации. И те, что уже лежали на земле — сухие и мертвые, — тоже вдруг ожили, сначала затанцевали, потом взвились в воздух. Цветом они походили на солнце и на землю, и хотя были все-го-навсего сухими листьями, сорванными ветром, выглядели они все-таки более живыми, чем те, что еще висели на ветках. Но и в этих, таких живых, листьях уже чувствовалась безумная жажда растратить себя и вернуться в небытие.

Кот снова начал прыгать, на этот раз за листьями, пытаясь поймать их на лету. То была грациозная игра счастливого животного, и она длилась до тех пор, пока холодный ветер не заставил хозяйку вернуться домой.

Третье действие происходит в светлой прохладной столовой, где за столом сидят жена, муж и сын.

Над простонародьем тарелок и вилок, над ландшафтом из фруктов возвышаются поэты стола: графин с вином и кувшин с водой. Первый хранит в себе скрытый огонь, готовый в любой момент вырваться наружу, второй покорно отражает окружающее, в том числе и своего собрата, зажигая в своих хрустальных боках такой пожар красок, что над столом возникает радужное сияние.

Мы снова находимся в заколдованном круге счастья. Особенно довольна женщина, хотя она и зябнет. Но теперь, когда погреб превращен в угольную шахту, проблема зимы разрешена, и синьоре чудится вечная весна, тем более что напротив сидит ее юный сын.

Она весело рассказывает о приключении с углем, о жестокости и жадности человека и о невиданном упорстве животного.

— Эта бедная лошадь казалась мне символом!

— Мама, это была не лошадь, а мул!

Синьора обиделась: муж и сын явно подшучивали над нею.

— Ну и ладно, — сказала она. — А мне показалось, что лошадь. Ведь дело не в форме, а в сущности. Раз-

ве не огнем является твердый черный уголь, добытый в холодных недрах земли?

— Добытый волею человека, — сказал муж.

— По необходимости, — заметил сын.

И тут они затеяли спор. Проблемы и проблемы, без конца! Чтобы их разрешить, надо о них забыть, а забыть их можно лишь во сне, да и тогда они являются в сновидениях.

Так или иначе, синьора решила вздремнуть, что, впрочем, она имела обыкновение делать ежедневно.

Спальня ее была залита солнечным светом, а она знала, что спать на солнце вредно. Поэтому, прежде чем растянуться на постели под шерстяным одеялом, она задернула шторы.

Лежа на кровати, она представляла себе широкие просторы родины и своих предков, которых жизнь вынуждала отдавать на закление любимого ягненка. Насытившиеся его мясом, согретые его шкурой, из благодарности они сделали его своим богом. С помощью диких коней они побеждали далекие расстояния, из кремня высекали огонь и, построив на возвышенностях каменные гнезда, спали рядом со своими мертвецами, надеясь впитать от них во сне вечную мудрость и проснуться еще более живыми, чем раньше.

Мало-помалу жар сердца согрел поэтессу, и она погрузилась в сон.

БЕДНЯКИ

Они жили в пещере как святое семейство — отец, мать и ребенок.

Но отец был так болен, что не мог подняться, а ребенок, родившийся слабоумным, ползал на четвереньках, жевал траву и грыз землю. Вся забота о семье ложилась на плечи матери. Она собирала травы; одни шли в пищу, из других готовили питье и примочки для больного.

Эта история произошла в нынешнем году на окраине Рима, там, где зеленый шлейф города расширит гранитным орнаментом тротуаров, пролегающих через новые кварталы.

Когда отец почувствовал себя лучше и мог присмотреть за малышом, женщина стала ходить в город и носить травы на продажу. Робкая, с нечесаными волосами, одетая в лохмотья, извлеченные, вероятно, из гор мусора, сваленных на углах строящихся кварталов, женщина выглядела на улицах города пришельцем из диких, необжитых мест.

Считать деньги она не умела и, когда приходилось давать сдачу, протягивала руку со всей мелочью, какая у нее только была, доверяясь порядочности своих покупателей. Как часто доверчивость ее бывала обманута — некоторые зарились даже на ее жалкие монетки!

Впрочем, к ней все сразу проникались симпатией: людей привлекало и ее тонкое, лишенное возраста лицо мученицы, и спокойствие, с которым она говорила о своей жизни, принимая свою участь так же покорно,

как принимали ее травы, которые она вырывала из земли.

В свое логово она возвращалась с корзиной, набитой обносками, кусками черствого хлеба и рваной обувью. Однажды она вернулась в широкополой, украшенной перьями шляпе. Муж посмотрел на нее жалкими глазами больной собаки и улыбнулся; в его улыбке мелькнула не издевка, а удовлетворение — ему было приятно видеть ее такой нарядной. И ребенок тоже засмеялся, протягивая ручонки к той диковинной птице, в которую превратилась голова его матери.

Несмотря на тяжкий гнет нищеты, подавивший в этих людях все человеческие чувства, в их душе пророс цветок добра, как на помойных кучах иногда расцветает душистый цветок мяты.

Когда в крещенскую ночь волшебница Бефана¹ возвращалась из полета над Римом, она потрясла свои юбки как раз над пещерой, где жило семейство, и сильный порыв ветра занес к ним пыль чумной заразы, свирепствовавшей в городе.

Мужчина скончался на следующий же вечер, широко зевнув, перед тем как заснуть вечным сном, который положил конец его страданиям. Ребенок, весело смеясь, уселся верхом на труп отца. У матери даже не достало сил для того, чтобы остановить эту страшную игру. Примостившись рядом с мужем и сыном, она разговаривала с ними, пока ребенок не заплакал, свернувшись калачиком у нее на коленях.

Сама женщина не плакала. Она думала о том, что усопшего надо похоронить, но не знала, как это сделать. И мысль об этом вытеснила все остальные. Наконец она облегченно вздохнула, решив, что похоронит мужа сама.

Два дня и две ночи размышляла она над тем, как ей осуществить задуманное. Откладывать решение на третью ночь было нельзя, потому что труп уже начал разлагаться. Но для того чтобы выкопать могилу, у нее не было ни сил, ни инструмента. А потом, она боялась преступить закон.

¹ Бефана — волшебница, приносящая детям подарки.

Она вышла из пещеры и стала собирать траву. Ребенок, как грязный щенок, на четвереньках ковылял за ней следом.

Набрав полный подол травы, она взяла сына на руки и направилась в город.

По дороге она встретила ломового извозчика и рассказала ему о смерти мужа, в душе надеясь, что тот вызовется отвезти труп на кладбище. Но возчик отмахнулся от нее кнутом, как от назойливой мухи, и посоветовал обратиться в полицию.

Но одно лишь упоминание о полиции вызывало в ее душе такой ужас, какой не вызвала даже смерть.

Она постучала в первый попавшийся дом, который, впрочем, она очень хорошо знала. То была маленькая вилла, где жил философ-вегетарианец со своей трудолюбивой женой. Она сама и отворила дверь, держа в руке метлу. Увидев хозяйку, женщина бросила ей под ноги прямо на порог охапку травы, еще холодную от инея.

— Что это значит? — вскричала синьора. Но ее сострадательный взгляд уже отметил и измученный вид женщины, и бессильно болтающуюся голову спящего ребенка. — Зачем же ты притащила малыша?

— Сам умер три дня назад. Мне не с кем было оставить ребенка.

Когда до синьоры дошел смысл сказанного, она вскрикнула, и метла, выскользнув из ее рук, упала на пол.

На крик прибежал муж. В домашних туфлях, закутанный в плед, он походил на восточного мага. Спокойно выслушав всю историю, он сказал жене, которая хотела, чтобы он немедленно отправился улаживать это дело:

— Сделай так: ступай сама. А я пока посижу с несчастной женщиной.

Когда жена ушла, он поднял метлу, поставил ее на место и сказал:

— Раз уж вы здесь, помойте траву и поставьте ее варить.

А сам вернулся к своим занятиям.

Жена тем временем устроила дела и мертвого и живых. Ребенка определили в приют для дефективных детей, а мать пристроили служанкой в дом, который она не сравнила с обиталищем фей только потому, что с самого раннего детства в лабиринте ее фантазии теснились одни пещеры, подземные ходы и всякие страшилища.

А дом, в котором она проснулась на другой день после длинного утомительного путешествия в трамвае, мимо толп людей, казавшихся ей ряжеными, в самом деле был прекраснее дворца фей. По бокам дома в голубое небо взмывали, как крылья птицы, две пальмы, а через весь цветущий сад протянулся золотой хвост песчаной аллеи. Правда, аромат лавра придавал этому саду сходство с кладбищем.

Женщине выделили комнату на третьем этаже. На четвертом располагались господские покои. Что было на втором этаже и как шла жизнь на четвертом, она толком не знала, хотя каждое утро натирала там полы.

Она ползала по полу на четвереньках, как, бывало, ползал по лугу ее сынишка, и думала только о ребенке, мечтая о той минуте, когда снова увидит его и будет целовать и ласкать его пухленькое теплое тельце. Разлученная с ребенком, выброшенная, словно после кораблекрушения, на эту ледяную паркетную гладь, она остро ощущала свое одиночество и затерянность в огромном пустом мире. Она не думала о том, что ребенка могут вылечить, будущее простиралось для нее не далее ближайшего воскресенья, когда ей позволят навестить сына в приюте.

Увидеть его! Только бы увидеть! Это желание и эта уверенность пьянили ее и придавали ей силу. И она терла и терла пол до тех пор, пока он не начинал блестеть, словно зеркало. А когда в нем отражалось ее лицо, она наклонялась и целовала его, потому что в этом отражении она различала черты своего ребенка.

Но наступило воскресенье, а ей не разрешили его повидать. Он заразился болезнью, которая давно уже косила питомцев приюта. Женщина вернулась домой ни с чем. Она не притронулась к еде и никому не сказала ни слова. После полудня слуги разошлись кто

куда. Не ушел лишь главный из них — дворецкий. Одетый в черное, похожий на ворона, он обошел третий этаж, заглядывая в пустые и плохо освещенные комнаты прислуги. Эти невзрачные комнаты были как бы внутренностями роскошного дворца, и так же, как от работы внутренних органов зависит внешний вид живого существа, так и работа, неустанно совершаемая людьми из этих комнат, поддерживала нестареющий, вечно юный вид дома. Потом дворецкий осмотрел кухни, ванны, коридоры, таинственные залы, всегда закрытые, словно покои Синей Бороды, в которые если попадешь, то обратно уже никогда не выйдешь.

В одной из комнат дверь была открыта, и, заглянув в нее, дворецкий увидел женщину. Она сидела на кровати, склонившись над каким-то свертком, лежавшим у нее на коленях. Он спросил, не больна ли она.

— Я хочу уйти отсюда, — ответила она, стараясь спрятать от него сверток, оказавшийся заячьей шкуркой.

Встревоженный дворецкий подошел ближе.

— Почему? Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет. Но я хочу уйти.

На все вопросы она давала один и тот же ответ. Дворецкому ее желание пришлось не по вкусу. Эта женщина трудилась за ничтожное вознаграждение, и тем не менее целая бригада полотеров не могла бы натереть полы лучше ее.

Дворецкий попытался уговорить ее по-хорошему. Он обнимал ее за плечи, гладил по голове.

— Послушай, милая. Если кто-нибудь тебя обижает, ты только скажи мне — и увидишь, все будет хорошо. Ну, так как? Скажешь мне, в чем дело? Ну, поцелуй меня, — выдохнул он прямо в ее холодное лицо.

У него было горячее дыхание, от его тела исходил тяжелый запах плоти, а изо рта несло табаком. В женщине проснулась чувственность, усыпленная длительным воздержанием. И все-таки она изо всех сил оттолкнула мужчину, прикрываясь шкуркой, как щитом.

— Убирайся, скотина, убирайся!

Тогда он попытался подойти к ней с другой стороны.

— Может, ты расстраиваешься из-за того, что ребенок болен? Так он скоро выздоровеет! Синьора наве-

стит его, и весь приют будет заботиться только о нем. Синьора интересуется твоим ребенком, ведь своих детей у нее нет. И кто знает, может, в один прекрасный день она возьмет его к себе в дом на воспитание.

Услышав эти слова, женщина выпрямилась, и глаза ее загорелись жестоким огнем:

— А разве она его у меня уже не отобрала? Да пусть она подохнет, эта твоя синьора!

Женщина думала, что дворецкий ее тут же прогонит, но вопреки ожиданиям он ушел, не проронив ни слова. А бедная мать снова уткнулась лицом в шкурку, в которую когда-то кутала бедного малыша.

А потом она попыталась бежать.

Крадучись, пробиралась она по коридорам и черным лестницам в поисках выхода. Но все напрасно. Все вокруг было заперто на замок и окутано молчанием и тайной, подобно подземельям, о которых рассказывает в сказках. Тщетно она толкалась во все двери, словно муха, бьющаяся об оконное стекло.

Тогда она отложила свою попытку до возвращения слуг. Но потом заметила, что за ней следят, и осталась на месте.

Женщина провела тяжелую ночь. Она ни на минуту не сомкнула глаз, а душа ее не могла найти покоя и металась в измученном теле, словно пыталась вырваться наружу и не находила выхода.

Она чувствовала, что тревожится не зря. Ее дитя умирало. Даже улыбка зари, даже радостный перезвон колоколов, который опоясал рождавшийся день серебряным кушаком, не поселили в ней надежды. А молиться она не умела, и бог для нее не существовал.

Дворецкий не спешил сообщить служанке о кончине ее ребенка. Он дождался, когда она натерла полы, и только после этого отвел ее к синьоре.

Та возлежала на постели, пухлая и дебелая, словно ягненок среди травы и ромашек. Светлую комнату, где стояла ее кровать, наполняли ароматы весеннего луга. Все кругом блестело, на полу лежал мягкий ковер, но служанка приблизилась к постели, спотыкаясь, словно

шла по камням. Здесь все внушало ей страх — даже белые фарфоровые котьята, стоявшие на углах камина, — казались ей привидениями.

Да и сама синьора выглядела очень странно. Она лежала на белоснежных подушках так, словно упала на них и теперь не в силах подняться.

— Садись, — приказала она служанке, и та безотчетно повиновалась. Ее мучило странное ощущение, которое бывает у спящего человека в тех случаях, когда он знает, что видит сон, и красота этого сна еще больше оттеняет для него мрачный кошмар действительности.

Поэтому участие и волнение, с которыми синьора сообщила ей о смерти ребенка, только обострили ее отчаяние, и оно отразилось в ее глазах с такой силой, что синьора испугалась и стала искать способ утешить несчастную.

— Послушай, — произнесла она тихо, доверительно, словно разговаривала с равной себе. — Не ты одна страдаешь на этом свете. Всю эту ночь я так мучилась от боли, что даже похудела, а волосы мои поседели. Взгляни-ка, — сказала она, наклоня голову и раздвигая пряди. — И подай мне вон ту чашу с кольцами. А теперь смотри.

Надев кольца и перстни с камнями в виде слив, вишен, винограда, она потрясла рукой над чашей, и драгоценности посыпались с ее пальцев, словно спелые плоды с дерева.

Но несчастной матери не стало легче. Какое ей было дело до всего этого? Собственное страдание заковало ее сердце в такую прочную броню, что ее не могла пробить даже мысль о горе других. Она лишь воспользовалась слабостью хозяйки, чтобы попросить разрешения уйти. А уходя, постаралась сделать так, чтобы проклятый ворон ее не заметил.

Наконец-то она свободна! Свободна! И даже беспредельное горе, толкавшее ее в путь, несло несчастную словно на крыльях радости.

Вскоре она очутилась возле приюта. Женщина обошла его кругом, ощупывая стены, вдыхая запах, пробиравшийся сквозь щели. Но когда она вошла внутрь, ей сказали, что ребенка уже унесли.

Где же теперь его искать? В первое мгновение мать растерялась, но потом решительно отправилась в путь. Она знала, где его искать.

Она шла в свои луга, к своей пещере, и ее страшила только одна мысль, что в их доме за это время кто-нибудь поселился.

Но на эту берлогу никто не позарился. В ней по-прежнему валялось тряпье, стояло ложе, проветренное холодами последних дней, и смешная птица-шляпа все еще сидела, как на насесте, в каменной нише.

Женщина трогала все эти вещи — одну за другой. Прикоснувшись к стоптанной грязной туфельке, она наконец разрыдалась. Сначала она плакала без слез: это был громкий звериный вой, отдававшийся в сводах пещеры, как гул ветра в темные зимние ночи. Потом вопли постепенно затихли, и тогда слезы ручьем хлынули из ее глаз. Они теплым дождем лились по лицу, попадали в рот и приносили ей облегчение. Выплакав все свои слезы, она пошла собирать траву для продажи.

Среди зеленого луга белели сверкающие островки снега. Они медленно таяли, а в синем небе таяло их отражение — легкие весенние облака.

Женщина убивала травы острым ножом и, утоляя жажду и голод, глотала снег, пахнувший фиалками.

КИПАРИС

Молодой кипарис рос у самой стены, отделявшей наш сад от соседского.

Сосед наш считался самым спокойным и педантичным человеком в округе. Несмотря на то что жил он в достатке, он служил в муниципалитете и четыре раза в день проходил мимо наших окон, отправляясь на службу или возвращаясь домой. По нему можно было проверять часы! А время года мы определяли по его платью: зимой оно было черным, весной и осенью — серым, а летом он облачался в костюм из сурового полотна желтого цвета.

Но лично, по правде говоря, я не была с ним знакома. Дело в том, что меня он не интересовал; не интересовал именно потому, что в доме у нас говорили о нем с завистливым восхищением, хотя иногда и не без иронии, ставя его в пример как человека спокойного, здорового и положительного.

Интерес к нему пробуждался у меня только в тех редких случаях, когда он отправлялся на охоту: он слыл знаменитым охотником на кабанов, муфлонов и оленей. В эти дни за ним заезжали другие «охотничьи знаменитости», которые не принадлежали к числу его друзей, да и между собой не дружили, но время от времени собирались вот в такие вооруженные отряды, будто готовились выступить в военный поход.

Тогда окрестности нашего городка оглашались криками, цокотом копыт, собачьей возней и лаем, все вокруг дышало жестокой радостью охоты, и даже меня, прятавшуюся с учебником в укромной тени кипариса,

охватывало волнение этих минут, и я готова была заплакать.

«Когда с небесной высоты...» — как видите, яркие нити поэзии уже пронизывали мое воображение, отделяя его от действительности, и поэтому даже наш тощий сосед верхом на лошади, которая в обычные дни крутила жернова давилного пресса, казался мне героем.

Впрочем, в этом возрасте все мы немного фантазеры: ведь самые глубокие страсти, корнями уходящие в землю, а ветвями — в заоблачную высь, человек переживает именно в юности. В те годы меня обуревало тщеславие. Я мечтала стать знаменитостью и завоевать весь мир. В чем должно было состоять завоевание мира, я не знала и не знаю по сей день. А воображаемое величие омрачалось болью при одной лишь мысли о том, что ради него придется отказаться от уединения и тишины, которые подсказывали моей мятущейся душе, что единственный смысл существования — в любви к вечному.

Самыми прекрасными часами дня были для меня те, что я проводила в тени молодого кипариса. Вырываясь из тисков каменной стены, с которой почти сросся его ствол, кипарис устремлялся в высокое небо, прямой и легкий, словно большое веретено с початком темно-зеленого шелка, из которого я тянула бесконечную нить своих мечтаний. Возле дерева я соорудила небольшую скамеечку и проводила на ней свои самые спокойные часы. Кипарис жил подле меня, дышал тем же воздухом и рос вместе со мною. Вполне понятно, что в нем я любила себя и те мелочи, духовные и материальные, с которыми я укрывалась в его тени и которые от этого становились мне еще дороже. Вначале это были игрушки, потом учебники, потом вышивание, которое так навязывают женщине, должно быть, именно для того, чтобы умерить смятение, которое рождает в ее душе первые, самые глубокие откровения жизни.

Все грезы моей юности, словно побегу плюща, вились вокруг дерева-друга, первые стихи слагались в его честь, луна и яркие звезды сардинских ночей в зеленых

сумерках светили мне сквозь его крону, а соловьиные трели казались мне его собственной песнью.

Я хотела, чтобы меня похоронили под его сенью, но мысли о смерти не мешали мне радоваться жизни, ибо в тени кипариса так приятно было читать украдкой первые любовные письма.

Годы, однако, шли, а дерево моих грез оставалось бесплодным. В мелочах жизни было что-то от вечности: их постоянство и неизменность наводили на мысль о смерти.

Один лишь кипарис тянулся ввысь в мощном порыве, который, казалось, возносил его к самым звездам.

В полдень его тень падала в сад нашего соседа, за-слоня от солнца цветную капусту, которая приобретала от этого какой-то мертвенный цвет. И все, казалось, хирело и блекло в его погребальной тени: и сам сосед, который бледнел и чахнул, словно подавленный собственным одиночеством, и его сырой и безмолвный дом, и прилежавший к дереву жалкий, запущенный участок нашего сада, и наш ветхий дом, и даже я сама, безучастно смотревшая на то, как впустую проходят лучшие годы моей юности.

Каждый день в одно и то же время мимо моих окон неторопливо проходил сосед, направляясь на службу и возвращаясь домой, и это движение, неизменное и монотонное, напоминавшее ход стрелки на циферблате часов, навевало на меня ощущение смерти. И моя душа сжималась в комочек и погружалась в сон, ленивая, умиротворенная и даже довольная этой дремотой, словно кошка, свернувшаяся на теплой печке.

В последнюю зиму, которую я провела дома, произошло выдающееся событие. Одна из моих кузин вышла замуж, и я вместе с другой кузиной была подружкой на свадьбе.

В свадебном шествии, сверкавшем нарядами из яркого бархата и парчи, шел и наш сосед. Высокий, одетый в черное, среди пестрой толпы он выглядел кипарисом в цветущем саду.

Но как ни странно, он оказался одним из самых веселых гостей: он даже играл на гитаре и пел, стараясь рассмешить девушек своими любовными серенадами.

За столом я сидела рядом с ним и, наверное, как всегда, не обратила бы на него внимания, если бы он вдруг тихо, и не глядя в мою сторону, не заговорил со мной, будто шептал что-то про себя.

И тут я с ужасом обнаружила, что он знает обо мне все: мой возраст, мои привычки, мои тщеславные мечты и даже то, что я уже смирилась с мыслью об их неосуществимости.

— Но кто вам все это рассказал?

— Кто? Ваш друг.

— У меня нет друзей.

— Нет, у вас есть друг, и вам лучше от него избавиться.

— Не понимаю.

— Зато я отлично все понимаю. У вас есть друг, который заставляет вас попусту терять время. Тень вашего друга падает и на меня.

— Ах, кипарис!

— Вот именно, кипарис.

Не глядя в мою сторону, он налил себе бокал вина и протянул к нему большую белую волосатую руку: его кисть разжалась, словно лапа кошки в тот момент, когда она собирается схватить свою жертву. Осушив бокал, он со злобной решимостью поставил его на место, стукнув доньшком об стол.

— Срубите кипарис, — сказал он мне, не повышая голоса. — Моя мать тоже его не любит. Она говорит: «Покуда там будет стоять это дерево, не будет жизни ни нам, ни соседям». Срубите его, мне хочется, чтобы моя мать умерла счастливой: ведь она так настрадалась на своем веку и теперь совсем уже старуха. Стареем и мы с вами, синьорина. Что поделаешь! Срубите кипарис, и потом мы снесем разделяющую нас стену.

— Вы поняли, что я хотел сказать? — спросил он, но не сразу, а, казалось, прислушиваясь чутким ухом охотника к стуку моего сердца. Я молчала, но он уже услышал ответ по биению моего сердца и был слишком умен, чтобы его не понять. И с этой минуты я не переставала ощущать, что рядом со мною живет враг.

Но с некоторых пор враждебность его матери стала беспокоить меня больше, чем его неприязнь.

Мать я знала еще меньше, чем сына, хотя только стена разделяла наши сады. Из дому старуха выходила дважды в год: один раз чтобы послушать пасхальную службу, и второй — чтобы закупить в нашем лучшем магазине сукна, полотна и всякой всячины на целый год. Третий раз, говорили насмешники, она выйдет разве только для того, чтобы посватать сыну невесту.

И вот однажды, в феврале, в первый погожий день после долгой суровой зимы, когда я стояла у окна, подставив лицо ласковым лучам солнца, дверь у соседей отворилась, и из нее вышла старуха.

Высокая и худая, как сын, она была в черном суконном платье, отделанном бархатом. На груди и в разрезах рукавов ослепительно сверкала белая сорочка. Ее высокая фигура походила на кипарис, присыпанный снегом.

При первом ее шаге я спросила себя, куда это она направляется, при втором — вспомнила, что до пасхи еще далеко, при третьем — сообразила, что и для покупки еще слишком рано, а на четвертом — побледнела, и сердце мое замерло, как только старуха остановилась у наших дверей. Она пришла по мою душу.

Что ни говори, а ведь сын ее был прекрасной партией, и сколько бы ни смеялись девушки над его любовными серенадами, они не смогли бы отказать такому жениху.

Я ждала, что меня пригласят вниз принимать ужасную старуху, но время шло, а меня никто не звал. Можно было подумать, что все это мне просто почудилось! Но такой уж у нас обычай: девушка не должна присутствовать при сватовстве, ее спросят после, потому что ответ надо дать спокойно, рассудительно, с соблюдением приличий, даже если предложение очень заманчиво.

Но вот наконец, увидев, что старуха выходит из дома, я спускаюсь вниз и замечаю мрачные, словно разочарованные лица. Но я ни о чем не спрашиваю, я просто жду, и мне кажется, что после визита старухи даже воздух в нашем доме напоен печалью.

Вечером, когда вокруг стола, словно для семейного совета, собрались все домочадцы, я узнаю страшную тайну. Старуха приходила с требованием срубить кипарис.

Мы обсуждаем положение. Кое-кто из неприязни к кипарису говорит, что старуха права, другие возражают, потому что в их глазах требование соседей выглядит бессмысленным самодурством. Правда, на стороне соседей закон, предписывающий и деревьям держаться на должном расстоянии от чужой собственности, но почему же они только сейчас вспомнили о законе?

Об этом знаю только я.

И когда семейный совет заканчивается, я иду в сад, чтобы поклониться дереву-другу, чей удел отныне невидимой нитью связан с моей судьбой.

Странно, но кипарис будто бы рад принесенному мною известию. В эту холодную, но уже напоенную ароматом подснежников ночь жемчужный ореол, окружающий дерево, кажется, исходит от его протянутых к небу ветвей. Потом над его вершиной загорается отблеск луны, и кипарис превращается в волшебную свечу.

Я прислоняю голову к стволу дерева, прося у него совета и поддержки, и оно велит мне молчать, сопротивляться и ждать.

Человек за забором тоже молчал и ждал. Я чувствовала, что он ждет, ждет с жестоким нетерпением охотника, подстерегающего в засаде беззаботную лань.

Но ведь я не была беззаботной, ни о чем не подозревающей ланью, и он знал это. И если он делал вид, что целью его охоты был кипарис, под корой которого струилась кровь моих грез, то только потому, что он был горд и хотел избежать отказа. А может, и потому, что в его характере было что-то романтическое, ибо в конце концов и сама гордость является проявлением романтического склада души.

Он хотел спасти свою репутацию в глазах других людей, а главное — в глазах своей матери, которая хотя и знала тайный смысл затеянной сыном игры, но все же продолжала держаться гордо и с достоинством.

И вот через две недели она снова появилась у нас, как и тогда, в своем парадном наряде, словно пришла получить от меня ответ.

Я ждала ее: ждала со страхом, ненавистью, решимостью. На этот раз я спустилась вниз, не дожидаясь, чтобы меня позвали, и приняла ее с ледяной и суровой вежливостью, которой хотела дать ей понять, что она имеет дело с достойной противницей.

Не она, а я засыпала ее вопросами:

— Почему вы хотите, чтобы мы срубили кипарис? Чем он вам мешает?

— От него сырость в огороде и овощи совсем не растут.

— Что для вас пара кочанов капусты, если вы и без того здесь самая богатая и за пазухой у вас полно денег, а дома тайники набиты доверху!

Она самодовольно улынулась и невольно дотронулась до груди, как, впрочем, делала частенько, ибо действительно хранила деньги за пазухой.

— Не в деньгах дело, дочь моя, дело в солнце, в радости, в людях. Дети моих племянниц перестали приходить ко мне в сад, потому что боятся заболеть в этой губительной тени.

— Тем хуже для них: значит, это слабые и дурные дети.

Поняла ли она? Не знаю. Помню только, что она смотрела на меня своими большими и еще ясными глазами, смотрела как бы из глубины зеркала с простодушным выражением сострадания.

— Мои внуки крепкие и умные дети, бог даст, они выучатся и разъедутся по всему свету. Я говорю, конечно, о мальчиках, потому что девочки должны сидеть дома, работать, заботиться о семье, рожать здоровых детей и спокойно довольствоваться благами, которые посылает нам бог. Счастье ведь у домашнего очага.

Я не ответила: да и зачем? Она же поняла, что пора вернуться к главному в нашем разговоре.

— По правде говоря, этот кипарис всегда нагонял на меня тоску. Он приносит несчастье: ведь это дерево мертвых, его семя, должно быть, залетело сюда с кладбища. Давайте-ка, не ссорясь, срубим его, а в Иванову ночь разожжем из него хороший костер.

— Почему же вы раньше молчали?

— Почему? Да потому, что только к старости начинаешь верить в дурные приметы и думать о смерти.

«Ага, — подумала я, — вы боитесь, что скоро умрете, и хотите, чтобы я заняла ваше место, хотите, чтобы я выходила из дому три раза в год, а остальное время сторожила ваши проклятые деньги!»

— Я молода и в приметы не верю, я хочу жить, хочу повидать мир! — говорю я так громко, что она смешно затыкает себе уши. — Так вот, кипарис мы не срубим. Он мне нравится. Видите ли, мне кажется, что он приносит счастье. Я не дам его уничтожить.

— Хорошо, — говорит она вполголоса. — Но ты знаешь, что такое закон?

— Я сама себе закон!

Она ничего не ответила и поднялась, медленно-медленно, словно для того, чтобы я хорошенько могла ее рассмотреть. Да, она была высока по сравнению со мной, малышкой, высока и сильна своей суровой старостью. Ей не хватало только свода законов в руках, чтобы олицетворять собой правосудие.

Через месяц прибыл курьер с казенной бумагой, приговаривавшей кипарис к смерти.

На этот раз все домашние сошлись на том, что притязания соседа надо дать отпор. Так началась долгая тяжба, которой занялись адвокаты, помощник судьи и много других чиновников.

А дерево блаженствовало: теплое дыхание весны вернуло его жестким листьям сочность и глянцевиный блеск, и, как никогда, пышное и цветущее, оно спокойно красовалось посреди сада, наполняя его свежим можжевеловым ароматом. Страдала одна только я, доходя порой до бешенства от его бесчувственности.

Скорей бы, что ли, решалась его судьба! Но решение запаздывало, и слушание дела постоянно откладывалось.

Только в сентябре судья постановил, что не позднее тридцатого числа кипарис должен быть срублен.

Тогда к нам пришел плотник, предложил купить дерево и внес задаток.

Чтобы не быть свидетельницей преступления, я приняла отчаянное решение уехать на некоторое время в город. Я пустилась в эту поездку с тем же чувством, с каким человек, решивший бежать от своей страсти, отправляется в опасное путешествие в неизведанные края.

Я помню прощальный вечер: небо было уже по-зимнему зеленовато-прозрачным, холодным блеском отливали медно-красные облака, а в силуэте кипариса была какая-то странная расслабленность: он был похож на человека, уснувшего стоя у стены.

А я сидела под деревом, оплакивая свое погибшее прошлое и в то же время ощущая свою затерянность в бесконечности, — так обычно под сенью кладбищенских кипарисов нисходит на вас мысль о вечности, смягчая скорбь по умершим близким.

И именно тогда, во время этой короткой поездки, на которую пошли деньги, вырученные за кипарис, ко мне приблизились и стали явью все мои мечты: я обрела любовь, славу, стала жить в большом городе, и все дороги мира волшебным веером развернулись у моих ног.

ЗАЛОГ
ЛЮБВИ
1926



ВРАГ

Старая Марала поднималась в село, чтоб продать свой товар дачникам, и совсем не собиралась уступать его по дешевке (по теперешним временам такой товар дорого обходится и самим крестьянам). Вон другие и вовсе берут за него втридорога, ну а Марала была женщина совестливая. Поэтому и отчасти потому, что у нее не было особой нужды торговать, она не считала себя простой крестьянкой. Но не выбрасывать же добро, раз его много, вот она и ходила в село продавать продукты.

Марала на минутку присела на парапет у дороги спиной к лесистому оврагу, круто уходящему вниз, и посмотрела на свою доверху наполненную корзину, которую поставила рядом. Чего там только не было: яйца, салат и прочая зелень, фрукты, сыр, свежий и сухой, и ощипанные куры. Марала была жалостлива и не могла видеть, как мучают животных, поэтому никогда не делала, как иные скупердяи, которые связывают за лапки живых цыплят попарно и так вот, головой вниз, тащат на базар, а если не удастся продать их втридорога, волокут обратно. Она же, собираясь нести кур дачникам, резала их и ощипывала, так как была уверена, что сумеет все продать.

Вдруг она вздрогнула и прикрыла корзинку, потом встала и посмотрела вверх. Ей послышалось шушуканье, будто кто-то вполголоса злословил о ней. Над пустынной дорогой, в величественном молчании гор и в самом деле слышался шорох, но то было дыханье ветра, который, перепрыгивая со скалы на скалу, как быстрая лань, трепал ветки можжевельника и листья папоротника.

Марала вновь пустилась в путь, легко неся корзину на голове, как шляпу. Она шла, высокая и негнувшаяся, словно веретено, держась теперь еще прямее, чем раньше, и устремив глаза на дорогу. Сколько раз она и прежде ходила вот так в темноте, с таким ощущением, будто глаза ее — фонари, освещающие путь. Так, прислушиваясь к собственным шагам и делая вид, что ничего не боятся и готовы отразить любую напасть, ходят те, у кого есть враги.

Крестьянка считала, что у нее тоже есть враг. Она не знала, кто это, мужчина или женщина, но была уверена, что он существует.

И сколь настойчиво ни вопрошала она свою совесть всякий раз, когда ходила на исповедь, она не могла вспомнить, чтобы хоть однажды причинила кому-либо зло. Она не была тщеславна, не вмешивалась в чужие дела и только одного просила у бога — чтоб он позволил ей жить в трудах праведных и умереть с миром и без греха. А враг у нее все же был, и давно, с самой юности. В те времена его существование можно было как-то объяснить: им мог быть отвергнутый поклонник, либо завистливый сосед, либо родственник, ущемленный в своих интересах. А может, это был тот самый пономарь, который до сих пор требовал, чтоб ее односельчане выплачивали десятину приходской церкви. Что же касается Маралы, то она хоть и была женщина совестливая и религиозная, но не собиралась бросаться своим добром из пустого легковерия и страха.

Враг этот нет-нет да и давал о себе знать, преследуя ее исподтишка, но многие из его злых выходок Марала запомнила хорошо.

Она подняла правую руку, сжала кулак, похожий на узловатый сук, и, разгибая пальцы один за другим, принялась считать.

Это началось еще с тех пор, когда она была помолвлена с богатым торговцем лесом и углем. Она не любила его, но думала, что со временем, когда начнется семейная жизнь, пойдут дети и появится достаток, придет и любовь. Но кто-то, должно быть, тот самый враг, до-

нес торговцу, что у нее была связь с двоюродным братом, и выгодный брак расстроился.

Правда, о ее связи с братом знали все, поэтому никто не удивился, когда они поженились. Сплетни и пересуды начались позже, и это оказалось делом рук того же врага. Муж ее был хорош собой и очень любил свою жену, зато совсем не любил работу. Вскоре Марала стала бранить его и упрекать в том, что из-за него она потеряла богатого жениха. Надеясь таким путем заставить его выйти в поле и взяться за мотыгу она своими упреками довела его до того, что он повадился ходить в остерию. Тяжелые выдались годы. Но она с христианским терпением переносила свое несчастье и не роптала на людей, хотя злые языки болтали о ней всякое. Говорили, будто она бьет мужа, изменяет ему и грозит его убить. И все стояли на его стороне, а он, кроме остерии, нашел утешение в доме одной жалостливой и покладистой бабенки. А на долю Маралы оставались одни насмешки и оскорбления.

Вспомнив о том времени, Марала даже остановилась посреди дороги, охваченная приступом гнева и боли.

— Это все он, конечно! Он распускал обо мне сплетни, он натравил на меня моего несчастного мужа, он и в смерти его повинен. Потому что не будь всех этих наших раздоров, разве мой бедный муж напивался бы так? До того пил, что умер в одночасье. А все он!

— Он! — крикнула она, вновь расстроенная воспоминаниями. И эхо, прятавшееся в скалах, согласилось с ней:

— Он.

Враг.

И тут она подумала о торговце лесом и углем. Он тоже женился, но при всяком удобном случае проезжал на своей красивой сардинской лошадке мимо дома Маралы.

Делал ли он это ей назло или просто хотел поухаживать за ней? Наверное, и то и другое. И так про-

должалось даже после смерти ее мужа, пока она, не желая, чтобы ее осудили еще и за это, не накинулась как-то раз с грубой бранью на своего бывшего поклонника.

Ничуть не смутившись, он слез с лошади и попросил впустить его на минутку в дом: он хотел кое о чем поговорить с ней. Манеры его были вкрадчивы, а сам он вырядился как напоказ: серьги, две золотые цепочки и пистолет с серебряной насечкой. Она впустила его. Потом он приходил к ней не раз, иногда даже ночью. Что ж тут плохого? Она была свободна и могла принимать в своем доме кого угодно — даже монаха, который собирал пожертвования. Она и на самом деле принимала его.

Но враг был начеку. И если о монахе он ни словечка не проронил, то из-за торговца снова стал раздувать огонь клеветы. Опять возобновились преследования. Когда жена торговца съела арбуз в три кило весом и у нее началась сильная резь в животе, в дом Маралы явился бригадир карабинеров собственной персоной и учинил ей длительный допрос: все выспрашивал о яде, который она якобы дала торговцу, чтоб тот отравил свою жену.

В довершение всего торговец больше не появлялся. Отгородившись от всего света забором высотой в три метра, Марала работала на своем поле, плакала и молилась. Она читала «Отче наш», но всякий раз, дойдя до слов: «...и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем...», замолкала.

Она остановилась, опять села у дороги, как бы подавленная усталостью многих лет одиночества и унижений. Вздохнула. Хорошо еще, что с тех пор враг оставил ее в покое. Она скороговоркой стала читать «Отче наш», не спотыкаясь теперь уже на словах: «...оставляем должникам нашим».

Какая-то женщина быстро шла, почти бежала вниз по дороге. Увидев Маралу и узнав ее, она внезапно остановилась и перекрестилась.

— Можно подумать, что я дьявол! — проговорила Марала своим грубым мужским голосом.

— Марала! Это вы! Вас-то я и ищу. А господь посылает мне вас навстречу! Как же тут не перекреститься? Марала дорогая, вы мне так нужны!

— Жаль, я не мужчина, а не то обняла бы вас, такая вы ласковая.

Женщина бросилась перед ней на колени и уткнулась головой в ее ноги. Она задыхалась, и казалось, вот-вот лишится чувств.

— Марала, мой сын, тот, что работает официантом в кафе для дачников, провинился: украл у хозяина сто лир. Хозяин требует, чтоб я вернула их сегодня же, а не то посадит мальчишку в тюрьму. Я подумала о вас, Марала. Знаю, вы дадите деньги под проценты...

Марала посмотрела на дорогу вверх, потом вниз и громко сказала:

— Ну да! Какие там, к черту, проценты! Почему иногда не сделать добро и не помочь какому-нибудь бедному христианину?

— Да, мы это знаем: вы женщина святая. Дайте же мне сто лир.

И так как Марала смотрела на нее почти насмешливо, женщина добавила вполголоса:

— Я отдам их вам в субботу, когда муж вернется из леса. Я отдам вам сто двадцать лир.

— У меня нет при себе денег, — ворчливо сказала старуха. — Приди попозже ко мне домой, там посмотрим.

Молитвенно сложив руки, женщина повернулась к ее корзине.

— Это не корзина с младенцем Иисусом, — перехватив ее взгляд, сказала Марала, смеясь, как девчонка. — Ладно, ладно, я все уже поняла.

— Да, Марала, пожалуйста, дайте ее мне, я все продам, а потом верну вам корзину. Сто лир наверняка получу за все.

Марала рассчитывала лишь на восемьдесят лир, но с достоинством ответила:

— О, за такой товар выручишь и сто двадцать. Одни цыплята стоят двенадцать скудо.

Она благоговейно приподняла платок, прикрывавший все ее добро, и потрогала цыплят пальцем.

— Погляди, какие они упитанные, белые и нежные, совсем как новорожденные младенцы.

Так избавилась Марала от необходимости тащиться в дачный поселок. Но едва женщина исчезла за поворотом дороги, будто проглоченная большущей скалой, старуха явственно услышала чей-то голос:

— Ростовщица.

Склонившись над обрывом, она посмотрела вниз. Внизу, в синем потоке, бегущем по долине, пастухи мыли овец перед стрижкой, а женщина рвала вишни с дерева, которое было так усыпано ягодами, что оно казалось скорее красным, чем зеленым. Все это напоминало земной рай, и Марала выпрямилась, почувствовав стеснение в груди. Нет, этот противный голос не мог доноситься снизу. Скорее, он прозвучал наверху, в скалах, которые казались огромными дьяволами с зеленой бородой и рогами из сухих веток. Там-то и прятался ее враг. Он ждал все эти годы в своей дьявольской засаде и сейчас вновь собирался начать преследование.

Безумие затмило ее разум. Ей почудилось, что, спрятавшись в скалах, насмешливо скалят зубы те, кому она тайком давала деньги под большие проценты: но нет, эти не могли выдать ее — они были люди почтенные и никогда бы не признались в том, что у них есть долги.

И тогда, взбешенная, она с вызовом крикнула скалам:

— Скажи, скажи, кто ты?

Эхо ответило:

— Ты.

И она поняла, что совесть открыла ей наконец имя ее истинного врага.

ПАСТУШОК

Пино нехотя плелся к дому крестьянина Билси, куда послала его мать. Напутствуя его, она сказала: «Недавно господь призвал к себе единственного сына Билси, Полино, — ты ведь знал его, — и теперь они ищут мальчика на поденную работу: пасти уток. Так вот, ты пойдешь туда и скажешь Марте Билси: «Меня послала мать, я насчет уток». И потом, на все, что бы она ни говорила, ты должен отвечать почтительно и с уважением и ни в чем ей не перечить. Понял? Иди. Возьми с собой кусок хлеба да смотри, чтоб они не подумали, что ты голоден».

И Пино отправился с куском хлеба в руке, закатав до колен штаны, как будто собирался переходить речку вброд. Черные мысли туманили светлые глаза мальчика. Он ведь слышал вчера вечером, как родители его разговаривали между собой и мать сказала, вздыхая:

— Дай-то бог, чтоб они привязались к нему и оставили у себя вместо сына.

Так, значит, родители хотят спровадить его к Билси, так же как Билси спровадили к господу богу своего сына Полино!

Триста шагов — и вот Пино уже у дома Билси. Обернувшись, он отчетливо увидел свой дом и заметил, какие они разные: его родной дом почернел, покрылся трещинами и стал похож на свиное гнездо, а новый дом Билси был белый, с зелеными ставнями, и возле него — огромный, словно луг, двор. Высокие, как

деревья, подсолнухи со множеством маленьких солнечных дисков, которые, качаясь, поворачивались к свету, окружали тыквенное поле перед домом, а тыквы лежали среди увядших листьев, блестя на солнце позолоченными боками. Все так красиво, так богато, но ни одного ребенка вокруг, и Пино продолжает оглядываться на свою лачугу. Ему кажется, что он видит, как на лугу у запруды возится ватага чумазных мальчишек, его младших братьев, давно уже позабыв о нем, как забыли они своего друга Полино.

Мать Полино, в черном платке, повязанном вокруг головы в знак траура, встретила Пино почти враждебно. Горе озлобило ее и заставило ненавидеть всех детей, которые остались жить на этом свете, тогда как ее ребенок ушел неизвестно куда.

Пино надеялся получить хотя бы немножко горячей поленты с маслом ради первого знакомства, а вместо этого ему сунули в руку длинный ивовый прут и повели знакомить с утками.

— Видишь? Их двенадцать. Пересчитай. Ты умеешь считать?

Пино не был уверен в том, что сможет сосчитать их, не сбившись, но вспомнил наставления матери и решительно ответил: да, умеет.

— Тогда веди их на луг, тот, что у запруды: если они захотят в воду, дай им немного поплавать, но смотри, чтобы далеко не ушли. В полдень возвращайся. И чтобы все утки были целы. Понял? Ступай.

Она обращалась с ним так грубо, что мальчика охватило желание удрать от нее тотчас же, но он вспомнил, какую барабанную дробь выбивали на его спине кулаки отца, — он нещадно колотил Пино. И чтобы не сказать женщине ничего плохого в ответ, он проглотил слюну, как после дозы слабительного. Хорошо еще, что утки, крикая, обступили его тесным кольцом, суетливо лезли к нему поближе и старались дотянуться клювами до его рук. Одна из них ткнулась чуть не в самое лицо, будто хотела поцеловать. Да, они уже всячески выказывали ему свою привязанность. Но он не обольщался, зная, что их привлекает лишь кусок хлеба в его руке.

Он вышел со двора, гоня уток перед собой. У плотины он чуть было не поддался соблазну повернуть к своему дому, но заметил, что хозяйка наблюдает за ним, и потащился прямо. Впрочем, это только так говорится — прямо. На самом деле, утки, потеряв всякую надежду получить хлеб, разбрелись кто куда. Пришлось немало потрудиться, побегать с прутиком в руке, чтобы собрать их. Они, хоть и с трудом, переваливались с боку на бок и были глупы на вид, однако же двигались быстро да еще претендовали на независимость. Только одна из них, та, что плелась в хвосте, то и дело падала и растягивалась на земле, потому что была хромая.

Кое-как с божьей помощью добрались они до запруды и спустились вниз, к лугу на берегу реки. Пино облегченно вздохнул, а утки закричали от радости, вытягивая вверх свои огромные желтые и серые клювы, которые казались картонными носами, как у карнавальных масок. От реки веяло свежестью и пахло водяными лилиями. Но истинно поэтическую радость доставили душе Пино и его уткам те бесчисленные улитки, которые сплошной коркой, словно проказа, облепили прибрежные кусты.

Стоял август, и было жарко даже внизу, у реки. Комары как бы рождались прямо из травы и, залезая в штаны Пино, кусали его зад без всякого стеснения. Не привыкший к подобным напастям Пино распустил уток, которые накнулись на кусты и принялись высасывать улиток из ракушек, а сам погрузился в воспоминания. Ему представилось, что он еще там, на лугу, по ту сторону запруды. Он ссорится и дерется с братьями из-за землеройки, попавшей в капкан, который они смастерили все вместе. Зверек с блестящими и острыми, как кончик иглы, глазками бьется о тростниковые стенки маленького, с кулак, капкана. Девчонки с плачем разбегаются — перепугались этого чудовища. И слышно, как в доме мать бранится с дедом. Там, внизу, в его доме, грустно и беспокойно. И хотя здесь, на лугу, где толстые утки Марты Билси свирепо расправляются с улитками, все тихо, на душе у Пино сумрачно и тревожно, потому что сердце его осталось там, внизу.

Когда, насытившись, утки собрались в круг, будто хотели посоветоваться, Пино воспользовался этим, чтобы сосчитать их. Одна, две, три; одна, две, три; он считал их группами, но ему никак не удавалось насчитать двенадцать. Тогда он решил разогнать утиный совет и заставить их двигаться.

Удар прута — и утки вытянулись в одну линию. Тут он заметил, что они отличаются друг от друга: у одной голова — серая, у другой — бурая, у третьей — желтая, а синие кончики крыльев у них, оказывается, разных оттенков. Это открытие очень его обрадовало, оно помогло установить, все ли они здесь.

И, позволив им немного побарахтаться в мелкой лужице на песчаном берегу реки, он не без гордости повел их домой. Он угадал даже, который час, или, вернее, это угадал его желудок, и Марта, казалось, могла быть им довольна. Но она ничем уже не могла быть довольна в этом мире и встретила его со своей обычной холодностью, как будто, отправляя его пасти уток, оказывала ему большую честь.

Обед тоже не оправдал надежд Пино. Он думал, что Билси теперь, когда им некому оставить свое добро, едят курятину и колбасу каждый день, а вместо этого он увидел на столе — похлебку из риса и фасоли, надоевшую ему и дома. Повезло еще, что сам хозяин, высокий и крепкий крестьянин, был в хорошем настроении. Он стал шутить с мальчиком, щекоча его время от времени прутиком, чтоб Пино громче смеялся. Несколько раз заставил его рассказать историю про деда, которому какие-то шутники привязали на спину бумажку с надписью: «Продается бочонок» (дед Пино был самым знаменитым пьяницей в округе), и каждый раз хохотал до упаду.

Пино смотрел на него с изумлением. И это тот самый отец, у которого всего десять дней назад господь взял единственного сына? Не знал он, маленький пастушок, что высокий крестьянин смеялся и шутил лишь для того, чтоб хоть как-нибудь развлечь свою жену.

Но настроение Билси переменилось, как только он опять взялся за работу. Он велел Пино идти за ним (вести уток второй раз на луг надо было немного позже) и заставил его полоть траву, которая обвивала

помидоры, сгибавшиеся под тяжестью плодов. Трудная это была работа. Даже если корни травы легко выдерживались из сырой земли, то стебли ее упорно цеплялись за хрупкие ветки помидоров, и их невозможно было отделить. Когда вместе с сорняками Пино выдернул несколько тоненьких слабых веточек помидоров, крестьянин накричал на мальчика и обругал его «сукиным сыном». Он казался сейчас совсем другим, этот Билси. У него было разъяренное лицо смертельно оскорбленного человека, который не может отомстить за себя. Пино тоже почувствовал себя обиженным и оскорбленным. Разве так обращаются с людьми? Даже отец, когда бил его, не называл его «сукиным сыном». Правда, тогда оскорбление относилось бы и к самому отцу, но Пино не задумывался над этим. Ему было не до того: он порезал ногу осколком стекла, брызнула кровь, краснее, чем помидоры, и ужасно испугала его. К счастью, мать дала ему с собой платок и не велела его пачкать. Тяжело вздыхая, он вытащил платок из кармана и развернул его. Тяжело вздыхая, перевязал ногу и навсегда запомнил, какое чувство горечи он испытал, когда Билси без всякой жалости велел ему продолжать работу. А ведь он видел, как сильно поранил ногу Пино.

Дни в августе становятся короче, но этот день показался Пино самым длинным днем его жизни.

К заходу солнца он уже знал наперечет всех уток, знал, как каждая из них ходит, как смотрит, как хлопает крыльями, и ненавидел их всех — от первой и до последней. Когда он был уверен, что никто не видит его, он мучил их, стегал прутом и швырял в них комья земли. Или брал хромую утку, кидал ее в воду и смеялся, глядя, как она бьется там, словно пловец, у которого судорогой сводит ноги. Он чувствовал, что стал за этот день гадким и злым. Ну и что же? А разве другие не были с ним злы, все, начиная с родителей? Он и не подумал, что в конце концов для него, пожалуй, лучше, что Билси обращаются с ним, как с жалким слугой. Он вообще не мог уже больше думать, отупев от одиночества и голода. После того супа ему ничего больше не дали, а здесь, между дамбой и рекой, где его заставляли сидеть из-за улиток, ничего, кроме улиток, и

не было. Он питался одними надеждами. Вот скоро он вернется. Марта Билси, конечно, наварила поленты и даст ему большой горячий кусок... Он даже отказался от масла, потому что не надеялся его получить: так поступают те люди, которые часто наталкиваются на отказ.

Когда он вернулся, ему пришлось отказаться и от поленты. Марта Билси даже не разожгла огонь и, видимо, не собиралась это делать. Она сидела на пороге рядом с какой-то старушкой, которая пряла, и рассказывала ей, как заболел, как умер и как был похоронен ее Полино. По интонации, по размеренному ритму ее голоса было ясно, что она рассказывала эту историю уже в сотый раз. Она знала ее наизусть и тянула нараспев, как песню или молитву. До всего остального ей не было никакого дела. Поэтому, когда утки дружной флотилией проплыли через необъятный простор двора, а вслед за ними появился Пино и поглядел на нее своими огромными, как у голодного кота, глазами, она остановила на нем рассеянный взгляд и сказала:

— Ну, ступай, ступай.

И Пино ушел с пустой головой и пустым желудком. По рассеянности он захватил с собой прутик и, пока шел вдоль дамбы, все еще видел перед собой уток, которые норовили разбежаться. Он размахивал прутом, рассекая тишину розовых сумерек.

Но голод, как известно, обостряет ум, и в голову Пино пришла мысль, которая приободрила его.

«Если я скажу, что со мной плохо обращались, мне и от мамы еще попадет, — подумал он. — Я уже слышу, как она кричит: «Сам виноват, ничего не умеешь делать!» Она всегда так говорит, я знаю. А если я, наоборот...»

И он припустился бежать. Вот он, славный запах его родного дома. Запах навоза, грязных ребятишек, скошенной травы, подгоревшего молока. Запах живых людей. Мама уже приготовила поленту, опрокинула ее на доску, и даже полная луна, которая заглядывает в распахнутое окно с зеленоватого неба, не так красива, как

это золотистое дымящееся полушарие, лежащее на столе.

— А-а, Пинетто, как дела?

Он стоял перед мамой, как давеча стоял перед Мартой Билси, но сейчас при свете луны глаза его блестели, как у кота, поймавшего мышь.

— Хорошо, а то как же? Билси, наверно, возьмут меня к себе вместо сына, — сказал он с хорошо разыгранной небрежностью.

И ему достался самый первый ломоть поленты с кусочком масла, который таял наверху, как тает облачко в румяном утреннем небе.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ

С приездом нового врача в местечке распространился слух о том, что он сторонник необычайно смелых научных теорий. Некоторые из них он намеревался сразу же применить на практике, и прежде всего теорию любви американского доктора Бетмана.

Любовь, по теории Бетмана, — это болезнь, такая же, как и любая другая. В самом деле, в ней можно выделить несколько стадий: инкубационный период, период нарастания, период кризиса и спада. Если ее не вылечить вовремя, болезнь эта становится хронической, принимает тяжелые формы навязчивой идеи или мании и может привести к самым пагубным последствиям.

Известно, что на человеческом черепе можно различить множество шишек, которые несут в себе признаки различных наклонностей. В одной из этих шишек таится доминирующая идея, или тенденция. Это может быть честолюбие, фанатизм, преступность; у женщин это неизменно любовь, да и у мужчин часто тоже. И вот когда идея перерастает в душевную болезнь, то достаточно простого хирургического вмешательства, чтобы излечить ее.

Однажды вечером после ужина об этом шел разговор в доме местного священника. Подвыпившие гости сидели за столом, уставленным яствами, и от души веселились, дополняя эти новомодные теории собственными, порой непристойными комментариями. Время от времени некоторые из пирующих исчезали, ибо ощу-

шали потребность прогуляться до ближайшего виноградника, чтобы вернуть ему часть выпитого вина.

Виноградник был в цвету. Еле уловимый аромат разливался в голубом ночном воздухе и, казалось, смешивался с лунным светом.

Настала минута, когда и сестре священника тоже захотелось удалиться от веселого общества в виноградник. Она вдоволь посмеялась в этот вечер, может быть, даже слишком много посмеялась, и теперь чувствовала легкую дурноту, словно пила наравне с братом и его компанией.

По правде сказать, она тоже не отказалась от своей доли ламбруско. Да и отчего не выпить после доброго ужина? Ну а если говорить о еде, то тут уж нечего скрывать: поужинали все весьма плотно.

Женщина испытывала то раздражение и ту мучительную тоску, которую, очевидно, испытывает волк, когда, сожрав ягненка, бегаёт с раздутым брюхом по лесу и ищет источник, чтобы утолить жажду.

Где же этот источник? Женщина ощущала в воздухе прохладу, льющуюся откуда-то сверху (так в осенние вечера в увитой лозами беседке пахнет спелым виноградом), и это еще больше усиливало ее жажду. Она подошла к забору и посмотрела на поля, седые от лунного света, тихие и безжизненные, как геометрические чертежи; кое-где на них поблескивали каналы, но вода в них не годилась для питья. Горизонт был пустынен, и над всем этим пейзажем, однообразным и печальным, с материнской лаской склонялось бледное лицо луны.

Женщина повернула назад, увидела свою расплывшуюся тень на заросшей травой аллее и подумала, что вот такая она и есть на самом деле — нелепая и смешная, со всеми своими неясными тревогами и бессмысленными фантазиями. Ночью и на следующий день ее недомогание усилилось. Она была крепкой женщиной около сорока лет и ни разу в жизни не обращалась к доктору. Больше того, она с гордостью утверждала, что умеет лечить многие болезни, и всегда сама ухаживала за братом, который частенько страдал несварением желудка, и за старой служанкой, прожившей в их семье больше полувека. Но теперь это нервное возбуждение, бессонница, кошмары и, наконец, голо-

вокружение, начавшееся у нее как-то раз, когда она расчесывала свои длинные черные волосы, не на шутку ее встревожили. Что это? Начало критического возраста или симптомы склероза? Склерозом, этим терновым венцом, часто грозил священнику и всем его друзьям аптекарь, лечивший местных жителей, пока шел конкурс на замещение должности врача. Священник только посмеялся над этой угрозой и, желая показать свое полное к ней пренебрежение, предложил аптекарю брать с него пример в еде и возлияниях. Возникло своего рода соревнование в чревоугодии — занятие, казалось бы, невинное, но могущее в любой момент привести соревнующихся к печальному концу. Что касается женщины, то ее с той поры не покидало смутное чувство страха, и она решила поверить свои опасения служанке.

— Почему бы вам не позвать нового доктора? — сказала служанка. — Говорят, он мудр, как Соломон.

Новый доктор пришел. Это был совсем еще молодой человек — высокий, лысый, с худым голодным лицом. Но его голубые глаза, чуть грустные и в то же время лукавые, были прекрасны. Он всегда носил с собою таинственную черную папку, которая возбуждала любопытство всех местных женщин.

Сестра священника, словно изваяние, сидела на плетеном диване в столовой, выходявшей окнами в виноградник. Ее голову венчала корона черных, отливающих бронзой кос, а лицо, похожее на лицо Минервы, выглядело немного бледным. Но вообще вид у нее был совершенно здоровый, и появление врача в этом доме казалось неоправданным. Женщина старательно избегала взгляда доктора, а он, щупая ее пульс, с нескрываемым интересом разглядывал ее ножки — странно маленькие для такой крупной фигуры.

Пульс был нормальный, но от прикосновения мужских пальцев кровь слегка взволновалась в ее жилах, подобно тому как листья на ветке трепещут от порыва ветра. Это продолжалось всего лишь мгновение, но врач сразу разгадал, что перед ним мнимая больная, а она поняла, что выдала себя.

— Скажите, на что вы жалуетесь? — спросил он, сядясь напротив, так близко к дивану, что его длинные ноги коснулись ее ног, которые она тут же в смущении убрала. Женщина опустила голову, но его взгляд продолжал беспокоить ее, словно свет, бьющий прямо в лицо.

— Голова часто кружится, ночью либо совсем не сплю, либо снятся такие кошмары, что потом боюсь заснуть, и бывает — проснусь, а правый бок точно не мой.

— И давно начались эти явления?

— Да, уж порядочно, но нынешней ночью стало так худо, как никогда.

Он задал ей несколько интимных вопросов, на которые она ответила, слегка краснея, отчего между ними возникло чувство близости, и чему суждено было случиться, случилось.

Она была красивая женщина, с чудесной кожей, под которой кровь, питаемая здоровой пищей и добрым вином, текла в жилах слишком густой струей, а потому иногда замедляла свое движение так же, как невольно задерживается на узкой улице праздничная толпа. И доктором овладело вожделение. Побуждаемый скорее личным, чем профессиональным интересом, он спросил ее, думала ли она когда-нибудь о замужестве.

Тогда она медленно подняла голову и, изменившись в лице, посмотрела на него глазами загнанного зверя.

— Вся болезнь моя отсюда, — сказала она внезапно охрипшим и жалобным голосом. — Несколько лет назад была я обручена, а потом он меня бросил и забыл. Я же все эти годы ни на минуту не могла выбросить его из сердца. Чего я только не делала, чтобы забыть его! Мне говорили, что стоит лишь начать жить припеваючи, все как рукой снимет. Ничуть не бывало: от этого стало еще хуже — чем здоровее тело, тем больше страдает душа. Я не глупа и, поверьте, изо всех сил стараюсь отвлечься от этих мыслей, но они опутали меня, словно корни сорняков, которые опутывают все, что растет вокруг. В конце концов это стало просто навязчивой идеей, которая часто приводит меня на берег канала. Вы должны меня понять, синьор доктор, про вас говорят, что вы...

Она умолкла, заметив, как он отодвинулся и лицо его вспыхнуло, будто охваченное жаром. Смутно почувствовав, что чем-то обидела его, она опять безнадежно поникла головой. Значит, не осталось у нее никакого выхода...

— Есть, есть выход, — сказал ей доктор в один прекрасный день, когда он уже сделался постоянным гостем на всех званных обедах в доме священника. Они сидели рядом на плетеном диване, поджидая хозяина и его друзей.

— Аптекарь распускал тут обо мне всякие слухи, потому что боялся найти в моем лице конкурента. И вы, женщины, теперь смотрите на мою черную папку так, будто там, внутри, и вправду спрятаны щипцы, которые могут вырвать из ваших голов мысли о любви! Но должен сказать: для вас в моей папке действительно найдется чудодейственный инструмент.

— Что же это такое? — спросила она, отчасти испуганная, отчасти взволнованная его близостью.

— Это гвоздь, — прошептал он ей на ухо, и оба расхохотались, а в глазах их отражался блеск тарелок и хрустальных бокалов, которыми был уставлен стол. Потом наступила тишина.

В этот вечер доктор был самым веселым из всех сидевших за столом. Он уже чувствовал себя здесь хозяином, и его лицо, истощенное частыми постами полуголодной юности, напоминало лик воскресшего Христа.

Священник тоже был весел обычной своей молчаливой веселостью, которая оживляла сотрапезников, подобно тому как мягкий свет лампы оживлял стол. Присутствие за обедом молодого врача как бы опровергало мрачные пророчества аптекаря и вселяло в душу хозяина мир и спокойствие: терновый венец оборачивался венком из роз.

В его радости было что-то возвышенно-религиозное, и каждый раз, когда бурное веселье сотрапезников грозило взорваться, как взрываются бутылки в первые жаркие дни, он поднимал бокал, показывал его одному,

другому, потом делал благословляющий жест и одним духом выпивал вино, бормоча:

— Pax Vobiscum!¹

Все смеялись. И в то время как со стола среди споров и шуток с фантастической быстротой исчезало блюдо за блюдом, над бутылками и тарелками скрещивались на лету взгляды женщины и доктора и, встретившись, разъединялись, как воробьи, что порхают с одной ветки, усыпанной плодами, на другую.

Но кульминация того чуда, которое называется счастьем, наступила за столом в ту минуту, когда доктор вмешался в спор двух оптовых торговцев метлами. Конкуренты, стараясь скрыть истинные мотивы своей вражды, препирались на тему о превосходстве подлинных тружеников над бездельниками. Стараясь предотвратить назревшую ссору, доктор сказал:

— Все мы труженики, все работаем, не работают только мертвые.

— И не пьют, — заметил кто-то.

— Но зато и ночи проводят не так скверно, как мы, — сказал второй.

Тогда доктор взял свою черную папку и, к общему удовольствию присутствующих, вытащил оттуда тетрадь, которую принялся перелистывать, читая загадочные слова: «Амур-дитя», «Ночь», «Франческе», «Гвоздь» (тут он лукаво приподнял бровь), «Плуг».

— Ага, вот и «Песня пьяниц-работяг», — провозгласил он и громко, как ученик, отвечающий урок, начал читать:

ПЕСНЯ ПЬЯНИЦ-РАБОТЯГ

С трудом переплываем мы реку,
Черную реку ночи,
Минуем острова сна,
И бурные водовороты бессонниц,
И грозные рифы дурных сновидений.
А на заре, усталые и обессиленные,
Причаливаем к белым берегам дня.
И мы снова готовы жить, работать и веселиться.

Раздались смех и аплодисменты, хотя далеко не все поняли стихотворение.

¹ Мир вам! (лат.)

Священник велел сестре принести еще несколько бутылок, он хотел чествовать поэта; а доктор тем временем, по просьбе всех присутствующих, прочел и другие стихи. Некоторые из них («Амур-дитя», «Плуг») растрогали слушателей до слез.

Хозяин потребовал еще вина.

— Прочтите «Гвоздь», — попросила наконец женщина, щеки ее горели, как вишни, оживлявшие прекрасный натюрморт на столе.

— О нет, это профессиональная тайна, — сказал он, бросая на женщину пламенный взгляд, который явно обещал, что это стихотворение будет ей прочитано, как только они опять останутся одни.

И, не дожидаясь новых распоряжений брата, она сама принесла к столу несколько бутылок вина. Однако ночью священник почувствовал себя плохо и вместо «белых берегов дня» причалил к черному берегу смерти.

И женщина подумала, что надо немедленно прекратить курс лечения.

ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ

То, что ей рано или поздно придется признаться в своих грехах одному из слуг господа бога, ничуть не беспокоило Джину, дочь рыбака Джинона. Эти грехи были хорошо известны на обоих берегах ее родной реки, да она и не пыталась скрывать их. Но она и представить себе не могла, что ей нужно будет покаяться в грехах самому дону Аполлинари, новому приходскому священнику.

Дон Аполлинари был единственным в мире существом, способным пробудить в ней то чувство, среднее между страхом, уважением и восхищением, которое заставляло ее, подобно ящерице, прятаться в кустах, когда он с книгой в руке проходил вдоль высокой речной дамбы. Без черных одежд он, наверное, светился бы насквозь — до того был бледен и тщедушен. Джине он казался святым Луиджи, который сошел со стены деревенской церкви, иной раз он держал в руке цветок, это совсем довершало сходство, а когда дон Аполлинари шел с непокрытой головой, его рыжие волосы пылали, сливаясь с догорающими закатными облаками.

Все в округе говорили, что он святой, пришедший обратить в истинную веру людей, которые последнее время только и делали, что наживали деньги, пили, ели и совсем забыли о боге и церкви.

И Джина глубоко верила этому. Но святые ей нравились больше на картинах, вроде тех что нарисованы на стенах одиноких, всем открытых часовенок, которые стоят обычно на перекрестках сельских дорог. А живые святые внушали ей такой страх, что мимо большой деревенской церкви она всегда мчалась со всех ног.

Но вот однажды дон Аполлилари, как черное видение, появился в тополевой роще на берегу реки. И он искал ее, именно ее, Джину, дочь рыбака Джинона.

Рыбак соорудил себе на берегу реки довольно прочное жилище из бревен, досок, веток и тростниковых циновок. Кроме комнаты с двумя кроватями, там был еще широкий навес, а под ним — столы и скамейки. В праздничные дни здесь устраивали пирушки сельские гуляки. А за домом было что-то вроде внутреннего двора, где сметливый Джинон разводил диких уток и гусынь, толстых и спокойных, как овцы.

Джина росла без матери и хозяйство вела сама. Сначала она приходила сюда только на день, чтобы принести поесть отцу и присмотреть за гусынями, пока он был на рыбалке, потом, с наступлением весны, она покинула бабушкин дом и перебралась к отцу насовсем. Она пошла бы с Джиноном и на рыбалку, если б это зависело только от нее, но поскольку ей это не разрешали, она надумала ловить рыбу сама маленькой игрушечной сетью.

Лежа в лодке, привязанной к берегу, она, после долгого и терпеливого ожидания, ухитрилась поймать одну из тех рыбок, которых называют «кошками» за их усы. Как раз в это время и появился священник. Он шел, окруженный утками и гусями, и поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, как будто благословлял птиц и беседовал с ними. Увидев его, Джина тотчас бросилась ничком на дно лодки — иначе спрятаться было нельзя.

«Он сейчас уйдет, — думала она, крепко зажмурив глаза и затаив дыхание. — Он пришел сюда погулять и скоро уйдет. Не мог он, что ли, найти себе другого места для прогулок? Неужели не мог?»

Прошло несколько секунд. Лодка под ней раскачивалась, как люлька, а криканье уток становилось все глуше и глуше, и наконец они совсем смолкли. Он даже уток сумел околдовать своими магическими речами!

«Может, он уже ушел», — решила она, но чувствовала, что он все еще здесь, потому что от его присутствия в воздухе разливалось какое-то таинственное благоухание: вот так же и тополя в роще пахнут розами.

Вдруг лодка сильно качнулась, как бы предупреждая Джину, что сейчас произойдет нечто необыкновенное.

— Девочка, — произнес чей-то голос, который, казалось, доносился прямо из воды, — встань!

Она встала, прикрывая замуренные глаза рукой.

— Убери руку, — сказал голос, теперь уже совсем близко и громко.

Джина опустила руку и, испуганно моргая, взглянула на дона Аполлинари. Тот сидел напротив нее, словно Иисус в лодке святого Петра. Лицо его и руки имели тот перламутровый оттенок, какой бывает у струящейся воды, цвет его глаз Джина не могла различить — не осмеливалась встретиться с ним взглядом. Он сидел неподвижно, словно нарисованный на фоне тополевой рощи.

— Девочка, — сказал он, — я пришел за тобой. Все заблудшие овцы уже вернулись в овчарню, даже твой отец ходит теперь к мессе и сподобился святого причастия. Только ты одна все еще бежишь прочь, ты одна все еще живешь среди лесных и речных тварей. Пора уже и тебе вспомнить о том, что ты христианка.

Но тут в Джине проснулась свойственная ей отвага, которая позволяла ввязываться в драку с самыми отпетыми деревенскими мальчишками, и она выпалила:

— Вот как раз это я и хотела сказать, синьор священник: я вам не овечка.

— Умница, умница, — произнес он с довольным видом, — ну, а теперь сядь вон туда, и побеседуем.

Она села напротив него с видом, который ясно выражал: ладно, побеседуем, но исповедаться к тебе я не приду, нет уж, дудки! Но, при всей своей бесцеремонности, она не осмелилась произнести это вслух. Мысль о том, что священник сам пришел сюда за ней, наполнила ее гордостью. В душе ее даже шевельнулось желание преподнести ему, как гостю, что-нибудь в подарок, ну, хотя бы утиное яйцо.

— Джина, — сказал он, смиренно опустив голову и сложив руки, словно она была святая, а он грешник, — Джина, я давно тебя знаю и давно наблюдаю за тобой. Тебе уже десять лет, а ты не умеешь ни читать, ни писать и, наверное, даже «Отче наш» не знаешь. Ты

водишься с самыми отчаянными мальчишками, а они тебя ничему хорошему не научат. Ты грубишь отцу и своей старой бабушке, которая не всегда заботится о тебе, потому что у нее и без тебя полно всяких забот и неприятностей. Вот поэтому-то я и пришел к тебе. Если хочешь, я буду тебе вторым отцом. Приходи в церковь и послушай слова, с которыми я обращаюсь к детям, ты станешь совсем другой. Придешь? Обещаешь мне, что придешь?

— Хорошо, — ответила она, окончательно овладев собой. — А вы мне дадите картинки и медальки?

— Я тебе дам и медальки и картинки, а ты мне за это обещаешь ночевать у бабушки и не водиться больше с мальчишками. Если же они позовут тебя — не ходи и не связывайся с ними. Впрочем, теперь они тоже ходят в церковь и, надеюсь, скоро исправятся.

— Может, и исправятся, — согласилась Джина, — да только не все, один из них точно не исправится, потому что он сын дьявола.

— Кто же это?

— Как, разве вы его не знаете? — удивилась Джина. — Это Нигрон, тот, что привозит уголь. Он оттуда, — добавила она, показывая пальцем на другой берег реки, где черной стеною поднимался лес. — Там дьявол делает из камней уголь, а Нигрон грузит его в свою лодку, привозит сюда и продает.

Священник не знал Нигрона, тот был из другого прихода и на их берегу не задерживался: продаст уголь перекупщику и сразу уезжает к себе. Поэтому слова Джины заинтересовали дна Аполлинари.

— Почему же этот Нигрон не может исправиться? И что плохого он сделал?

— Он ворует у нас уток, а как-то раз избил меня и сказал, что, если я пожалуюсь, он подожжет наш дом. Вам-то, синьор священник, я могу это сказать, — прошептала она доверительным тоном. Она знала, что духовник обязан хранить тайну исповеди.

— Скажи мне правду, Джина, а ты сама ничем не досадила Нигрону?

Она опустила голову, потом тихо произнесла:

— Он привязал лодку и пошел за перекупщиком, который почему-то не явился. Тогда я влезла в лодку и налила в уголь воды.

— Ну, это, пожалуй, было ему только на руку, — заметил священник, улыбаясь. — Так, значит, он тебя избил и за воду пригрозил тебе огнем? Но скажи-ка мне вот что: правда, что ты сама не очень уважаешь чужое добро?

Это был больной вопрос. Джина почувствовала, что даже покраснела, ей показалось, будто волосы ее стали такими же рыжими, как у священника. Но, подумав, что она ведь не на исповеди в церкви, согласилась, что и на самом деле не очень-то уважает чужое добро.

— Когда я вижу виноград, я всегда его рву. Я очень люблю его! — воскликнула она и пристально поглядела в лицо священника, как бы желая спросить: а вы разве не любите? — А один раз мне попались груши, прямо с голову величиной, я и взяла две... Всего две, — повторила она и, растопырив средний и указательный пальцы, показала их священнику. И в порыве искренности добавила: — А если удастся, стащу и остальные!

— Нет, остальные ты не тронешь, — сказал он строгим голосом, но улыбаясь. Однако улыбка сползла с его губ, когда Джина скорчила гримасу, которая означала: «А кто мне помешает?»

— Я и курицу стащила, — продолжала она, чуть ли не хвастаясь своими подвигами, — но потом выпустила, потому что боялась, что отец побьет меня. А еще взяла башмак моего двоюродного брата Ренцо, но это просто так, назло ему. Башмак я кинула потом в воду. А еще...

Дальше шло что-то серьезное. Она сама поняла это и в испуге остановилась. Священник ободрил ее:

— Что еще? Говори же!

— Еще я взяла бабушкины серьги. А она думает, что это Вика-горбунья унесла их, та, которая берет все, что плохо лежит, и никто не говорит ей ни слова, — ведь все боятся, что она накличет беду.

— Куда ты дела серьги? — с удивительной мягкостью спросил священник.

Джина молчала. Свесившись через край лодки, она как бы разглядывала что-то в воде, которая тихо плескалась за бортом.

— Не бросила же ты их в воду, правда? Что ты сделала с ними, Джина?

Голос священника звучал странно: таким голосом говорят мальчишки, когда подбивают друг друга на какую-нибудь шалость. Джина приподняла голову и, выругавшись, сказала:

— Ну, понятно, я их не съела. Я их спрятала.

— Где спрятала? Дома или здесь?

Она порывисто вскочила. Вся ее маленькая фигурка дышала негодованием. Она была возмущена наивностью священника. Что она, дура, прятать краденое в собственном доме? В ее сузившихся глазах маленькой тигрицы заиграла коварная улыбка. И тут она открыла самый большой свой грех:

— Я спрятала их в лодке Нигрона.

Теперь и священник вспыхнул от гнева.

— Что ты натворила, Джина! — воскликнул он, всеми силами стараясь сохранить мягкость голоса. — Ведь если их найдут, мальчика будут считать вором!

— А разве он не вор? Вор!

— Какая же ты дрянная девчонка, — сказал с отчаянием священник, приглаживая рукой свои огненные волосы. Он понял, что полумерами тут ничего не добьешься. Он выпрямился и, сурово взглянув на нее, надел шляпу. Даже голос у него изменился, а в его черной фигуре появилось что-то угрожающее.

— Это ты, а не Нигрон, сушая дочь дьявола. А если ты и дальше будешь себя так вести, то дьявол придет за тобой однажды вечером и утащит в адские леса. Истинно так!

Это предсказание произвело желанный эффект. Джина побледнела и снова прикрыла глаза ладонью.

— Ты хоть креститься-то умеешь?

Она перекрестилась, но левой рукой. Перед ее внутренним взором возникла картина адского леса, где вокруг пылающих куч угля, гримасничая, пляшет тысяча дьяволят, похожих на Нигрона, и, оцепенев от ужаса, она сказала каким-то тонким лягушачьим голосом:

— Я приду... приду...

Она хотела сказать: приду на исповедь, не подозревая, что ее первая исповедь только что окончилась.

ХИЖИНА С ПРИВИДЕНИЯМИ

Во время долгих летних прогулок я часто останавливалась отдохнуть на холме, с которого открывался вид почти на всю сосновую рощу до самого моря. На вершине холма стояла хижина, сколоченная из досок, скрепленных между собою полосками жести и гвоздями с огромными, как каштаны, шляпками.

Хижина, вся почерневшая, будто после пожара, всегда была заперта. Больше того, на первый взгляд казалось, что у нее вообще нет ни окон, ни дверей. Поэтому она и привлекла мое внимание. Я с ребяческим любопытством обошла ее со всех сторон, осторожно ступая по узкому, поросшему травой уступу холма, и обнаружила два боковых окошка и петли еле различимой двери. А когда я прислушалась, мне почудилось, что изнутри донесся слабый крик, или, вернее, жалобный плач новорожденного.

Обуздав готовую разыгаться фантазию, я огляделась вокруг и поняла, что звук этот издает надломленная ветром сосновая ветка, медленно отделяясь от ствола дерева. Я села на край поросшего травой уступа и подумала, что у деревьев тоже, наверное, есть свои трагедии и что эта умирающая ветка — совсем еще молодая, усыпанная шишками, будто отлитыми из чеканной меди, — должна была много выстрадать, прежде чем начала изливаться свою боль в звуках, так похожих на человеческий голос.

В сосновой роще всегда было многолюдно. По ее тропинкам-артериям, как по улицам города, непрерывным потоком двигались люди. Кроме компаний, приез-

жавших на пикник, нагруженных сумками с едой и фотоаппаратами, там можно было встретить женщин с тележками, полными хвороста, рабочих, занятых на мелиоративных работах, которые велись по ту сторону рощи, и мальчишек, мальчишек, множество мальчишек! Мальчишки представляли как бы постоянное население рощи и знали, конечно, самые заповедные ее уголки. Воздух оглашался их криками и визгом, который смешивался с карканьем серых ворон, а на землю то и дело со стуком падали шишки, ловко сбитые камнями.

У одного из этих мальчишек я и спросила, для чего здесь, на вершине холма, открытая всем морским ветрам, стоит эта хижина, почерневшая и заколоченная, как склеп.

— Раньше в ней жил сторож, а теперь там водятся привидения! — крикнул мальчуган и убежал, взглянув на меня с некоторой опаской, будто одно то, что я сидела на вершине холма, делало меня причастной к миру нынешних обитателей хижины!

Должна признаться, что привидения, которые охотно селятся в больших городских домах и даже в гостиницах, никогда не вызывали у меня антипатии, а к этим, из хижины, я испытывала чувство живой признательности, ибо благодаря им мое излюбленное место отдыха всегда оставалось свободным и чистым. Теперь мне стало ясно, почему мальчишки, хозяйева сосновой рощи, никогда не поднимались на вершину, а веселые компании обходили этот уголок стороной. Общество мое составляли лишь полчища муравьев — соседство, конечно, не из приятных, но избавиться от него было нетрудно. Стоило бросить муравьям кусочек хлеба, как они, оставив меня в покое, облепляли хлеб так густо, что он становился черным, как ягоды ежевики, которая росла вокруг.

И вот однажды, когда я сидела на своем обычном месте, с интересом наблюдая за поведением муравьев, какая-то женщина, держа в руке букетик лиловых цветов, туго-натуго перевязанных, как это обычно делают крестьянки, — взошла на вершину холма и опустилась на колени перед наглухо запертой дверью хижины. Стоя

на коленях, она стала креститься, прижимать букетик к груди, шептать молитву и вздыхать.

Женщина была высокого роста, очень худая, с золотисто-смуглым лицом цыганки и цыганскими же косами, выбивавшимися из-под платка, концами которого она вытирала слезы. И я снова подумала, что стены этой хижины охраняют чью-то могилу.

Но самым странным было то, что после всех своих вздохов и молитв женщина положила цветы у порога хижины, уселась неподалеку от меня, вытащила из кармана широкой юбки сверток с едой и как ни в чем не бывало принялась завтракать. Ела она не торопясь, с аппетитом, смакуя каждый кусочек булки с ветчиной: так едят дети, когда они не очень голодны. От удовольствия лицо ее порозовело, и это ее очень красило. Окончив трапезу, женщина стряхнула с платья крошки, скомкала бумагу, в которую был завернут завтрак, и сунула ее обратно в карман, а затем обернулась ко мне и, глядя на меня ярко-голубыми глазами, сказала на местном наречии:

— А теперь не худо бы выпить стакан воды!

Так завязалось наше знакомство, и я со своей стороны сочла нужным сказать женщине, что в нескольких шагах отсюда есть родник.

Она бросила быстрый взгляд на тропинку, ведущую к роднику, и лицо ее сразу пожелтело и осунулось: морщинки появились вокруг смеющихся глаз, которые как бы увяли, словно цветы горечавки.

— Сколько раз ходила я этой дорогой! — сказала она и прикрыла лицо рукой, чтобы не видеть тропинки и всего, что было вокруг.

Я поднялась и подошла к ней ближе, почувствовав, что в воздухе запахло какой-то драмой.

— Что произошло в этой хижине? Почему она заколочена? Это правда, что там водятся привидения? И почему...

Женщина сразу же оживилась. Правда, сначала она было замахала на меня руками, как бы говоря, что слишком уж много я хочу знать, но так как ей и самой, видно, не терпелось поговорить и отвести душу, она без околичностей приступила к своему рассказу:

— В этой хижине помер мой бедный муж. Вроде бы тут нет ничего особенного, но на самом деле это целая история, и если рассказать ее, получится как в настоящей книжке.

— И прекрасно, — ободрила я ее. — Вот и расскажите.

— Ну ладно, тогда я расскажу вам все. Может, и была тут моя вина, но я заплатила за нее сполна, как платят долг. Так вот, в шестнадцать лет меня уже выдали замуж. Моего мужа звали Джулиано, по прозвищу «Большой», высок он был, что та сосна! Его звали так, чтобы не путать с двоюродным братом, Джулиано Маленьким. Тот был роста небольшого, но красивый, смуглый, проворный, как белка. Он занимался всякими делами, даже часы чинил, а кроме того, его приставили охранять сосновую рощу. Но так как по ночам он не мог уходить из села, то определил сторожем моего мужа. Велел поставить для него эту хижину и положить ему хороший оклад. Это нас очень выручило, потому что мой Джулиано зарабатывал мало. Я забыла сказать, что он был лудильщиком. Целыми днями он бродил в поисках заработка, спрашивая, не нужно ли кому починить прохудившуюся кастрюлю или сковородку, но медной посуды становилось все меньше и меньше, все пользовались этой противной эмалированной! Правда, и она может прохудиться, но ее уж не починишь: олово на железе не держится.

Вот и стал Джулиано уходить на ночь сюда. Летом он иногда брал и меня с собой, но мне, сказать по правде, было здесь как-то боязно. Особенно в лунные ночи. Мне все чудилось, что кто-то пилит сосны и обрубает ветки.

«Ну, — думала я, — сейчас Джулиано проснется, возьмет ружье, и, если они не разбегутся, он убьет их». И я лежала не дыша, боясь его разбудить. Не хотела я, чтобы он сгубил свою душу из-за какой-то спиленной сосны. Хорошо еще, что он спал крепко.

— Он спал, — возобновила свой рассказ женщина после минутной паузы, во время которой она снова закрыла лицо руками. — Он спал, но его мучили кошмары. Всю ночь он вздыхал, ворочался, что-то бормотал во

сне. А как-то раз вскочил и закричал как одержимый: «Да-да, если я застану их вместе, то убью обоих». Но потом очнулся и стал обнимать меня. Он весь дрожал и стучал зубами, как в лихорадке. И тут сказал мне, что он действительно болен, и уже давно. Его болезнью была ревность, он ревновал меня к своему брату Джулиано, думал, что тот ходит ко мне по ночам. Но муж так любил меня и был так добр, что ни разу не осмелился высказать мне свои подозрения. «Что ж, — говорю я, — тогда я буду приходить сюда каждую ночь, и тебе не о чем будет беспокоиться».

Некоторое время все шло хорошо, а когда наступили холода, Джулиано, который вроде бы совсем вылечился от своей болезни, сам велел мне оставаться на ночь в деревне.

Но в первое же утро он вернулся домой сам не свой: все ходил по комнате и, казалось, что-то вынюхивал, как пес. Тяжкий крест — ревность! Мне стало жаль бедного Джулиано, и я посоветовала ему бросить эту работу, но он был упрямый и самолюбивый и не послушался.

Пришла весна, а с весной ревность полностью завладела сердцем мужа. Он не знал покоя даже в те ночи, когда я приходила к нему в хижину. Я говорила ему: «Это ведьмы из сосновой рощи напустили на тебя порчу». Он и сам так думал и просил бога, чтобы тот избавил его от злого недуга.

Но в одну из июльских ночей случилась беда. Полная луна сияла на небе, и в хижине стояла такая жара, что трудно было дышать. Мне захотелось пить, и я спросила у Джулиано, который уже улегся, можно ли мне пойти к роднику. Он не ответил, но и не выразил никакого подозрения. И я вышла из дому. В лесу было светло, как днем.

И надо же такому случиться: у родника мне повстречался Джулиано Маленький, брат моего мужа! В этом, конечно, не было ничего плохого, так как Джулиано, который числился настоящим сторожем рощи, не только имел право, но и обязан был появляться там в любое время дня и ночи. Но тем не менее, зная ревнивый нрав моего мужа, я стала умолять его поскорее уйти. Едва мы успели перекинуться несколькими словами, как среди сосен мелькнула огромная черная тень.

Раздался выстрел, и Джулиано Маленький, раскинув руки, упал у моих ног, как мальчик, споткнувшийся на бегу. Я и сейчас еще вижу яркую вспышку выстрела и слышу грохот, который обрушился на мою голову, словно огромный топор. Я закричала: «Ты убил христианина, ты убил своего брата!» — и, обезумев от страха, бросилась бежать.

Я знала, что стрелял мой муж. Ведь это был он, та черная тень под сосной. От моего крика он очнулся, но не промолвил ни слова. Ничего не ответил он и на упреки, которыми я, не боясь уже за себя, с плачем осыпала его. «Что ты наделал, несчастный? — говорила я ему. — Как быть теперь? Только и остается отнести труп на берег, привязать камень на шею и бросить в море. Иначе не миновать тебе каторги, как не миновать ада после смерти».

А он все молчал. Он шел, понутив голову, и волочил ружье по земле, как будто у него не оставалось сил, чтобы держать его в руках. Придя сюда, я опустилась на землю — как раз вот на этом месте, где я сейчас сижу — и давай плакать и причитать. «Да, напилась я водички нынче ночью, — говорила я, — напилась я водички, ничего не скажешь!»

Но Джулиано и рта не раскрыл. Он вошел в хижину, затворил за собой дверь, и не успела я подняться, как снова раздался выстрел.

Он застрелился.

Женщина вся дрожала, вспоминая страшную ночь. Я сочувствовала ее горю, но понимала, что рассказ еще не окончен. И действительно, она продолжала свое повествование:

— А тот, брат его, вовсе не был убит. Он даже не был ранен! Услышав выстрел и сообразив, чем это ему грозит, он бросился на землю, притворяясь мертвым. Своим криком я спасла его.

Через два года мы поженились. Я родила троих детей. Но господь, всевидящий и всезнающий, покарал нас: они умирали один за другим, когда уже начинали говорить. А у Джулиано Маленького артрит сковал ноги: он не может двигаться. Он все еще работает часов-

щиком и сидит дома, окруженный со всех сторон часами. Целыми днями он разбирает, собирает их, подносит к уху, то и дело зовет меня:

— Роза, посмотри, который час!

Вот теперь рассказ и в самом деле подошел к концу. Но мне казалось, что чего-то здесь все же не хватает.

— Роза, — сказала я женщине, называя ее просто по имени, как старую знакомую, — скажите мне правду. Ведь ваш первый муж ревновал вас не зря, не так ли?

И снова она, так ничего и не ответив, закрыла лицо руками. И в торжественной тишине вечера, среди сосен, которые пылали на красном закатном небе, как огромные праздничные факелы, опять раздался стон раненого дерева. Казалось, он доносится из хижины. А может, и в самом деле там плакала, жалуясь, чья-то душа, так и не нашедшая успокоения.

КОШЕЛЕК

Он только что кончил проповедь, этот толстый бородатый монах, и возвращался в монастырь. Уже вставала перед ним идущая вдоль монастырского сада стена, уже показались над ней белые облака цветущих груш и слив, безмолвно ронявших снежные свои лепестки на пустынный тротуар. А по другой стороне улицы, там, где жаркое, несмотря на вечерний час, солнце и легкий ветерок, еще пахнувший снегом, вели какую-то свою хитрую и чувственную игру, шла женщина. Она шла быстро, почти бежала, возбужденно размахивая руками; полы ее жакета, черные сверху и лиловые изнутри, вздымались и опускались, словно крылья.

Монах был в нескольких шагах от нее, когда заметил, что круглая сумочка, которая, как маятник, раскачивалась на руке женщины, разинула рот и, зевнув, выплюнула на землю красноватый кошелек.

Монах тоже разинул было рот, чтобы окликнуть и предупредить женщину, — она торопливо продолжала свой путь, — но, словно боясь испугать ее своим криком, неожиданным в тишине этой безлюдной улицы, не произнес ни слова. Потом он перешел дорогу и, нагнувшись, подобрал кошелек. Теплый, туго набитый, хотя и легкий, с плотно защелкнутым металлическим замочком, он лежал в его руке, благоухая мускусом и кожей. Этот сложный запах невольно вызывал представление о живой плоти, и кошелек показался монаху как бы частью тела этой женщины.

Уж не потому ли дьявол заставил монаха поскорее сунуть кошелек в рукав? Он так и подумал, как только осознал свой поступок, но уже в следующую минуту понял, что его мысль хотела утаить от самой себя ис-

тинные, низменные мотивы этого поступка: там, в кошельке, были чужие деньги, они-то его и соблазнили. И когда, подняв кошелек, монах снова распрямился, это был уже совсем другой человек.

Но едва он повернулся, чтобы снова перейти дорогу, совесть, покинувшая его на мгновение, вдруг неумолимо предстала перед ним в образе настоятеля, чье бледное лицо с окруженными тенью голубыми глазами смотрело на него из окна верхнего этажа.

Смертельный холод сковал все огромное тело монаха, сутана стала вдруг странно тяжелой, ему почудилось, что он вошел в воду и погружается в нее все глубже и глубже, — но ему и в голову не пришло, что он может еще нагнать женщину, вернуть ей кошелек.

Зачем? Ведь настоятель все видел сверху и осудил его, как судит сам господь бог.

Оказавшись на тротуаре в тени монастырского сада, монах глубоко вздохнул, как человек, выбравшийся из речного водоворота: он решил сразу же пойти к настоятелю и, отдав ему кошелек, сложить к его ногам всю тяжесть своей нестерпимой муки.

Но когда он поднялся на третий этаж, он попал вдруг в стремительно бегущую куда-то толпу монахов. Монахи бежали по коридорам и лестницам, как стая огромных птиц, которую вспугнул коршун. Тяжело колыхались полы их сутан, никто не произносил ни слова, и это молчание делало царившее вокруг смятение еще более зловещим.

Монах побежал вместе со всеми; сердце его билось все сильнее и сильнее, и вот с последней площадки, откуда узенькая лестница вела на террасу, в ярком свете распахнутого окна, он увидел братьев, которые поднимали с земли тело настоятеля. Оно казалось таким легким, почти невесомым — только сутана да лицо и руки, которые были словно вылеплены из мягкого, готового растаять воска.

«Он умер по моей вине», — подумал монах с ужасом, и этот ужас усилился, когда он понял, что испытывает невольное чувство облегчения при мысли, что вместе с настоятелем уйдет весь его позор, а может, и сам грех.

Но оказалось, что настоятель просто потерял сознание. С ним это, впрочем, случалось уже не первый раз — он страдал астмой.

«Видно, он поднялся сюда, чтоб подышать свежим воздухом, и от воздуха ему стало плохо; а меня он, может, даже и не видел», — думал монах, выглядывая из окна, меж тем как братья на руках несли настоятеля вниз.

Монах взглянул на то место, где он подобрал кошелек. Оно было довольно далеко, и увидеть отсюда маленький предмет, конечно, мудрено. Может, пойти и попробовать положить что-нибудь как раз на то место? Хотя... Какое это теперь имеет значение? Разве он не решил во всем признаться? И тут на него напала такая гнетущая тоска, что и лежащий внизу сад с морем цветов, и другие сады, такие свежие и трепещущие, и любовная забава солнца с ветром, и город, жужжащий, будто улей в мае, и весь белый свет — все показалось ему мрачным, как кладбище, — ибо совесть его была смертельно больна.

Он спустился вниз и встал у кельи настоятеля, решив не двигаться с места до тех пор, пока ему не разрешат войти и исполнить свой долг. В келье больного находился врач, тоже монах, недавно вступивший в братство после разгульной жизни и теперь денно и ночью истязавший свою плоть власяницей. Врач громко произнес несколько слов, как бы разговаривая сам с собой, и монах, стоящий за дверью, узнал, что больному полегчало: сердце стало биться ровнее, жизненные силы возвращались. Потом он услышал шепот.

«Он пришел в себя и, должно быть, рассказывает врачу причину своего обморока!»

Это подозрение вызвало в нем вспышку гнева: он, суровый аскет, привык относиться к вновь обращенному доктору с неприязнью и пренебрежением, и теперь эти чувства извивались в его душе, как растоптанные змеи.

Монах продолжал ждать. Он стоял неподвижно, спиной к стене, и издали могло показаться, что он на ней нарисован. В окнах коридора бледнело небо. Солнце садилось, ветер стихал, но от их недавней игры в воздухе осталась какая-то сладостная истома. Отдаленные звуки музыки дрожали в воздухе, напоенном ароматом садов, и женщина, владелица кошелька, бегала по улицам города, проклиная вора, который залез в ее сумочку. И хотя никакого вора не было, ее проклятия отравой разливались в мягком вечернем воздухе.

Наконец дверь кельи отворилась, и высокий монах с бесовским лицом выскочил оттуда, как черт из табакерки.

Монах, ожидавший у дверей, остановил его и, глядя в сторону, сказал:

— Мне нужно видеть отца настоятеля.

— Это невозможно. Он спит.

Безмятежно спал всю ночь старый больной настоятель, а наш монах, здоровый и толстый, мучился на своем ложе, одолеваемый кошмарами. Он то поднимался по горным дорогам, которые обрывались вдруг страшными пропастями или, становясь все уже и уже, зажимали его между скал; то увязал в черном болоте, испытывая тоскливую муку тяжести и удушья, которую он ощутил в ту минуту, когда, подобрав кошелек, перешел улицу. Кошелек присутствовал во всех его снах, он венчал его кошмары, как венчает красный штандарт шумное шествие демонов. То, как чумной бубон, он прилипал к его затылку и, раздуваясь, принимал непристойную форму, то падал под кровать, где чудовищная мышь грызла его и таскала по всей келье, производя загадочный шум, который будил всю братию. Монахи начинали бегать по этажам вверх и вниз, и полы их жестких, негнущихся сутан, развеваясь, издавали металлический скрежет, а один из монахов, длинный, вновь обращенный дьявол, появлялся, таща за волосы женщину в черном жакете с лиловой подкладкой, — ведь это она, спешившая, конечно, на какое-нибудь греховное свидание, была источником зла.

«Все-таки, я — человек и я должен победить, — возмутился страдалец, стряхнув с себя тяжесть кошмара. — Вот пойду в муниципалитет и положу кошелек рядом с другими потерянными вещами. А с настоятелем я всегда успею поговорить».

А ночь все никак не кончалась, и его благие намерения, наталкиваясь на черные стены тьмы, лопались, как мыльные пузыри. Снова появились гномы совести и принялись связывать своими режущими бечевками большого толстого человека, который вертелся на узкой постели, как дельфин, пойманный в сети. Наконец, не на шутку рассердившись, он выхватил из-под подушки теплый кошелек, пахнувший влажной плотью, и швырнул его в темноту.

Но потом встал, поднял его и стал дожидаться рас­света: так жаждет омовения человек, идущий к реке.

В конце концов настоятель принял его.

— Падре, вчера, перед тем как вам стало плохо, вы стояли у окна и видели, что со мной случилось.

Маленький настоятель смотрел на него тем далеким и отрешенным взглядом, какой был у него тогда, когда он стоял у окна. Он ничего не ответил. Видел или нет?

Монаха охватило искушение исказить событие, ча­стично утаить истину, но он совладел с ним и вытащил из рукава кошелек.

Настоятель взглянул на кошелек, потом вновь по­смотрел в лицо преступника: взгляд его перестал быть далеким, он выражал теперь живейшее любопытство.

И монах понял, что все его муки были напрасны: маленький настоятель ничего не видел и не подозревал истины. Значит, он мог еще спасти себя от позора, но как, как это сделать, если над ними, прислушиваясь к их беседе, склонял свой темный лик Христос с окро­вавленной головой...

— Падре, этот кошелек... его потеряла вчера жен­щина... она шла впереди меня. Я подобрал его, и, вме­сто того чтобы окликнуть ее и отдать ей кошелек, в котором, наверное, есть деньги, я... э... оставил его у себя, собираясь потратить их.

Настоятель улыбнулся: в лучшие времена эта на­смешливая улыбка была его самым утонченным оружием в борьбе с друзьями и недругами, она уязвляла провинившегося сильнее, чем жестокий упрек.

— И что же ты хотел делать с деньгами?

— Не знаю. Знаю только, что провел ужасную ночь. Меня мучили угрызения совести и стыд, особенно при мысли о том, что все это произошло у вас на глазах: ведь я увидел вас уже после того, как подобрал коше­лек... Я собираюсь отнести его в муниципалитет.

— Но, может быть, в кошельке есть какие-нибудь сведения об этой женщине?

— Не знаю. Я его не открывал.

— Открой же и посмотри.

И тут снова язвительная улыбка оживила мертвен­но-бледное лицо настоятеля: из раскрытого кошелька выпало лишь длинное любовное письмо.

ЧЕРЕПАХА

Тяжело дыша, женщина вошла в свою каморку. Это была небольшая крытая терраса, на которой раньше держали баки с водой. Когда их стало больше, их перенесли под более широкий навес, а этот уголок хозяин дома отдал женщине, которая много лет работала у него служанкой. Как видите, есть вещи, которые могут послужить и богатому домовладельцу, и бездомному бедняку.

У женщины хранился ключ от террасы, где служанки жильцов поочередно развешивали сушить белье. И в эту ночь, как обычно, на веревках и железных проволочках висело белое и цветное белье и целая вереница чулок и носков. В лунных лучах, отвесно падавших со светлого июльского неба, эти легкие, полые тела и их тени на белом полу террасы казались призрачными, и женщине, пробиравшейся среди веревок, чудилось, что до нее дотрагиваются привидения.

Войдя к себе, служанка бросилась на кровать, которая была коротка для ее большого тела. Уже лежа, она прикрыла дверь, толкнув ее ногой, но тотчас же снова отворила. Женщина задыхалась, ей чудилось, что она мышь, беспокойно мечущаяся в мышеловке, но она не хотела даже пошевелиться, чтобы дать выход своей душевной тревоге. Ноги у нее так гудели, что ей казалось, будто они разговаривают. Она скинула башмаки и вытянулась на кровати таким образом, что ступни ее оказались в полосе лунного света, лежавшей на пороге.

Постепенно эта лунная ванна охладила их, кровь в жилах успокоилась, и, подобно тому как сама она

вернулась в свою конуру, к ней возвратилась способность думать. И тогда, повинувшись скорее инстинкту самосохранения, чем угрызениям совести или раскаянию, она восстановила в памяти всю картину своего преступления.

Она увидела себя в квартире третьего этажа, где жил старый синьор, у которого она убирала комнаты, после того как заканчивала тяжелую черную работу в доме хозяина. Старик настолько доверял служанке, что оставлял ей ключи, когда уходил в трактир завтракать. И вот она с грузным проворством, отличающим ее крепкое тело пятидесятилетней женщины, прибирает его спальню, просторную комнату с двумя окнами, мебелью красного дерева и огромной кроватью с льняными простынями, которые на ощупь кажутся мягче шелковых. Стоит страшная жара, и она с ужасом думает о раскаленной террасе, где находится ее каморка. В комнате жарко, от всех вещей исходит тяжелый запах, и женщина чувствует, что в ее крови тоже бродит какая-то темная сила, отзвук той древней муки, которая напоминает человеку о проклятии его плоти всякий раз, когда природа берет над ним верх.

И, работая, женщина спрашивает себя, почему этот старый холостяк, эгоист и пачкун, который всю свою жизнь палец о палец не ударил, спит в удобной кровати у окна, распахнутого в зеленый сад, умывается душистой водой, обедает в прохладной трактирии, где столы покрыты белоснежными скатертями, а приборы блестят, как лед, в то время как у нее все тело ломит от усталости, питается она объедками, не знает ни покоя, ни радости, ни жалости, ни любви.

Но, вытирая зеркало шкафа, служанка видит в нем свою крупную фигуру нищей Юоны и чувствует, что она слишком сгустила краски. Есть и у нее кое-какие радости: можно, например, заглянуть после работы в остерию, завсегда там с симпатией и любовью друг к другу. И разве не испытывает она удовлетворения при мысли о том, что в эти часы она может забыть свою усталость за болтовней и стаканом вина? А кроме того, есть на свете одна божья тварь, которая ждет ее вечерами, забившись в самый сырой уголок террасы. Когда она возвращается из остерии и, усталая, падает на кровать, это существо подползает к своей хозяйке, чтобы вдохнуть

исходящий от нее запах усталости и легкого опьянения, и, как маленькая верная служанка, развязывает ей башмаки, потом вновь уползает в свой сырой угол; и протяжный, чмокающий звук, который сопровождает ее движение, усыпляет женщину, навевая воспоминания о полях, откуда она пришла, о детстве, о прохладных истоках жизни.

Но эти воспоминания и мысли о черепахе, единственной ее подруге, не приносят облегчения душе; уверенность в том, что она никогда не сможет побывать в родных краях, никогда не вернется к земле, разве что бездыханным трупом, еще больше усиливает лихорадочный жар.

И для того чтобы остудить этот жар, теперь скорее внутренний, чем внешний, она в первый раз за много лет верной и почтительной службы старому синьору осмеливается помыться его водой и мылом.

Кроме того, она знает, что в ящике умывальника хранятся всякие освежающие порошки. Она выдвигает ящик, и глаза ее широко раскрываются, протянутая рука застывает в воздухе.

Там, среди коробок с пудрой и помадой, издающих тошнотворный запах, лежит какая-то книжечка с рисунками, росчерками и цифрами. На белом фоне медальона, выгравированного на первой странице, изображена грустная женщина, которая стоит, опираясь на дымящийся жертвенник: вдоль правого ее виска свисает длинный голубой локон, в руках она держит странные предметы — в одной что-то вроде палки. А у ее ног резвятся голые ребятишки, которые разглядывают эту палку и как будто пытаются отнять ее.

И служанка тоже разглядывает книжку, наклоняясь, чтобы лучше рассмотреть все. Потом она берет ее и перелистывает. Книжка сшита из множества ассигнаций — каждая достоинством в пятьдесят лир. Все ассигнации такие новенькие, что даже прилипают друг к другу.

«С этими деньгами, — подумала она, — я могла бы сразу же побежать на вокзал и вернуться туда, к нам. Ведь обо мне здесь никто ничего не знает. Ищи ветра в поле! Старик только что ушел и придет лишь часа че-

рез два; к тому же ему от этих денег ни тепло, ни холодно».

Не прошло и минуты — и ее *могла бы* превратилось в *могу*.

Женщина сунула книжку за пазуху и кончила уборку комнаты. Ею руководил ошибочный расчет: она думала, что, если ее догонят и схватят уже там, куда она собиралась бежать, она сумеет отпереться. Все же она поспешила закрыть жалюзи и вышла в темную переднюю.

И только собралась открыть дверь, как вдруг — словно во сне — дверь распахнулась сама, и в сером проеме показалась маленькая фигурка старика.

— Добрый день, добрый день, — пробормотала женщина заискивающим, дрожащим голосом. — Я все кончила и ухожу.

— Подождите минутку, я тут кое-что забыл, — сказал старик, не закрывая за собой дверей. Потом прошел в комнату и выдвинул ящик.

С этого момента, — так говорят все преступники, чтоб оправдаться, — женщина перестала сознавать, что происходит. Бежать? Ее схватят на лестнице. Отпираться! Только и остается, что отпираться. Но тут старик набросился на нее, как бешеный кот, и, ударив, завизжал своим тонким голоском, что донесет на нее и созовет людей, если она сейчас же не вернет ему деньги. Она стояла молча, позволяя пинать и бить себя. Но потом ударом ноги внезапно захлопнула дверь и сама накинулась на мужчину. Она схватила его за горло — тысячелетний труд ее предков влил в эти руки гигантскую силу — и легко, как курице, свернула ему шею.

Какой-то звук, еще более слабый и неопределенный, чем шелест моли, грызущей одежду, пробудил ее от кошмара.

Она тотчас узнала его. Это черепаха явилась к ней с ночным визитом и совершает теперь обход каморки. Женщина поднялась и уселась на кровати, поджав ноги, которые в лунном свете казались неправдоподобно огромными. Волосы ее, намокнув от пота, стали тя-

желыми. Она ждала. За окном шумел ночной город, словно огромный корабль в океане. Но тихое посапывание черепахи в углу, где стоял кувшин с водой и на полу было сыро, казалось женщине самым властным голосом ночи. Сердце ее освободилось от тяжких цепей отчаяния. Вернулась надежда, а вместе с ней и жизнь.

Она ждала, когда животное подойдет поближе. Черепаха подползла к самым ногам, и она почувствовала, как ее щиколотки коснулось что-то колючее. Тогда женщина нагнулась и взяла свою подругу в руки. Она была холодна и тверда, как коробка, но женщина все-таки заговорила с ней, поднеся к щеке, как это делают с часами, чтоб проверить, идут они или нет.

— Башмаки я уже сняла, — сказала она ей тихо. — Мне было так жарко! Я целый день бегала сегодня по солнцу, обегала все улицы, дошла до самой деревни, что у реки. Хотела броситься в реку, да не хватило смелости. Бог не допустил, чтобы я наложила на себя руки. Теперь давай подождем: если будет на то воля божья, меня найдут. Деньги я положила на место. И не от страха, что меня из-за них схватят. Просто я должна была это сделать. Не хочется мне оставлять тебя в этом пекле, куда сама я тебя принесла. Служанки здесь злые: они швырнут тебя вниз, и ты разобьешься, как стекло, как разбилась и я.

Черепаха выпустила из своего купола головку и лапы, и женщина почувствовала, как мягкие коготки царапают кожу ее загрубелой ладони, словно хотят впить-ся и высосать из ее крови злой яд.

И тогда желание спасти свою подругу, вернуть ей свободу подавило в женщине животный инстинкт самосохранения. Она завернула черепаху в платок, надела башмаки и сбежала вниз по высокой лестнице. Она зажмурила глаза, когда пробегала мимо *той* двери. Незаметно выскользнув из дома, женщина пустилась в путь и шла долго-долго, через весь ночной город, сверкавший радужными огнями, шла до тех пор, пока не достигла огородов за городскими стенами, где в одиноком лепете ручья звучал голос самого бога.

ПАЛЬМА

Один писатель, чье имя вам, вероятно, нетрудно угадать, решил подарить свое перо кухарке для записи расходов.

Слишком много огорчений стала доставлять ему литература. Дело даже не в том, что его утомила та непрерывная умственная работа, которая превращает художника слова в точильщика, вечно занятого оттачиванием своего ножа. Речь идет об огорчениях куда более серьезных. Самую большую неприятность причинил писателю налоговый инспектор, которому вздумалось взимать с него налог за то, что он пишет книги, и который потребовал сведения о доходах с движимости. Вслед за этим муниципалитет безо всяких церемоний обложил налогом не только его профессию, но и практику: продажу собственных книг. Были у писателя враги и помельче: издатель, не заботившийся о распространении его книг, книготорговцы, следовавшие его примеру, критики, которые, прочитав его книгу, чистосердечно признавались, что ничего в ней не поняли, и писатели, которые умышленно или ненароком заимствовали лучшее из его романов и новелл и в результате имели у читателей гораздо больший успех, чем он.

Поразмыслив над всем этим, он решил, что впредь не только не будет писать, но и постарается избавиться от свойственной художнику манеры мышления. Ему захотелось стать самым обыкновенным человеком и заняться самыми обычными делами. К тому же, прикинув в уме доход с капитала, он обнаружил, что его вполне хватит на то, чтобы жить беззаботно и просто, занимаясь только своим садом.

Итак, подарив перо кухарке — она давно его выпрашивала, — писатель спустился в сад, чтобы провести там часы, которые обычно проводил за письменным столом. По правде сказать, он плохо знал свой сад и сам никогда за ним не следил. Поэтому первым делом он решил обойти его и хорошенько с ним познакомиться.

Ему казалось, что он разгуливает по страницам учебника геометрии: такими безукоризненно круглыми, треугольными и квадратными были все эти клумбы, а в середине каждой из них красовалось всякий раз новое растение, непохожее на другие. С радостным удивлением обнаружил он, что сейчас, в сентябре, цветут хризантемы.

В одной из аллей был устроен увитый виноградом навес, под которым стояла скамейка. Она сразу же вызвала в воображении писателя привычный образ. «Эта пахнущая краской зеленая скамейка словно выросла здесь и сама кажется частицей той зелени, что окружает ее».

И писатель тут же рассердился на себя: к черту литературные образы — эту язву на голой и здоровой коже действительности! Скамейка сделана из дерева, сколотил ее столяр, она поставлена здесь для того, чтобы сидеть на ней. Писатель сел и посмотрел вверх, но вовсе не затем, чтобы полюбоваться игрой оттенков зеленого и голубого. Как кот, который притворяется, что созерцает небо, а сам в это время следит за птичкой на ветке, так и писатель, глядя на небо, считал кисти винограда, мысленно прикидывая их вес.

Но в эти расчеты невольно вторгались непрошенные мысли; ведь мозг работает сам по себе, не считаясь с нашими желаниями! И писатель с испугом заметил, что думает о том, как позавидовали бы ему некоторые коллеги, увидев этот прелестный сад, где он может блаженствовать сколько угодно. А что касается литературных образов, то напрасны все его старания освободиться от них — они обступают его со всех сторон, совсем как эти виноградные гроздья, что вырисовываются в сияющем небе, будто на японской лакированной шкатулке.

Проклятие! Он должен избавиться от этих сравнений и, раздавив их, точно грозди винограда, извлечь из них чистое вино простоты.

И он задумался, пытаясь понять, почему это писатель всегда стремится сблизить два предмета, подоб-

но крестьянину, который впрягает своих волов попарно, чтоб они лучше шли вперед. Но ведь и в реальном мире все вещи близки и сходны между собой. Вот, например, проворные муравьи, которые во главе со своим рыжеголовым предводителем бесстрашно атаковали его бок — он башней встал на их пути к карману, — напомнили писателю отряд наемных солдат или шайку разбойников с большой дороги. Тем не менее он позволил им продолжать штурм. Предводитель уже проник в карман, все остальные последовали за ним, как вдруг, будто отраженные спрятавшимся там войском, муравьи выскочили и обратились в бегство: запах табака из трубки вызвал это беспорядочное отступление. Грациозный белый паучок, появившийся вслед за муравьями, оказался более бесцеремонным и настойчивым. Быстро и ловко обследовав писателя с ног до головы, он облюбовал отвороты пиджака и начал кружить вокруг пуговиц. Кружил, кружил и замер, раздумывая и, вероятно, замышляя какой-то новый необычный ход: а не растянуть ли паутину на благородной груди писателя? Вот он уже прицепил одну нить к пуговице...

Надо признаться, что это происшествие искренне растрогало писателя: литературные образы покинули его, и он полностью растворился в простом и удивительном мире реальности. Ему показалось, что он сродни этому дереву, этой виноградной лозе, он почувствовал, что наконец-то вновь обрел равновесие в жизненном пространстве.

Но чей-то голос пробудил его от этого безмятежного сна, и писатель грубо стряхнул с груди паука, стыдясь, что его застали врасплох во время общения с природой. Правда, голос, доносившийся из-за решетки сада («Синьор, эй, синьор!»), звучал робко. Он принадлежал молодому человеку, должно быть, нищему, одетому в холщовый костюм и рваные башмаки. Контраст между убожеством одежды незнакомца и живым блеском его больших зеленых глаз привлек внимание писателя.

— Что вам угодно? — спросил он, неторопливо подходя к решетке, и, встретив ясный и испытующий взгляд юноши (так смотрит кошка на незнакомого ей зверя), невольно вспомнил о бесцеремонных хлопотах паука,

суетившегося на его груди. И точно так же, как тот паук, молодой человек, вероятно, проникся к нему неожиданным доверием, потому что уже в следующую минуту его голос зазвучал уверенней:

— Я хотел узнать, не продаете ли вы пальмовые листья?

Писатель обернулся, чтобы взглянуть на пальму, взметнувшуюся ввысь в южной части сада. Он и забыл, что у него в саду растет пальма, и словно впервые увидел ее, важную, массивную, ее крепкий ствол, похожий на огромную еловую шишку, из которой, как из резной вазы, ниспадали вниз большие сверкающие листья. Пальма была прекрасна, она вызвала чувство какого-то благоговения. И даже небо над ее вершиной казалось ярче и напоминало небеса пустыни.

— Смотрите-ка, — сказал юноша, просовывая руку сквозь прутья решетки, — все эти листья вон там, внизу, больны; их нужно удалить. Сдается мне, что в этом году дерево не подрезали. Надо бы его подрезать и подлечить.

Писатель отвел взгляд от пальмы.

— Я, право, не знаю, за садом следит жена.

— Где же сейчас ваша супруга?

— Она на даче, с детьми.

— А вы не ездите на дачу?

— Я терпеть не могу дачу, — признался писатель, и незнакомец счел этот ответ достаточным, чтобы перейти на доверительный тон.

— Да у вас тут лучше всякой дачи. Вот только сад запущен.

— Запущен? Видите, цветут хризантемы.

— Это не хризантемы, это астры, они всегда цветут в августе.

Писатель не посмел возражать, а его собеседник настойчиво повторил:

— Пальму надо подлечить: обрезать, посыпать золой, иначе она может погибнуть.

И, слово за слово, кончилось тем, что писатель открыл калитку и незнакомец вошел в сад.

Под пиджаком у него, как у заправского вора, оказалась ручная пила, похожая на челюсть крокодила. Осторожно, не торопясь (ведь колючки пальмы были

ядовиты), он отпилел первый круг листьев, подбирая их, по мере того как они падали, потом бережно брал каждый лист, напоминая запах, и складывал их в одну кучку.

— По-моему, уже хватит резать, — сказал писатель, вспомнив о жене. Но незванный посетитель словно читал его сокровенные мысли.

— Не беспокойтесь, ваша супруга будет довольна. Разве вы не видите, что эти листья почернели? На них напала парша, даже второй круг и тот заражен. Дерево погибнет, если больные листья не удалить вовремя. Впрочем, если их вымыть, их еще можно будет продать. Поэтому за все эти листья я вам заплачу. По лире за штуку.

— А на что нужны эти листья?

Зеленые глаза незнакомца на этот раз засветились сочувствием.

— На венки умершим.

— Верно! — воскликнул писатель. — А кроме того, их еще вкладывают в руки мученикам!

И засмеялся. Засмеялся над самим собой.

А пока незнакомец продолжал, как мышь, обгрызать дерево, писателя закружил привычный хоровод мыслей: кого будут провожать в последний путь эти большие листья, увитые цветами? Может быть, девушку, умершую от любви, может, кого-то из сильных мира сего, а возможно, и человека, который шел дорогой греха.

— К черту! — громко сказал он сам себе, еще раз с трудом вырываясь из стремительного водоворота фантазии.

Незнакомец тотчас же перестал пилить, хотя сделал вид, что ничего не слышал. Он сосчитал листья, сложенные в две кучки. Их оказалось шестнадцать, но, по его словам, только десять из них могли пригодиться для венков. И, покопавшись в кошельке, он вытащил оттуда новенькую ассигнацию в десять лир.

Писатель взял деньги с чувством известного удовлетворения.

«Сад наконец начинает приносить прибыль», — подумал он. Все шло прекрасно с той минуты, как он бросил писательский труд!

— Если хотите, — сказал незнакомец, заметив, какое удовольствие доставила писателю эта сделка, — я

могу оставить вам черенки листьев; они хорошо горят и дают много жару.

Писатель согласился, и через несколько минут шестнадцать черенков с ядовитыми колючками лежали у его ног огромными скорпионами.

Здесь, под пальмой, чем-то похожей на овцу, ошалевшую после стрижки, и нашла его кухарка, когда пришла справиться у хозяина, как ей приготовить кефаль, которую она держала в руке, высекая из нее ударами ножа искры серебристой чешуи.

Увидев страшную картину разрушения, она прислонилась к дереву, едва не лишившись чувств.

— Что случилось? — с трудом пробормотала она.

Писатель показал ей десять лир, заявив, что заработал сегодня на кефаль, даже не садясь за свой стол. В ответ кухарка принялась размахивать рыбой перед его носом, будто хотела ударить его по лицу.

— Что скажет ваша супруга? Что скажет ваша супруга?

— Да что это с тобой?

— Вы разве не понимаете, что этот тип надул вас? Что он вас обобрал? Что он погубил пальму? Что он перепродает листья по десять лир за штуку?

Никогда в жизни писатель не чувствовал себя столь униженным.

— Теперь мне все ясно, — сказал он, опустив голову, как бы обращаясь к черенкам, лежавшим у его ног. — Тот, кто рожден художником, не может умереть дельцом. Пожалуй, лучше мне снова сесть за стол и писать мои небылицы.

И так как он уже привык к своему перу, то попросил его у кухарки обратно.

— Но сперва позвольте мне записать расходы, — сказала она.

По правде говоря, все расходы были уже записаны, там значилось, что кефаль стоит одиннадцать лир, но, увидев, как легко можно обмануть хозяина, кухарка переправила одиннадцать лир на шестнадцать.

А хозяин подарил ей другое перо.

СОДЕРЖАНИЕ

И. Володина. Творческий путь Грации Деледды . . . 3

Игра жизни (1905)

Падре Топес. *Перевод Е. Менжинской 27*
Студент и сборщик вереска. *Перевод Е. Менжинской 35*
Мороз. *Перевод Р. Миллер-Будницкой 40*

Дедушка (1905)

Альпийская фиалка. *Перевод Г. Смирнова 53*
Зайчиха. *Перевод Г. Смирнова 60*
Удары топора. *Перевод Г. Смирнова 66*

Светотень (1912)

Юго-западный ветер. *Перевод Н. Георгиевской . . . 73*
Кабаненок. *Перевод Н. Георгиевской 79*
Башмаки. *Перевод Н. Георгиевской 87*
Три брата. *Перевод Н. Георгиевской 94*
На королевских харчах. *Перевод Н. Георгиевской 102*
Хозяйка и слуги. *Перевод Н. Георгиевской . . . 109*
Новый человек. *Перевод Н. Георгиевской . . . 120*
Тринадцать яиц. *Перевод Н. Георгиевской . . . 130*
Закрытая дверь. *Перевод Н. Георгиевской . . . 139*

Спрятанный мальчик

(1916)

Сказка. Перевод Р. Миллер-Будницкой	151
Проклятый дом. Перевод Р. Миллер-Будницкой	156
Дичь. Перевод Р. Миллер-Будницкой	163
Доля добычи. Перевод Р. Миллер-Будницкой	169
Возвращение. Перевод Р. Миллер-Будницкой	175

Свирель в лесу

(1923)

Свирель в лесу. Перевод Е. Гальперина	183
Драма. Перевод В. Гальперина	188
Вершина. Перевод Е. Гальперина	194
Мадонна со свертками. Перевод Е. Гальперина	201
Каменный уголь. Перевод Л. Завьяловой	207
Бедняки. Перевод Л. Завьяловой	217
Кипарис. Перевод Г. Смирнова	225

Залог любви

(1926)

Враг. Перевод В. Торпаковой	237
Пастушок. Перевод В. Торпаковой	243
Лекарство от любви. Перевод В. Торпаковой	250
Первая исповедь. Перевод В. Торпаковой	257
Хижина с привидениями. Перевод В. Торпаковой	263
Кошелек. Перевод В. Торпаковой	270
Черепаша. Перевод В. Торпаковой	275
Пальма. Перевод В. Торпаковой	280

Грация ДЕЛЕДДА
Свирель в лесу

Редактор Т. Блантер
Художественный редактор
Д. Ермоленко
Технический редактор М. Фридкина
Корректор Т. Лукьянова

Сдано в набор 21/XI 1966 г.
Подписано к печати 22/III 1967 г.
Бумага типографская № 1 84X108¹/₃₂.
9 печ. л., 15,12 усл. печ. л., 13,613 уч.-изд. л.
Тираж 50 000. Заказ 431. Цена 59 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-56, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 имени
Евгении Соколовой Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
СССР, Измайловский проспект, 29

Границя
Делегга
**СВИРЕЛЬ
В ЛЕСУ**

